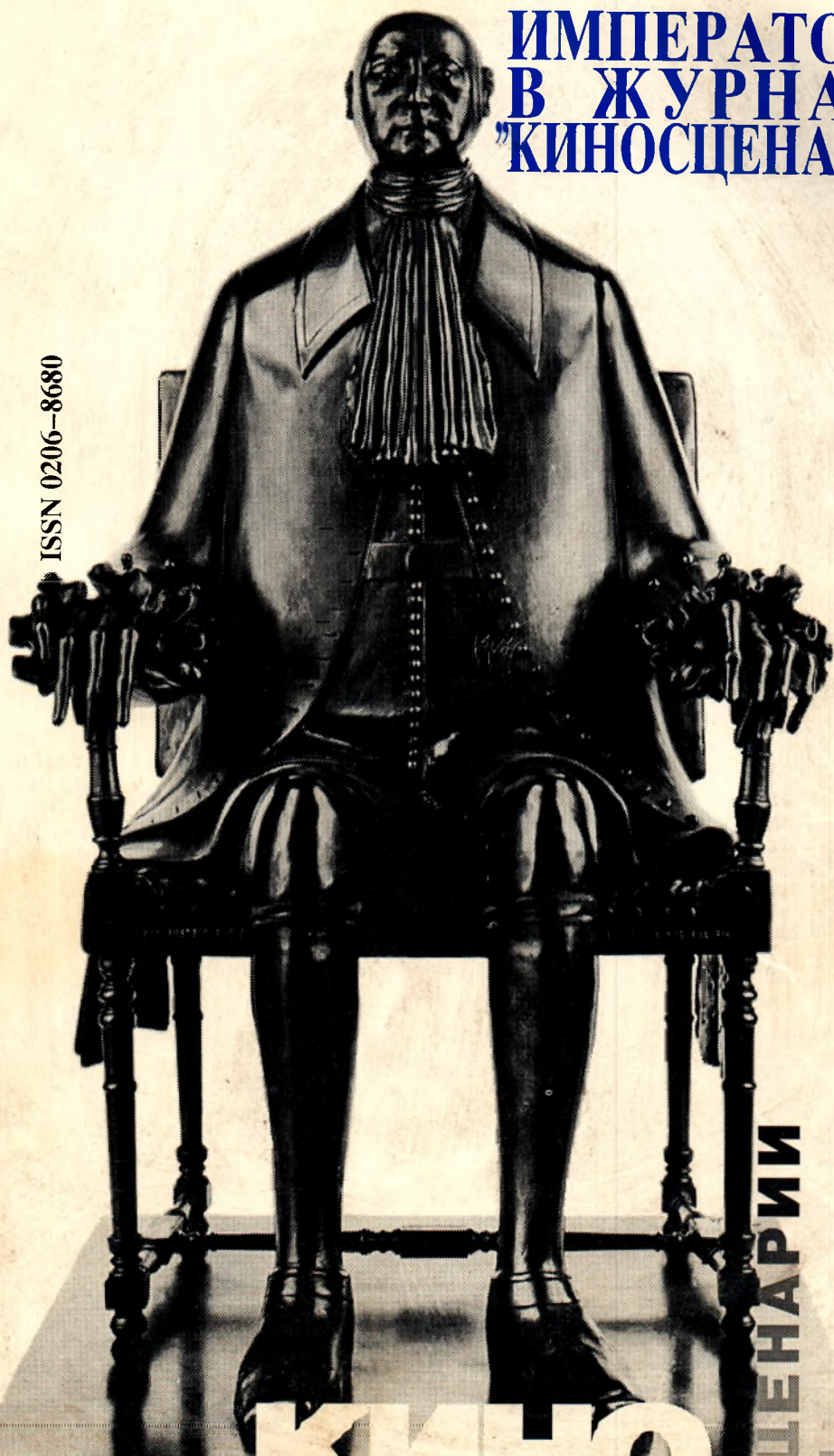


Кс

ИМПЕРАТОРЫ В ЖУРНАЛЕ "КИНОСЦЕНАРИИ"

ISSN 0206-8680



4
95

КИНО

СЦЕНАРИИ

№4

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР
МИХАИЛА ШЕМЯКИНА
В ГАЛЕРЕЕ "ДОМ НАЩОКИНА"
ПРИ ЖУРНАЛЕ "КИНОСЦЕНАРИИ"

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 1995 ГОДА

"..Петр не на троне. Петр в кресле. Он присел на короткое время. Его большие нервные руки вот-вот вцепятся в подлокотники кресла, а может быть, в рукоять топора. Сам он в гневе или в ожидании ответа. Глаза Петра чуть-чуть навывкате. И вместе с тем он достоверен, он копия "восковой персоны", которая стоит на том берегу Невы, в Старом Зимнем дворце, где он умер. Вокруг Петра как бы магнетическое поле: он притягивает и отталкивает. Он смотрит в нашу эпоху..."

Академик Дмитрий Лихачев



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ВСЕХ НАШИХ ВЫСТАВОК

Банк Империя

№ 4 КИНО

СЦЕНАРИИ

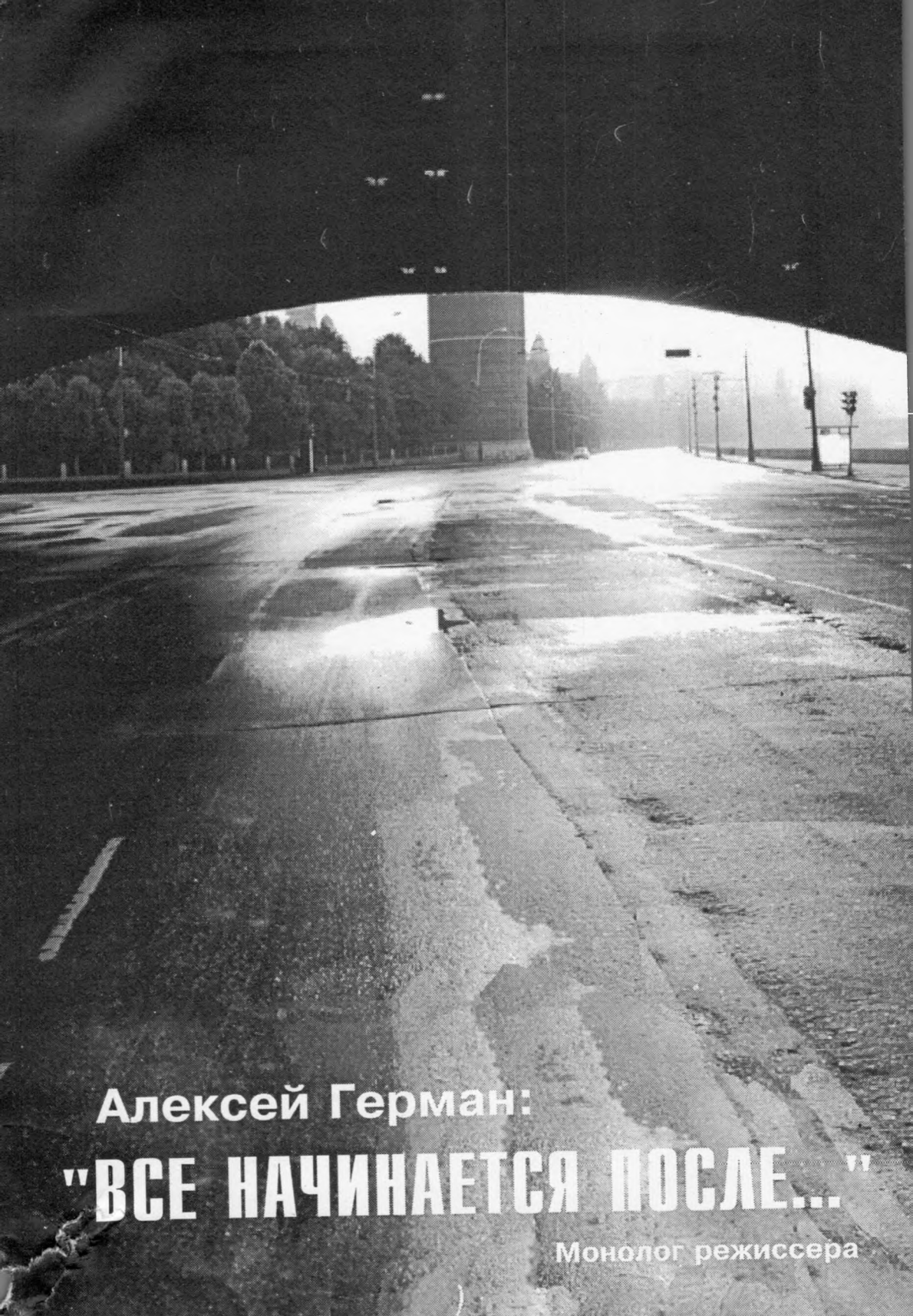
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Учредители:
Комитет кинематографии при
правительстве Российской
Федерации
Конфедерация Союзов
кинематографистов
Редакция журнала
"Киносценарии"

Журнал издается с 1973 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

- | | | |
|-----------------------------|-----|--|
| С. Кармалита
А. Герман | 7 | "ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!" |
| Б. Окуджава
О. Арцимович | 46 | "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕИЧА" |
| П. Гринуэй | 82 | "КОНТРАКТ РИСОВАЛЬЩИКА" |
| Б. Добродеев | 118 | "ПРОКЛЯТЫЙ" |
| А. Тимм | 125 | "ДНИ РАДОСТИ" |
| В. Фрид | 133 | "58 1/2" |
| А. Митта | 147 | "СТЕРЕОТИПЫ ДРАМАТУРГИИ" |
| И. Квирикадзе | 167 | "ПОСТОЯННАЯ ТЕМА
В ФИЛЬМАХ ВУДИ АЛЛЕНА" |
| Г. Краснова | 180 | "САМЫЙ БОГАТЫЙ
СЦЕНАРИСТ ГОЛЛИВУДА" |
| Д. Робинсон | 184 | "ХРОНИКА КИНЕМАТОГРАФА" |



Алексей Герман:
"ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ..."

Монолог режиссера



Алексей Герман

Светлана Кармалита

Мы, как ни крути, большевистская страна, поэтому у нас развит такой принцип – "надо", "необходимо", "обязан". Мы не можем привыкнуть к тому, что никому ничего не надо, ничто не необходимо и никто никому ничем не обязан. "Обязан" человек: "не украсть, не возжелать жену ближнего" и т. д. (что достаточно трудно сделать), то есть – выполнять десять заповедей. Все остальное совершенно необязательно.

Почему-то считалось, что я обязан снимать. А если я не снимаю, то по каким-то причинам трушу: "комплекс Фишера" и т. п. А я не был обязан снимать. Я снял четыре фильма и ничего хорошего на этом деле не приобрел, кроме шишек, неприятностей, инфаркта, в молодые годы пережитого, и достаточно большого количества гадостей. Я был счастлив не снимая – тем более, что страна устроена так, что можно прелестно работать и много зарабатывать не работая. И обратным способом: если ты много работаешь, ты мало зарабатываешь. Можно ездить с фестиваля на фестиваль, читать лекции, преподавать – платят в валюте, зачем еще что-то? Мы дивно жили, могли месяцами жить в Париже, или в Америке, или в какой-то другой стране. Поэтому снимать меня не тянуло, не хотелось...

Была мысль снять по Стругацким "Трудно быть богом". Потом возник простой вопрос: "А почему, собственно, надо конспирировать, переводить всё в иноязычие, в средние века?" Хотели снять "Палату № 6" Чехова, и когда уже писали сценарий, опять возник вопрос: "Почему бы просто не рассказать о судьбе Григоренко?" Но это было неинтересно. Мы привыкли существовать в зашифрованном мире и, выйдя из Зазеркалья, мы оказались в скучной комнате.

Ничем руководить меня тоже не тянуло. Это меня заставляли, уговаривали, умоляли. Просто я был в это время моден. Моден я был благодаря не качеству своих картин, а тому, что это были одни из первых фильмов, открытых из запасников, с "полки", из числа наказанных, фильмов диссидентствующих режиссеров. Поэтому об этом очень много шумели, корреспонденты действительно сидели в очереди. Я был в полной панике, когда в такой очереди в Париже сидели корреспонденты "Юманите" и "Фигаро", – я думал, что, если я сейчас выйду, они подерутся. Потом я выходил, видел, что они дивно дружат, пьют вместе и хлопают друг друга по плечу.

Была масса предложений. Я, помню, разбился на машине недалеко от вашей редакции и лежал в больнице Склифосовского. И с тремя переломами должен был тащиться



**Алексей Герман
и актриса Тамара Серкова
на съемочной площадке**

к телефону, потому что все время звонили какие-то продюсеры с какими-то предложениями. Было странное предложение снимать фильм об итальянской деревне. Было предложение снимать фильм об итальянском пароходе, но непременно с Марчелло Мастроянни. Было такое предложение: "Мы вам предлагаем работу об Уходе Льва Толстого, только условие – если от этого откажется Никита Михалков". Было предложение по наводке Андрона Кончаловского – фильм о Ленинградской блокаде. Все это было иногда малосерьезно, иногда даже серьезно. Было огромное количество предложений снимать о КГБ. Помню, из Америки было предложение снять фильм о любви. Дело происходило в Венгрии во время известных событий, и самый главный злодей был заместитель посла. Когда ко мне пришли эти милые американцы, я у них спросил: "А знаете ли вы, кто тогда был заместителем посла?" Они сказали: "Нет". Я сказал: "Фамилия его была Крючков. Вам это ни о чем не говорит?" А год был, наверное, 87–88-й. Мне сказали: "Нет, какая милая фамилия, "Крючков"! Это что, от "крючка", значит?" Я говорю: "Нет, это просто я хочу вам сказать, что я к этому близко никогда не подойду, заберите от меня этот сценарий, я его даже читать, смотреть на него боюсь". Как ты помнишь, в это время Крючков был председателем КГБ.

Потом в один прекрасный день американская фирма "Кэмпбелл" предложила сделать фильм о поэте Иосифе Бродском по его книжке. Посредники были финны. Мы со Светланой приехали в Финляндию, и нам на кухне с листа читали эту книжку, потому что она не была переведена с английского. Книжка, как нам казалось, не давала возможностей для интересного кино, хотя в ней были пронзительные вещи. И вообще, про живого

поэта как-то глупо снимать кино. Но сказать: "Вот мы сюда приехали с ребенком, живем две недели, думали-думали – и передумали", – было как-то неловко. Мы гуляли ночами... и выстроился такой странный сюжет, – что-то наверху крутится, вот ниже, ниже, разные слои общества, 53-й год, евреи ожидают депортации, все достаточно страшно, все эти процессы... И внизу как раз история еврейской семьи и, наверное, гениального мальчика. Мы эту заявку написали. Финны прочитали, пришли в полную панику... Бродский там занимал одну двадцать шестую часть. Но люди они вежливые, единственная у них была просьба – уточнить кто такой Сталин, что для нас было достаточно смешно, мы точно так же захлопали глазами. Хотя фильм никакого отношения к политике не имел. Мы уточнили, после чего прибыл в Москву представитель фирмы,



**Алексей Герман
и актер
Юрий Цурило**

замечательный критик, которому было безумно стыдно объяснять мне, как это все надо сделать для того, чтобы это устроило американцев. Я накрыл стол в Доме кино, попросил налить водочки и сказал: "Я этой херней заниматься не буду. При полном моем желании заработать и снять такой фильм для меня это абсолютно исключено. Давайте выпьем водки и забудем об этом, как о страшном сне". И на этом мы разошлись. Прошло время, и мы занялись каким-то другим делом. Как-то нас пригласил Паша Лунгин к себе поужинать. Он вкусно готовит, а в семье Лунгиных принято рассказывать замыслы. Сейчас это довольно редко, все рассказывают, кто сколько за что получит. Мы Пашке всю эту историю рассказали. Он сказал: "Я немедленно перескажу это все французу". Через какое-то время прибыли два француза в виде российских офицеров, которые немедленно потребовали нашего с Светланой выезда в Париж. Мы поехали в Париж, где встретились с достаточно известным французским продюсером, который сказал, что замысел ему мой интересен, он смотрел "Лапшина" и он предлагает нам неделю пожить в Париже, а через недельку встретиться и поговорить. Для нас сняли в какой-то хорошей гостинице номер и исчезли. Через какое-то время я встретил одну русскую и сказал, что мы улетаем обратно, потому что денег нам не дали, жить мы в гостинице живем, но как-то это довольно дико все происходит. Та знала этого продюсера, и она позвонила ему: "Герман уезжает". Тот спрашивает: "Почему?" – "Ну, у него, собственно, видите ли, маленькая проблема – он должен питаться". – "Как? Такой известный режиссер, и у него нет денег на пропитание?!" Через полтора часа нам привезли деньги, тогда для нас большие. Как только с нами связался этот продюсер и как только

чем-то запахло, нас мгновенно атаковала армия продюсеров. Я помню, что меня зажали в подъезде, и человек пытался мне сунуть шесть тысяч долларов. Для нас неслыханные деньги, невероятные, – чтобы только я расписался, что я буду сотрудничать с ними. Ему не был известен ни сценарий, ничего – ему надо было увести нас от этого продюсера. Я висел на батарее от ужаса, что мне предлагают такую сумму. Что я с ней буду делать? Но мужественно отбил, надо тебе сказать. Через неделю мы встретились, и из трех проектов я назвал самый невозможный, самый немислимый, самый трудный. Москва, 53-й год, без всякой политики, жизнь общества в разных разрезах. Мы не хотели никакой политики, ничего и никого задевать, никого не разоблачать, просто рассказать что и как жизнь поворачивала. За этими людьми должны были угадываться конкретные лица: конкретно я, конкретно мой отец под видом каких-то других...



Фото С.В.Аксенова

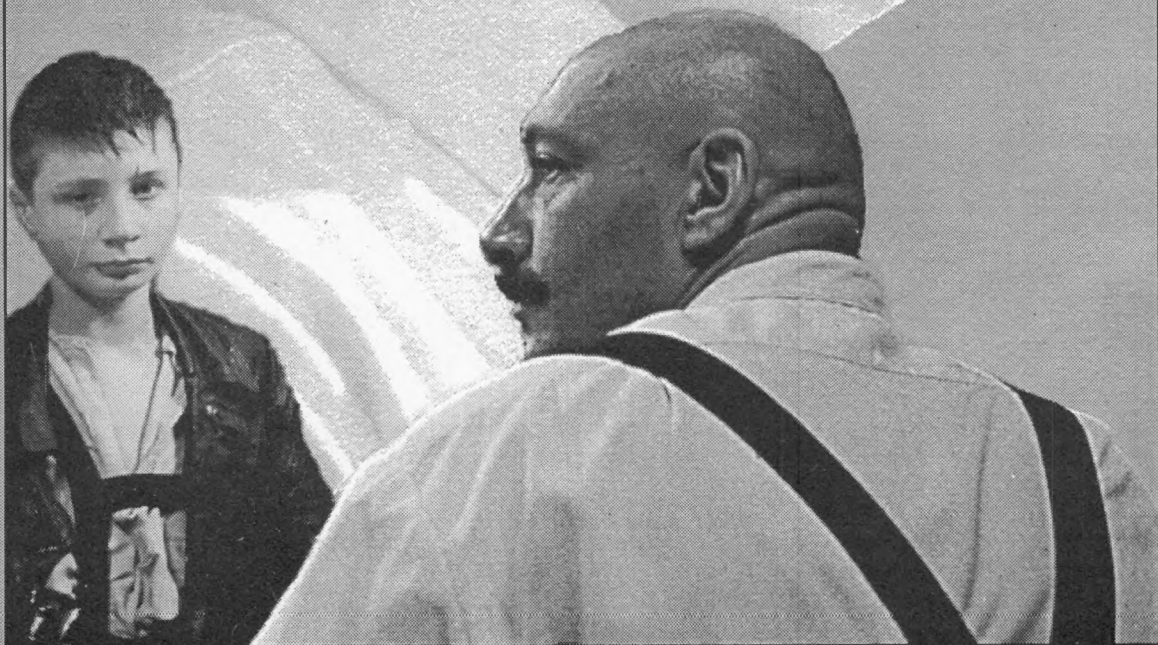
Французы выложили достаточно большую сумму денег. Тогда мне казалось, что этого хватит на производство огромного суперфильма о нашей истории, о нашем времени. За это время, как во всех приключениях со мной, началась чудовищная инфляция, цены выросли больше чем в три с половиной тысячи раз. И никаких этих денег хватить не могло. Ну и, кроме того, когда возникает деньги и валюта, вокруг появляется и клубится такое количество

людей, возникает такое количество бессмысленных трат... Я неумелый человек, и группа моя умерла. У меня умер после "Лапшина" главный оператор, мой друг, умер второй режиссер, уехал главный художник, умерла часть артистов. Я начинал один. Если бы этого не было, может быть, и деньги как-то по-другому бы сконцентрировались. Деньги ушли. Сейчас большую помощь мне оказывает Роскино, но и этих денег не хватает. Все мои визиты в банки заканчивались неудачно, и я уже привык к этому дурному теплему соку, дурному кофе, массе обещаний и в результате – отказам. Наконец, меня привели в какой-то бар, где стоял огромный бронзовый Ленин при входе, который протягивал ко мне огромную бронзовую руку. Это первый банк, который мне помог, фамилия председателя этого банка Ильин. Если можно, напечатайте это, не почему-нибудь, а потому, что это были первые люди, которые меня выслушали.

...Это затравка – то, что вы читаете. Мы специально не хотим печатать весь сценарий, потому что все начинается после. Более того, поскольку он снимался пять лет, мы считаем, что какие-то вещи устарели и поддаются непрерывной корректировке. Ну а дальше, выйдет что-то из картины, не выйдет – сказать трудно. Мне бы очень хотелось, чтобы что-то вышло, хотя в принципе, исторически, появляются какие-то новые фигуры, новые режиссеры, новая мускулатура, и это естественно и приятно, но не будем преувеличивать пока появление этой мощной молодой поросли, преувеличивать мне бы не хотелось. Пока еще мы, старики, чего-то умеем, как мне кажется.

Светлана Кармалита
Алексей Герман

Хрусталеv, машину!



Часов этак в пять утра 1 марта 53 года, будильника у Феди Арамышева не было, наручных часов, разумеется, тоже, но время было похоже к пяти, потому что трамваи еще вовсе не шли, да и окна жилых домов по Плотникову еще не зажглись нигде, только ярко светился танцкласс Дома культуры "Трудовые резервы", здесь электричество на ночь не выключалось, так вот, часов около пяти с истопником печей в "Трудрезервах" с Федей Арамышевым случился такой неприятный, устрашающий казус. Дело в том, что на углу Федя увидел заночевавший, присыпанный, соответственно, снегом, в февральскую ту ночь город буквально утопал в снегу, – так вот, Федя увидел заночевавший между сугробами "опель-капитан". Большую трофейную немецкую машину с неотломанным до сих пор "крабом" на радиаторе. Зачем этот "краб" был нужен Феде, он не знал, но неотломанное надо отломать, это он знал точно.

Федя подошел к радиатору, поскольку нувшись калошей на льду от спущенной из радиатора воды, посмотрел в пустые, отражающие темные дома стекла, проверил, на месте ли гнилой, болевший с вечера зуб, оглянулся на всякий случай, – народа, конечно, не было, – трехпалой своей ручицей прихватил "краб" и стал раскачивать машину. Да так, что рессоры "опеля" захрустели. Дальше-то и произошло удивительное. На круглых загнутых обмороженных крыльях машины вдруг вспыхнули два крохотных слепящих синих огонька, тяжелые, обледенелые двери абсолютно бесшумно, как бывает только в детском сне, отворились, и оттуда выскочили двое, и эти двое принялись метелить Федю. Но как?! Они метелили Федю как-то непривычно, незнакомо, не по-русски, как-то насмерть что ли. Потом один схватил за шиворот, отрывая воротник, второй за ремень и проводокли через запирающийся вообще-то скверик "генеральского", как его здесь называли, дома в парадняк черного хода. Причем комендантша Полина сама отперла парадняк, и глаза у нее были большие, выпученные, как у кошки.

Федю кинули под кучу примороженно-го песка для посыпки двора рядом с ломачи, лопатами и метлами. Откуда ни возь-

мись прибежал еще третий с длинной папиросой, с валенком в руках – таким валенком отбивали печень, даже без синяка. Федя это знал и скорчился, но бить его не стали, а один из тех, кто метелил, присел над Федей на корточки и сказал:

– Сидеть здесь, пока за тобой не придут. Язык вырву, в кишку загоню. В лагерную пыль сотру, на луну отправлю.

По последним этим словам Федя понял, с кем говорит, и мелко закивал. Через здоровую щель он увидел, как две тени исчезли в заснеженном "капитане", как мужик с валенком бросил папиросу и помог Полине заложить калошашками двери обычно запертых генеральских подъездов, так чтобы оказались полуоткрытыми, и, заглянув вовнутрь и наверх, сказал:

– На лестнице ковры, все им мало...

– Я все-таки склоняюсь, что он к Леви-ту в 40-ю, – сказала Полина, но ей не отвели.

И оба – и мужик и Полина – тоже пропали, опять спустилась тишина и ночь.

Большого зуба не было, и Федя быстро зашептал, мечтая, как поднимется наверх и уйдет по чердаку и как в гробу он сук видел, и твердо зная, что страх прижал его здесь в этой парадной и что он не тронется с этой кучи песка, пока за ним не придут, не посадят, не убьют или не отпустят.

Мимо черного "капитана" проехала незнакомая пятитонка с углем, и вдруг на прямых, ровно обрубленных ее крыльях тоже мигнули яркие синие лампочки.

В пустом "опель-капитане" возник короткий смешок, и ночь опять воцарилась в Плотниковом переулке.

Задул предрассветный ветер, создавая в наушниках невыносимо пронзительный звук. Луна уходила. В двойное обледенелое стекло "опель-капитана" с выпуклостью по внутреннему периметру было видно с легким искажением, как над городом потянулись вороны. Рация пробубнила, что объект вышел на вчерашний маршрут и сейчас появится.

У желтого, уже загаженного собаками столбика объект остановился, выковырял из калоши снег и теперь двинулся к машине по прямой.

– Отключаюсь, – сказал наушник, – внимание, – и щелкнул.

Это означало, что объект близко.

Он был не близко, он был здесь, ясно видный на фоне ярких окон “Трудрезервов”. В расширенном книзу заморском пальто, шляпе с шерстяными ушами, зонтиком-тростью, небольшой, почти маленький, с дерзко приподнятым плечом. Иностранца в нем выдавал именно зонтик – трофейных, завезенных из Европы вещей в Москве было предостаточно, но “каждому овощу свое время”, и русский человек, без сомнения, постеснялся бы зимой появиться с зонтиком. Трость или не трость, а все ж таки зонт.

Шесть машин и два десятка сотрудников вели его сейчас по Москве. Три машины уже стояли по маршруту, три темными тенями проскальзывали в объезд по переулкам, чтобы остановиться впереди, вроде заночевать с потушенными фарами.

Зашуршало, среди сугробов пробиравлась кошка, она тащила сетку с газетными кулками.

Хотя корреспондент “Скандинавской рабочей газеты” Александр Линдеберг, находящийся в Москве в краткосрочной командировке, был не суверен, но поплевал через левое плечо и двинулся дальше.

Громадой дома среди небольших домов начинался Плотников переулок с шапками блестящего снега на подоконниках, с одиноким, белым на черном, печным дымом, редкими светящимися подъездами и одинокой черной машиной.

Скверик перед большим домом был отгорожен от улицы решеткой, но ворота, на счастье, открыты. Белые яркие, как бывает только ночью, лампочки услужливо высвечивали над подъездами номера квартир. Подъезды были приоткрыты, все складывалось как нельзя лучше.

Линдеберг нашел, по какому подъезду значит квартира 37, переложил из бумажника в карман пальто фотографию и двинулся было к двери, но услышал шорох. Он ожидал увидеть кошку с пакетами, но никакой кошки не было. Шорох, однако, продолжался, и Линдеберг вдруг увидел, как изпод низкой двери, очевидно, черного хода высунулся прутик и шарит, пытаясь зацепить недокурную папиросу, как прутик зацепил

ее, подтянул, потом из щели возникла трехпалая рука с плоскими пальцами, пошарила и утянула папиросу за собой.

Двор был по-прежнему пуст, улица тоже, окна незрячи, и звуков больше не было.

Линдеберг повернулся и быстро зашагал прочь, аккуратно притворив за собой витые железные ворота скверика.

Двойное спецстекло чуть увеличивает, объект смотрит прямо в него – интересен он себе, что ли?! В глупой шляпе с шерстяными ушами. Аккуратные усы в инее, голубые близорукие глаза будто заплаканы, ну никогда не скажешь, что враг!

Объект отвернулся и быстро ушел, потерялось лицо, возникла фигурка, она пересекла свет окна танцкласса и слилась с темнотой.

Щелкнула рация, и будто в ответ щелчку из тупичка выехала и прошла мимо “опеля” грузовик-цистерна с потушенными фарами, длинная и тяжелая, как ящик.

Водитель в “опеле” щелкнул тумблером и доложил кому-то, массируя при этом уши:

– Комендант дома информирует, что объект предположительно направлялся в квартиру сорок, ответственный квартиросъемщик Левит, – он подождал и сам себе пожал плечами.

Ему не ответили.

Я дернулся и проснулся. Кусочек трусов сбоку был мокрый, я на цыпочках полз в ванную, снял трусы, выстирал мокрый кусок и положил их на горячую батарею сушиться.

Сам сел в плетеное кресло и стал смотреть на себя в зеркало.



Алексей – Михаил Дементьев

– Кто здесь? – бабушка подергала дверь ванной и пошла к себе. – Сны, сны, – сказал бабушкин голос и забормотал, – иже еси на небеси... да святится имя твое, да придет царствие твое... Серезенька и Маша...

Мне шел двенадцатый год, и было пять с четвертью утра.

Трехпалая белая рука из-под двери обескуражила Линдеберга, и, думая об этом, он дважды пожал плечами, отломал сосульку и стал сосать, как в детстве. Он так и шел с тростью-зонтом в одной руке, сосулькой в другой, пока на широком перекрестке резко не остановился, потому что как раз в этот момент неведомая рука невидимого человека включила гирлянды лампочек над улицей. Сноп радостного желтого света залил перекресток. В эту же минуту из боковой улицы выскочила пятитонка, груженная углем, и резко гуднула, заставив Линдеберга метнуться влево. Слева из незаметного, нарушавшего строгую геометрию улиц проулка, как раз поперек выскочила грузовик-цистерна, затормозила, взвыла клаксоном, пошла юзом, гремя цепями на колесах, и задней своей, обвешанной грязными скатами и резиновым гофрированным шлангом частью ударила Линдеберга.

Клаксон продолжал кричать, медленно одна за одной гасли гирлянды и так же медленно зажигались окна в соседних домах, тяжело хлопало в цистерне содержимое.

Линдеберг встал на четвереньки, из носа обильно текла кровь. Шляпа и зонт улетели в разные стороны. И он на четвереньках, грязно-серый от снега, пополз к своей шляпе. Но пятитонка с углем зачем-то дала назад и придавила ее огромным колесом. Кровь толчками выбрасывалась из носа, оказываясь каждый раз впереди ползущего Линдеберга.

Бахнула дверца. Водитель цистерны вылез и сел на подножку.

– За что ж ты меня убил, дяденька... – негромко сказал он Линдебергу и поморгал светлыми глазами.

Линдеберг сел на снегу, закапывая пальто кровью из носа.

– Можете встать, товарищ? – голос был женский, Линдеберг видел только боты, блестящие резиновые боты, и им закивал.

– А он латыш? – сказали тяжелые кир-

зачи. – Лямпочка на лампочку загляделся...

– Я иностранец, – пронзительно сказал, взявшись за голову, Линдеберг, – но я корреспондент “Рабочей газеты” и сам бывший моряк... Лонг лив комрад Сталин. Пожалуйста пожать вам руку.

– Лучше ногу, – кирзачи свистнули и исчезли. Взревел мотор, огромное колесо освободило шляпу. Ее тут же подняли женские руки.

– Встань, дяденька, – водитель с цистерны вдруг заплакал, – я тебе и шляпу куплю, и пальто... Я пивка выпил...

– Я встану, встану... – мотал головой Линдеберг, – почему она в ботах зимой?

– Мы определенно можем встать, – сказал женский голос, – тут поликлиника недалеко... Только встать лучше с закинутой головой, – голос крикнул притормозившей скорой: – Я врач из шестой, Мармеладова... Все в порядке, немножко пива выпил... – повернувшись к Линдебергу, добавила: – Я в ботах, а вы с зонтиком, а теперь поглядите, подо что попали... Ой, мамочка, – и захохотала, закинув голову.

Линдеберг увидел серые навывкате глаза, руки с маленьким кольцом, напяливающие на него грязную смятую шляпу и одновременно властно отгибающие голову назад.

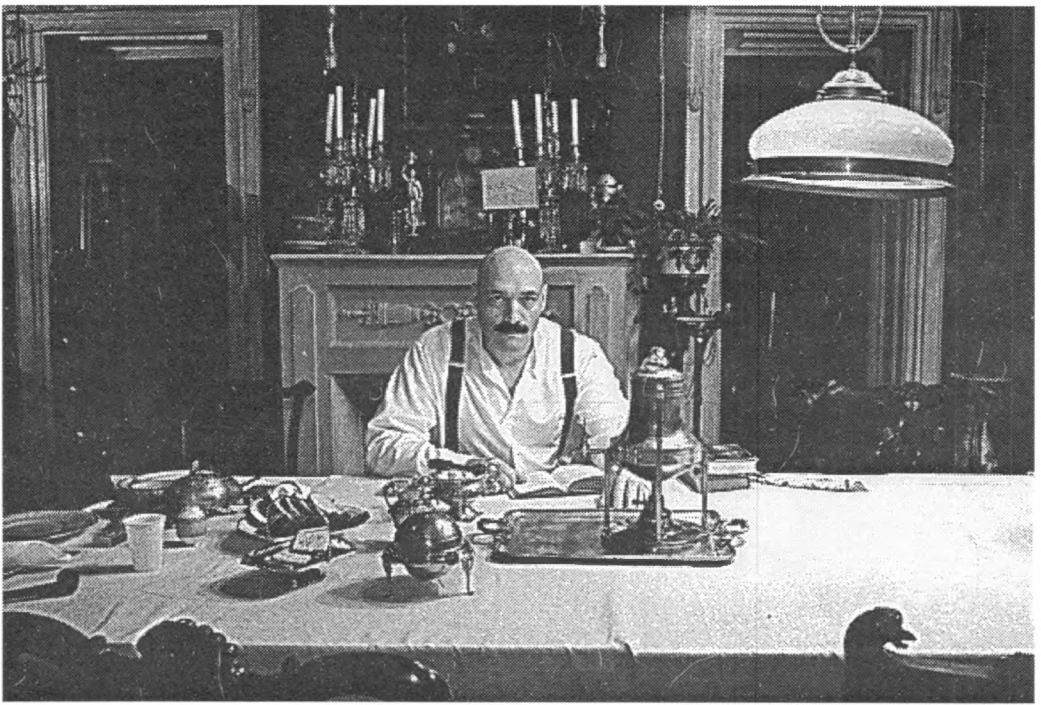
Кто-то невидимый опять включил рубильник, улица вспыхнула гирляндами, звездами, портретами, и Линдеберг увидел проплывающую под этими гирляндами вышку, укрепленную на автомобиле, там стояла баба в ватных штанах, и она помачала ему рукой.

В Плотниковом переулке было тихо, будто там на перекрестке ничего не случилось. Зажигались окна, одно, два, потом рация щелкнула, и голос, врубившись на полуслове, сказал по-домашнему:

– Значит, пошабашили на сегодня. Благодарю за службу! – и так же на полуслове отключился.

В проулках и подворотнях стали заводиться машины, замерзшие сотрудники полезли в них греться. Последним прошел студебеккер с дровами. Недвижным оставался только черный “опель-капитан”.

В семь тридцать утра или через два часа



Глинский – Юрий Цурило

после вышеизложенных событий целой серией отдельных будильников просыпалась наша квартира. Наша – это моего отца генерал-майора медицинской службы Глинского, членкора, профессора и прочее, прочее, прочее. И как он сам добавлял в таких случаях, “ворошиловского стрелка”. Просыпание это или вставание до выхода отца называлось у нас “наводнение в публичном доме во время Страшного суда”.

Огромный наш профессорско-генеральский и, соответственно, режимный дом был построен перед войной. В красного дерева нашу гостиную выходило целых шесть дверей. Пять – из цветных стеклянных витражей и одна, где витраж зашит черной кожей. Это кабинет отца.

Даже дверь на кухню, где спит домработница Надя, тоже был, хоть и битый, но витраж.

Завтрак у нас всегда один и тот же, яичница с колбасой и чай с молоком. Надя уже гремит кастрюлями на кухне, там же с газетой сидит шофер Коля, тощий и всегда с больным горлом, “свой человек еще с войны”.

Первой из нашей семьи в гостиной появляется бабушка, папина мама, Юлия

Гавриловна с идеей что-нибудь украсть из еды и спрятать.

Бабушка много что пережила, и, как говорит Коля, “черепушка у нее немного отказала” в смысле еды.

За ней появляется мама.

– Голода нет, Юлия Гавриловна, и не будет, – кричит мама. Бабушка глухая, слышит ровно половину, да и то из того, что хочет слышать. И всегда покачивает головой слева направо, будто она со всеми не согласна, – голод кончился раз и навсегда, а вот дизентерия будет у всех, – мама отбирает у бабушки еду, проверяет карманы фартука и идет в ее комнату вынюхивать спрятанное и протухшее.

Бабушка театрально кивает:

– Не могу побороть своих фантазий... Отправьте меня в богадельню. Коля, отвезите меня туда сегодня же. Уйди, предатель!

“Предатель” – это наша маленькая карельская лайка Фунтик, замечательно оты-





Юлия Гавриловна – Паулина Мясникова, Татьяна – Нина Русланова

скивающая у бабушки спрятанную еду, – если колбаса спрятана в шкафу, Фунтик обливаает ее, как белку.

На лай Фунтика из бабушкиной комнаты беззвучно появляются Бела и Лена Дрейдены, мои двоюродные сестры, дочери маминной сестры Наташи и дяди Семы. Мы русские, но дядя Сема еврей, и нынешним летом его выслали на Печору как космополита.

Бела и Лена ждут весны, когда там будет не так холодно и родители обустроятся. Они живут у нас без прописки.

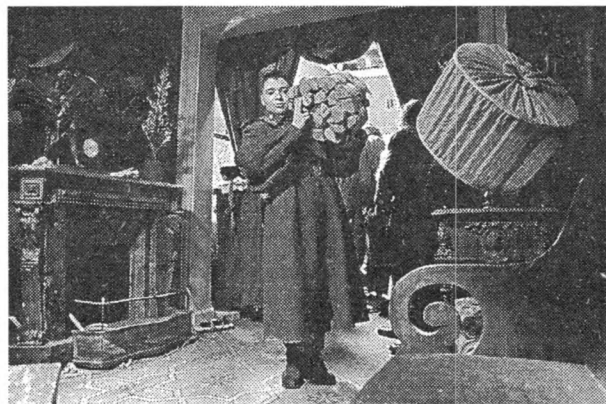
– Девочки, почему вы не чистите зубы, у вас щетки сухие, – мама возвращается через прихожую и незаметно нюхает папину шинель и шарф. Коля смотрит себе горло в зеркало над камином, в зеркале он видит маму и говорит не оборачиваясь:

– Плюнь, Татьяна, не мыльный, не смылится.

– Дурак, – отвечает мама, – я нафталин проверяю.

Домработница Надька, как все на свете, кроме Коли, обожает отца и поэтому как-то эдак неуловимо, поводит плечом. Мама вспыхивает, раздувает ноздри, и начинается утренний скандал.

– Проверим-ка, Надюша, наши счета, вчерашний базар и что ты там брала у “Елисеева”?



Коротко брякает звонок. Это пришли молочница и дворник. Дворник принес березовые дрова для каминов. Сопровождает их комендантша Полина, так уж положено в нашем доме. Так как дрова разносят по всей квартире, то на это время Бела с Леной уходят в огромный резной

шкаф в маминной комнате, откуда убраны вещи, где стоят два стула и где они пережидают некоторые визиты.

Я загоняю Фунтика на кухню, иначе он скребется в шкаф.

– Кричит попугай? – спрашиваю я у Полины.

– Кричит, – смеется Полина, – петух бы уж сдох, а этот надо же... – ей хочется смотреть не на меня, а на папину дверь.

У молочницы-татарки большие, обшитые войлоком бидоны на лямках через плечо, от нее пахнет морозом и творогом.

– Задавись, – шипит между тем на кухне Надька и выкладывает из кармана под нос маме мелочь, – не, я лучше уголь грузить. Всё, приехали. Станция Вылезайка.

Надька достает из-под топчана и начинает складывать в чемодан необходимые для погрузки угля белый фартук, косынку и подаренный мамой довоенный габардиновый плащ:

– Где мои бурки? Ты у меня их брала... С Фунтиком ходить...

Мама закуривает и начинает искать Надькины бурки. Молочница и Полина с дворником, наконец, уходят.

– Неблагодарная дрянь, – говорит мама Надьке, – ты ведь и в милицию на девочек напишешь.

– А как же... – отвечает Надька.

– Ведь в тебе сердца вот настолько нет.

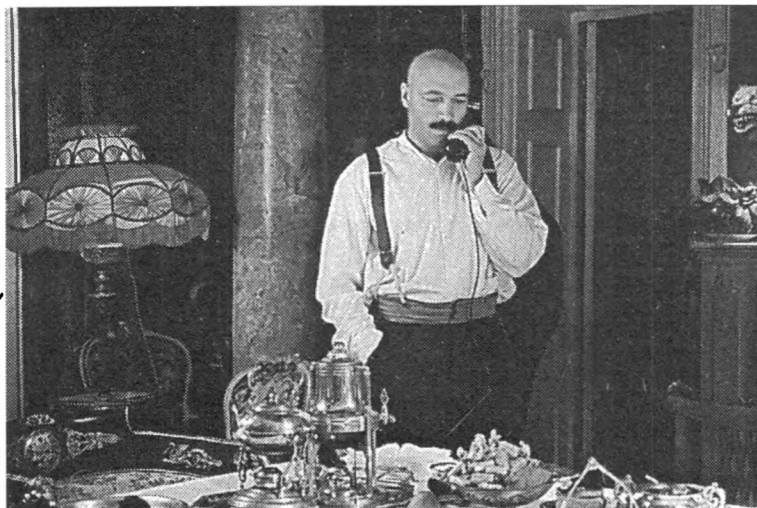
– А как же, – соглашается Надька, – но я тебе на прощание давно хочу сказать, Татьяна, над тобой насчет женского достоинства весь дом смеется, если хочешь знать...

Насчет всего, что связано с папой, маму трогать не следует. Так из нее можно веревки вить, но тут она звереет.

– Ага, – взывает мама, разворачивается и крепким кулачком бывшей пианистки засаживает Надьке под глаз.

Тишина, кажется, и радио замолчало. У всех на лицах, даже на роже Фунтика, что-то вроде доброжелательной улыбки. Черная кожаная дверь открывается.

Моему отцу сорок два года, он уже выбрит, пахнет крепким одеколоном, белая накрахмаленная военная сорочка, длиннющие ноги в брюках с генеральскими лам-



брезгливо он, – в моем подъезде неделю назад арестовали дельца из Морского регистра по фамилии Левит и опечатали квартиру вместе с попугаем. Попугай орет на весь дом. Квартиру следует вскрыть, а попугая сдать в зоо-сад...

– Обязательно скажи, что с этим Леви-том лично незнаком... – подсказывает мама, затаиваясь дымом. Но отец ее не слуша-

ет, улыбается и уходит в свой кабинет. На стене в кабинете две картины, нарисованные его больным с опухолью мозга. На одной – странное женское лицо через темно-зеленую, почти черную листву, на другой – кривой лес, поезд из разноцветных вагонов и над ним ворона с чело-веческим лицом и в одном ботинке.

– Поцеловать курящую женщину, – цедит Лена, глядя из кухни на маму, – это то же самое, что облизать пепельницу.

– Поцеловать курящую женщину, – цедит Лена, глядя из кухни на маму, – это то же самое, что облизать пепельницу.

Во всей кварти-ре горят люстры. За огромным нашим столом в гостиной завтракают только отец и мать.

Все мы – Лена, Бела, бабушка, я и Коля – едим на кух-не.

Мама не ест, яичница перед ней не тронута, она ку-рит, и пальцы ее мелко дрожат.

– Алексей, – спрашивает меня отец из столовой, – кричит попугай?

– Кричит, – отвечаю я, – петух бы сдох, а он кричит...

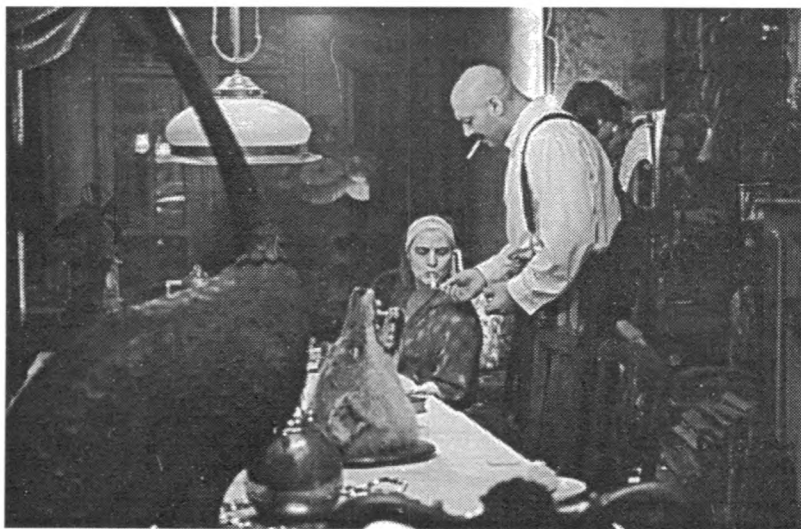
Отец берет телефонную трубку и наби-рает номер.

– Генерал-майор Глинский, – говорит

ет, улыбается и уходит в свой кабинет.

– Обязательно скажи, что с этим Леви-том лично незнаком... – подсказывает мама, затаиваясь дымом. Но отец ее не слуша-

ет, улыбается и уходит в свой кабинет.



Бела кивает, и Надька подливает им молока.

– Северное сияние, – говорит Лена, – со-здаст эффект огненных мечей, пронизываю-щих небо, но весной мы его уже не увидим.

– Не надо его видеть, – говорит Надька, – тьфу на него. Видят папаша с мамашей, и довольно. И Бога благодарите, что генерал – такой человек.

Радио говорит о войне в Корее, о народных стрелках, охотниках за самолетами.

– Вот куда надо ехать, – говорит Коля мечтательно.

Синим цветом горит газ, булькает большая кастрюля с очень красным борщом, бабушка просыпала соль, курит мама, потирая рукой с папиросой висок. Ничего лучшего в моей жизни не было и не будет.

Наши окна ярко горят по всему углу угрюмого нашего дома. Идет снег, медленный и густой, накрывает белым покрывалом улицу, колеи машин, черный “опель-капитан”. Если приблизиться к окну отцовского кабинета, ближе, еще ближе, то за гардиной можно увидеть отца, смотрящего через снег на улицу, вниз в проулок. Отец протягивает руку и смотрит на “опель-капитан” через тяжелый артиллерийский бинокль.

Этим же утром я чуть не опоздал на облом. На углу с Воздвиженкой повесили второй почтовый ящик, я не знал, куда опустить письмо, в старый большой или в новый маленький, решил в новый. Письмо лежало в “Зоологии”, я прижал ухо к почтовому ящику, и мне показалось, что я чуть не угодил под военный грузовик с бочками, бочки покатались назад и расщепили грузовику борт.

Солдат-шофер выскочил из-за баранки и погнался за мной, на ходу выдирая ремень из ватных штанов. Я залетел в парадное, успел выдернуть фотокарточку, где я с отцом, я ее не зря наклеил на картонку, и выбросил руку с фотокарточкой навстречу огромным ватным штанам и мутному запаху керосина.

– Красноармеец, смирна-а! – рявкнул я. – Мой папаша, гляди, генерал, тронешь, поедешь топить полярную кочегарку.

– Хорек, – сказал огромный шофер, раздумывая, что делать со мной, и сплунул.

Я вытянул двумя пальцами из кармана десять рублей, подержал их немного на весу.

– Я из-за тебя ногу вытянул, – сказал я и скорчился, – мне теперь до школы не дойти... Тащи вот теперь.

– Садитесь, – сказал солдат, подумав, – только деньги попрошу вперед...

Я отпустил десятку. Она легла на ступеньку рядом с его плевком. Он поднял, я прыгнул ему на спину, и он повез меня через двор.

Солдат почти бежал. Светало, во дворе школы десятиклассники разгребали снег. По крыше сарая ходила ворона с обрывком веревки на лапе.

– В Москве служишь, а подворотничок черный... Позор! – объявил я потному, стриженному под нулевку затылку и перебрал.

– Хорек, – солдат вывалил меня в сугроб.

Я схватил портфель и помчался дальше. И так полшколы видело, как я приехал на солдате. Это было чудно.

Там, где двор загибается, там наши, там облом. Полтора десятка окружили двоих – огромного толстого Момбелли спиной к спине с маленьким Тютекиным. Портфели на снегу кучей. Здесь много других куч, говняных, можно вляпаться.

– Ответите, – блеет Тютекин, у него палка от метлы, говорят, они с матерью у Момбелли кормятся.

– Ладно, ладно, не надо было вождей убивать, – Ванька Нератов тащит от трансформаторной будки охапку палок, – сегодня мы сами с усами. На твою, Тютекин, палку у нас двадцать.

– Вы статью сегодня в “Красной звезде” читали? – Момбелли отрывается от Тютекина, закладывает руки за спину и начинает вышагивать взад и вперед между кучами. Ноги он ставит навыворот, как профессор из фильма “Весна”, ноги большие и ляжки большие, и не ботинки, а полуботинки. – Там про разницу евреев и сионистов, – Момбелли начинает качаться с пятки на носок, поднимает голову в очках вверх и цитирует по памяти, – “...так повторим же, чтоб наш голос услышали прогрессивные люди земли. Мы ни в коем случае не против евреев, мы против сионистов. Нации равны, мировоззрения нет. И мы говорим всем и каждому – смешивать эти две вещи преступно”. Ну, а дальше, – он переходит на скороговорку, – “...кто к нам с мечом придет...” – это можно толковать по-разному. А мой отец служил на флоте, а на флоте не бывает сионистов. А ваши медали, – Момбелли устремляет на меня толстый палец.

– Вперед! – ору я. – За Родину! – и срываю с носа очки.

Ледышками по балде, палками под ноги ему, жирному, под ноги.

– Сало дави-и-и!

Ванька еще вчера сделал два лассо, мы кидаем их, как на быков или мустангов. Зацепили, вперед.

И тут же я получил чым-то ботинком в глаз, поднимаю голову, вижу через пелену тающего снега, как двое писают на Тютюкина. Тютюкин рыдает, Момбелли еще бьется.

– Вперед! – я прыгаю, чей-то страшный вопль, будто ногу кому-то трамваем переехало, и в ту же секунду какая-то неутомимая, не терпящая возражений сила поднимает меня, ставит на ноги. Двор приобретает конкретные очертания, обмоченный и плачущий Тютюкин, ребята, побросавшие палки, Ванька без шапки, с напряженным лицом и дурацким своим лассо из зеленого каната, и человек, который поднял меня за шкуру. Мой отец, генерал-майор медицинской службы Глинский, в шинели, папахе, шофер Коля, а вон и наш шоколадный “ЗИМ”. Папаша Момбелли в морской форме, но без погон, там, где погоны, нитка.

– Что это? – отец берет у отца Момбелли и протягивает мне на ладони медаль “За победу над Абрамом”. Снежинки падают на медаль, размывая тушь на золоченной картонке.

– Надень очки, – говорит отец. Я надеваю.

– У тебя есть такая медаль?

Я киваю и достаю.

Отец долго рассматривает медали, шевеля губами, потом поднимает глаза на меня.

– Сними очки.

Я снимаю очки, и отец вдруг коротко, небольно, но очень страшно бьет меня по лицу.

– Еще бей, – кричу я с ненавистью, – убей, с тебя хватит... Не буду с вами жить, не буду, не буду. Нашел себе под силу.

Отец еще смотрит и еще раз коротко бьет меня по лицу. Я затыкаюсь. Он поворачивается, ссутулясь, и идет к машине. Коля растерянно пожимает плечами и идет следом. От машины Коля смотрит на меня, но вдруг исчезает, по-видимому, отец крик-

нул. В наш закуток подтягиваются десятиклассники с лопатами – генерал зачем-то приезжал, и бежит Варвара Семеновна, мой классный воспитатель, она сама толстая, и коса у нее толстая растрепалась, она держит ее рукой у лица. В другой руке лакированная сумка, из разорванного пакета сыплется на снег рис. Большая, в большом старомодном пальто с пелериной.

Момбелли-отец кивает на Нератова:

– Гляди, петлю заготовил... Вешать нас, сынок, будет... – Глаза у него нехорошие, навывате и жестки.

Еще я заметил, что, когда отец садился в машину, он почему-то резко обернулся в сторону двора и улицы, вроде бы позвали или что-то увидел, но, отворачиваясь от улицы, на меня он уже не смотрел. Этот его взгляд я стал понимать много позже.

У клиники, выходя из “ЗИМа”, Глинский обернулся. Медленно проехал трехосный “ЗИС”, ахнув пустыми бидонами на снежном бугре, подтормозил и резко завернул к хоздвору. Солдаты подтягивали вверх на фасад жестяную пятиконечную звезду в лампочках.

– Прикажите солдатам скрыть бугор, – приказал Глинский дежурному майору, – здесь сантранспорт бросает, – и двинулся к клинике, вышагивая длинными, как циркуль, ногами.

Поднявшись на второй этаж по устланной ковром лестнице, Глинский отдал дежурному офицеру шинель, но зашагал не туда, куда предполагалось. Здание было длинющим, коридоры переходили в коридоры. Весь персонал был военный, под белыми халатами топорщились погоны.

– Смирна! Смирна! – коротко тьякал из-за плеча дежурный.

Кончились палаты, он быстро прошел запаренным пищеблоком, за ним, за пищеблоком, ванны, где в таком же пару мужчины и женщины, потерявшие друг к другу интерес.

Здесь он давно не был. Подстанция, еще коридор, в конце – огромное окно в парк. В окно он увидел опять свою машину, увидел шофера Колю, идущего от машины за угол мимо снежного бугра. У бугра стояли майор и два солдата. Майор бил по бугру каблуком, а Коля вдруг посмотрел через плечо

в сторону клиники и окна так что Глинский сделал шаг назад. Это было смешно и глупо, не мог же в самом деле Коля знать, где Глинский сейчас.

Дежурный так и держал шинель и папаху. Из-за его спины он увидел женщину в сером халатике – “киста нервного ствола”. Женщина смотрела в глаза, будто хотела что-то сказать, будто что-то знает.

– Вам что?

Потрясла головой, шевельнула губами. Прекрасное лицо, предсмертное какое-то.

Глинский толкнул дверь на лестницу.

– Открыть, – сказал он. Странное дело, решимость куда-то уже ушла. Долго шел, что ли.

– Она с той стороны забита, товарищ генерал, трубы сгнили, там пар, как в аду...

– Как же вы туда ходите?

– Через прачечную, через бучильники... Через инфекцию тоже можно... – майор показал рукой изгиб, как можно через бучильник.

Глинский сел на корточки и посмотрел в замочную скважину. Сырой марш лестницы, желтая лампочка в пару, грязный мокрый ватник на перилах.

– Дайте топор, – сказал он, сунул руки в карман кителя, размял застывшие, будто скрюченные мышцы плеч и добавил: – Впрочем, откуда у вас топор... – и пошел назад.

Старший методист, Анжелика, забрала у дежурного шинель Глинского, достала из пакета новую папаху, положила на открытую форточку.

– Лучше морозом, чем бараном, – сказала она, – но каракуль – чудный.

Глинский привычно вымыл руки, и, давая полотенце, Анжелика незаметно поцеловала ему ладонь.

– Кольцо потерялось, – сказал Глинский, – не беда, но если увидишь...

У кабинета ждал подполковник Вайнштейн, вошли они вместе, но Глинский сел за стол, а Вайнштейн остался стоять у двери. В углу поскрипывала трансляция, зеленый ее глаз будто засел в зеркальной двери напротив. Начальники отделений начали рапорта, Глинский не слушал.

– Я прочитал ваше письмо, – сказал Глинский, – и сжег его. В выходе в отставку нет дискриминации. В клинике остается

двенадцать лиц еврейской национальности...

– А сколько в клинике лиц мордовской национальности? – вдруг быстро и бешено спросил Вайнштейн. – Ты же знаешь, позавчера пропал Игорь...

– Мальчику семнадцать лет... самое время...

Вошла Анжелика с двумя стаканами чая с лимоном и замешкалась, увидев, что Вайнштейн стоит.

– Вызовите начальника первого отдела, особого отдела, кадровика и начальника АХЧ с топором, – медленно сказал Глинский.

– Я лучший анестезиолог города, – вдруг закричал Вайнштейн, – и вы это все знаете, все, все... О-о-о! Как вам будет стыдно когда-нибудь, – и он вдруг потряс короткими пухлыми своими кулачками над головой.

Глинский потер переносицу и подошел к окну.

Коля возвращался к машине, в руках он тащил две сетки с крупными кочанами капусты.

– Смирна! – сказал Глинский, ощутив вдруг тихое и сладкое бешенство, почувствовав мышцы плеч и знакомый гул в затылке. – Кругом! Кругом! – Выпучив глаза, он смотрел, как вертится, встряхивая толстым неуклюжим животом, Вайнштейн.

На третьем “кругом” Вайнштейн заплакал.

– Ша-гом!

Вайнштейн, беззвучно рыдая, вышел, плотно закрыв дверь.

Анжелика проворно открыла сейф, налила в тонкого стекла стакан коньяку под край, как он любил.

– Плюнь, плюнь...

Глинский выпил медленно, как холодный чай. Анжелика опять стала целовать руку, опустилась на колени, положив его ладонь себе на лицо.

Глинский видел ее и себя в зеркальных дверях. ее затылок, ее тонкую, до болезненности отмытую руку и свое лицо. И в лице этом были только жестокость и недоверие.

Он запустил пальцы в стакан, достал лимон и стал жевать вместе с кожурой, брезгливо глядя на вздрагивающий затылок Анжелики.

По радио артист Журавлев читал Пушкина. Голос сверху, не затуманенный грустью, сказал по трансляции:

– Смерть, смерть, пришлите смерть вторую реанимацию...

– Смерть трубы повезла... сейчас придет... – отрезал голос дежурного, – ждите.

Трансляция щелкнула, а голос Журавлева вдруг поднялся и явственно и нежно произнес:

– А девушке в осьмнадцать лет какая шапка не пристала...

Он шел по коридору, клацая хромовыми своими сапогами, не в халате – в мундире, так и не меняя брезгливого выражения, будто все еще жевал лимон с кожурой. Тот же коридор, те же короткие "Смирна!", нелепые посреди страданий.

Свита из шести офицеров и Анжелики с накрахмаленным его халатом на руке старалась попасть в ногу и подделаться под выражение его лица. В каменных, крашенных шаровой краской больничных коридорах все они напоминали атакующий взвод. Начальник АХЧ, тоже в белом халате поверх ватника, нес топор. Только у особиста лицо скучающее, глаза прикрыты, будто не с ними, будто попутчик. Опять большое окно. За ним вечернее закатное солнце на морозе, и опять эта же "киста нервного ствола" в сером байковом свалывшемся халате, смотрит, смотрит в лицо. В исколотой руке маленькая книжка. На французском.

– Вскройте дверь, – сказал Глинский, – ну! И курсантов давайте сюда.

– Стул генералу, – приказал особист, – и чаю покрепче, живо! – И с тем же выражением лица, будто не замечая, как вздернула подбородок Анжелика, стал смотреть, как толстый подполковник раскачивает топором дверь.

Курсант принес стул. Глинский сел, пейзаж за окном сместился. Вот оно. Маленькое желтое ДКВ и его, Глинского, "ЗИМ"

нос к носу. И ни Коли, никого. И не спросишь, и в форточку не крикнешь. Гладкая желтая полированная крыша ДКВ, и в небе вечерние облака и красное отражение солнца.

Треск, с той стороны двери отвалилась доска. Двое налегли, за дверью клубы пара, пар над ступенями вниз и под потолком, будто дыру образует, там душно, внизу в пару голоса, матюг.

Пошли, пар, пар, красная лампочка, как бы так кончалась жизнь, о чем это он?

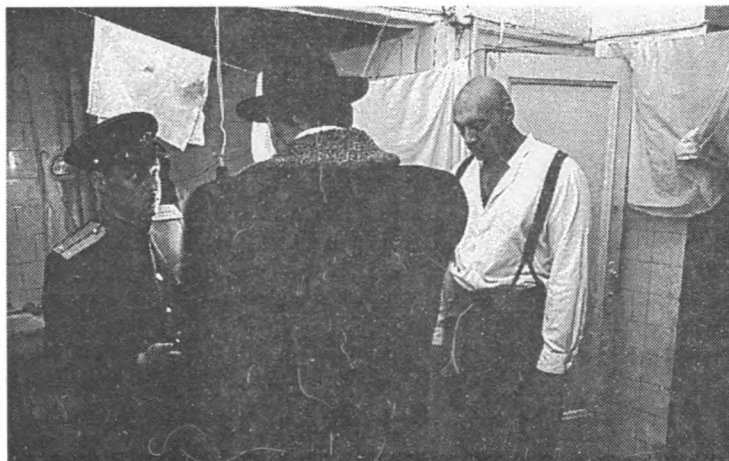
Направо дверь, дальше опять ступени вниз, и Глинский туда, в белое марево:

– Смерть, ты сюда трубы привезла?

– А кто меня кличет?

– Начальник клиники генерал-майор Глинский.

Кашель. Из пара возник человек в отсыревшем бушлате, щербатенький, с насморком, с простудой на губе.



– Я – смерть, товарищ генерал, – поморгал.

– Гиньоль какой-то, – засмеялся голос сзади, – мистика...

– Я приказал, – сказал ровно Глинский, – смерть на посторонних работах не заниматься. Это безвкусно.

Сзади засмеялись и замолчали.

Пар кончился резко, как на срезе. Белые халаты будто проявились. Дверь, коридор, поворот. Здесь местная травма, даже больные не в пижамах, в своем. Солдату бочкой спину придавило, такой уровень. Еще поворот, отдельная палата, обитая одеялом дверь.

Догнал медбрат, у него чай в оловянном подстаканнике, плавает зеленый лимон, отдает Анжелике, та не взяла, руки за спину, Глинский забрал сам. Все знают, что это почти не чай, коньяк и что у генерала запой, а вроде тайна, надо мешать ложечкой.

– Курсанты здесь? – Глинский сам слышит свой звенящий спокойный голос.

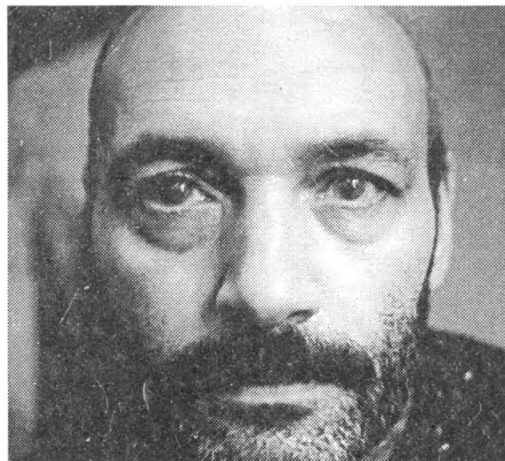
– Может, обойдемся, – отчего-то веселится особист.

– Нет, не обойдемся, – Глинский чувствует, как собственный голос бьет его по ушам.

– Ну к чему такое представление, Юрий Георгиевич?

На секунду они сцепились глазами, ласковое лицо особиста абсолютно мокрое.

– Большой Стакун, поступил 25 февраля распоряжением 03/801, прибыл вчера, история болезни прилагается.



Стакун лежал в отдельном обшарпанном боксе, даже в этом боксе он был отделен высокой несвежей ширмой, которую ставили у совсем тяжелых, отделяя от остальных. В боксе же никого другого не было, на подоконнике лизала раму толстая больничная кошка. Дальше был знакомый сквер, сугроб вровень с подоконником да за оградой две машины, как знак беды.

Стакун был худ, безбров, голубоглаз. На голове не волосы – какой-то светлый пух. И странно, болезненно напоминал самого Глинского. Все другое не его, Глинского, и при этом похож. Глинский услышал, как задребезжала ложечка в стакане, потом

зачем-то собрал и сдвинул в угол ширму, аккуратно, не спугнув кошку. Взгляд у Стакуна был тяжелый, спокойный. Таким взглядом не смотрят на врача, таким взглядом может смотреть врач на больного. Нешумно входили курсанты, кирзачи из-под белых халатов.

– Как вы себя чувствуете? – Глинский хлебнул чаю-коньяку, поболтал ложечкой и усталился в Стакуна, будто в запотевшее зеркало.

– А ты? – Стакун смотрел приоткрыв рот.

Бывали минуты в жизни, когда Глинский тяжелел, нежное его лицо наливалось кровью, будто стекало, являя другого человека, сильного, глумливого и неприятного. Но поразительно так же сейчас менялось изможденное лицо Стакуна, наливаясь кровью и угрозой.

Где-то в коридоре пронзительно закричал детский голос.

– Больно, больно, больно, – кричал ребенок.

Глинский, как давеча, вынул двумя пальцами лимон, прожевал кривясь и так же кривясь взял за шиворот кошку и через головы курсантов выбросил ее из палаты. Пожалуй, он перебрал с коньяком. Ему вдруг показалось, что это кошка кричит “больно”.

– Перед нами удивительный случай, – посмеиваясь, сказал Глинский, – свинцовое отравление в результате повреждения пищевых котлов и воспаления оболочек в области лба, терапевтические травмы, не совместимые с жизнью. Однако перед нами практически здоровый человек. Облысение головы и бровей, судя по загару, произошло задолго до отравления... Что это – феномен практически не проведенного курса лечения?

Глинский шагнул вперед и аккуратно снял с больного одеяло. Стакун был в нечистой короткой больничной рубашке и ярких вязаных шерстяных носках. Подштанников не было. Простыня под ним была в латках.

– В истории болезни значит, – Глинский поднял вверх палец, – что Стакун был помполитом отдельного железнодорожного батальона Сахалинской дороги в 32–35 годах. Лепкомом того же батальона в этих годах был я. Но мы не встретились.

Радио передавало “Клуб знаменитых

капитанов". Барон Мюнхгаузен нес какую-то околесицу о Волго-Доне.

– Ты пьянь запойная в генеральской форме, – вдруг медленно и ясно произнес Стакун, подтягивая длинные белые слабые свои ноги, – а может это я тебя не видел в батальоне... А может, это и не ты был в батальоне, а может, это я был лепком Глинский в батальоне... – Стакун встал, голый ниже пояса и длинный, и пошел к курсантам. И вдруг рухнул лицом вниз, носом об линолеум, так что кровь брызнула на сапоги. Дернулась белая гладкая, в татуировке, ягодица.

– Типичный лобник, товарищ генерал... психопат, – громко сказал молодой картавый голос, по-видимому, курсант.

– Перевести в психиатрию, – медленно сказал Глинский. И увидел вдруг шофера Колю, который со счастливой улыбкой махал через окно ему рукой.

– Пульс нитевидный, зрачки не реагируют, – сказал у ног голос ординатора. Глинский резко сел на корточки, но вдруг его качнуло. Он уперся рукой в пол и тут же очень близко перед собой увидел потное бабье лицо особиста и почувствовал жаркое гнилое охотничье его дыхание.

– Вы не в форме, вам надо немедленно вернуться в кабинет. Товарищи курсанты, кру-гом.

Особист боком отжимал его от Стакуна.

Поднимаясь, Глинский увидел лицо Вайнштейна, потом жирный его затылок и понял, что Вайнштейн быстро уходит, почти бежит по коридору прочь.

– Мчатся тучи, выются тучи, невидимую луна... – бормотал Александр Линдеберг.

Тучи действительно мчались в вечерних сполохах трамвайных дуг и фонарей, хотя, может, мчались и не тучи, а сани, впряженные в тройку темных толстозадых коней, украшенных искусственными цветами. И тройка эта, с бубенцами и возницей в длиннополой военной шинели, неслась по аллеям пустой в этот час зимней Выставки достижений. Высокие сугробы то синели, то золотились под электричеством. Обледенелые малахитовые фонтаны, каменные и резные дворцы, скульптуры, павильоны и павильончики, вольеры с дико-

винными зверьми – все это уходило в темноту и было дивно, странно и прелестно. Играла музыка, впереди неслась еще одна тройка, там морской курсант с палашом на коленях и девушкой в лисе.

– Ах-ах-ах! – заливалась девушка.

– Мчатся тучи, выются тучи, невидимую луна...

– Не то читаешь, друг, – крикнул Василий, шофер грузовичка-цистерны, сбившей Линдеберга в сегодняшний предутренний час.

С ним да с милой докторшей Соней Мармеладовой и мчались они сейчас на конях.

– Это тройка, образ России-матушки, – Василий глотнул водки из бутылки и отдал бутылку Линдебергу, – и косясь, постариваются и дают нам дорогу другие народы и государства... Понял мысль?

Нос у Линдеберга был забит тампоном, а потому велик и будто приклеен к голове. Он захлебнулся водкой.

– Иные...

– Что?

– Иные народы и государства...

– Может быть, – обиделся вдруг Василий, – хрен с ним. Смысл один, – и дал вознице пятьдесят рублей.

У входа в павильон дымила газOLIном посольская машина, и Линдеберг расстроился.

– Вот и нашли нас ваши, – сказала докторша, улыбулась и ловко выпрыгнула из санок.

Линдеберг тоже вылез, после саней земля мягко двинулась из-под ног. Но пошел он не к павильону и машине, а в сторону за сугроб, к украшенным праздничными флажками клеткам. Там постоял, глядя в желтые глаза двух тесно обнявшихся обезьян. Бороды у обезьян были в инее.

– Шимпанзе сухумские, морозоустойчивые, автор – профессор Цервеладзе, – служащий посольства, высокий, в огромных, очень новых валенках, надел очки и читал таблички, – ореол распространения будет включать Западную Сибирь. Однако, – он как будто только сейчас рассмотрел лицо Линдеберга.

Оркестр играл вальс, на деревьях устравивались вороны, засыпая все легким снежком. Линдеберг, не принимая тон

посольского, вскинул подбородок, достал из кармана початую бутылку водки, сделал большой глоток, нарочно очень русским жестом вытер горлышко и протянул секретарю.

– Раздражаетесь, – сказал посольский, – это ваше право. Но то, что вы пьянствуете на выставке, мне позвонили из милиции, – он улыбнулся и тоже выпил водки из горлышка, – такая страна.

Они прошли немного к павильону. Секретарь бил палкой по веткам, сбивая снег.

На огромном фанерном щите первобытные люди охотились на провалившегося в ловушку мамонта. И первобытные люди, и даже мамонт, скорее всего, посредством большого гвоздя были награждены огромными половыми признаками.

– Если это тоже проект Цервеладзе и ореолом распространения станет Швеция, – сказал посольский, кивнув на щит, загнулся и захохотал: – Ну-ну-ну... – это уже относилось ко вконец обозлившемуся Линдебергу, к его вздернутому подбородку. От машины спешил шофер с ботинками в руках. Пошел снег, крупный, медленный и пухлый.

В жарком ресторане-павильоне за огромными синими окнами этот же снег кружил голову. Казалось, что снег ложится на скатерть, на плечи Сони и посольского, на стриженные макушки вовсе незнакомых людей.

Василий шел от столика к уборной.

Линдеберг еще глотнул водки, сунул в рот целое вареное яйцо и неловкой, будто в танце, походкой, отведя руку, двинулся за ним.

Но в уборной Василия не было. Мирно текла вода, зеркала в обрамлении золотых амуров, над которыми тоже потрудился гвоздь художника, отражали обе пустые кабинки. Линдеберг намочил платок, прижал ко лбу и ощутил, как ледяная вода потекла по небритой щеке.

– Ты чего, Саш? Плачешь? – Василий стоял позади.

Лицо Линдеберга было залито водой, он крутанул голову, его качнуло. Встретили с этой долгожданной страной, водка ли, удар ли по голове, вечер и эта дивная женщина там за столиком или же вся мучительная жизнь из поисков и тупиков, только Линдеберг вдруг всплеснул руками и,

давясь, заплакал, упершись вовнутрь нечистой раковины. Он ничего не мог объяснить и поэтому выдавил самое бессмысленное:

– Скажи что-нибудь по-русски, Вася...

– Матюгнуться, что ли?.. – Василий заморгал добрыми глазами, закинув короткие ручки за голову и вдруг, ловко перебрав адски начищенными сапогами, пошел впрыскаю.

– Увези меня, – сказал Линдеберг, открыв на всю мощь кран... – Будем ехать, ехать и ехать... – он уронил очки и пополз за ними по полу, и Вася пополз тоже.

– Мне, вообще, на Плющихе подвал откачивать... – сказал Василий.

Раковина стремительно наполнилась, вода вдруг обрушилась на пол и на шею Линдеберга.

В уборную всунулась голова секретаря.

– Колоссально, – сказала голова и скрылась.

Василий встал, взял Линдеберга за руку, открыл дверь деревянного побеленного шкафа и, как в детской сказке, шагнул туда.

Они оказались на кухне напротив огромной топящейся плиты с гигантскими кастрюлями в пару и посреди удивленных поваров.

– Не буду, ай, не буду... – пронзительно закричал голос и тут же перешел в крик петуха. Открылась дверь, обнаружив не то курятник, не то кабинет. Из-за больших клеток с курами там торчал письменный стол с телефоном и под зеленым сукном. Тут же возник пузатый грузин, держащий за ухо тощего усатого, прыщавого, тоже грузинского, паренька лет семнадцати. Второе ухо паренька было неправдоподобно красное.

– Писки прицарапывает, – сказал грузин, не удивившись Линдебергу, и поднял огромный палец: – Ну где ни увидит, там прицарапает, и притом неправдоподобного размера. Исправление намечаешь? Ну иды! – Грузин царским жестом отпустил подростка, откуда-то из-за клеток достал флейту и заиграл. Под эту флейту, под кричащего петуха у огромной плиты они выпили почему-то по рогу вина, закусили печенкой прямо с невероятной величины сковороды, и через узкую, обдавшую вонюю дверь Линдеберг шагнул во двор. Знакомый грузовик-цистерна дал задом. Цепная

шавка бросилась Линдебергу в ноги. Линдеберг, заскользив на подножке, прыгнул в машину и опять увидел Союю.

– Вы забыли меня и свой зонтик, – раздраженно сказала Соня.

Рванулись навстречу золотые ажурные арки в лампочках, пустая карусель с одинокой женской фигурой на верблюде, курсант с палашом в снегу.

– Ах-ах-ах!

Флажки, малахитовый застывший фонтан, огромная фигура Сталина со спокойной поднятой рукой, на которой искрился голубой снег, вздыбленный в небо домгора, ворота, огонь, счастье, свобода.

– Свобода, – сказал Линдеберг и поцеловал Сонину руку, – свобода, Вася.

– И под звездами балканскими, – затащил вдруг Вася.

– Ты в Болгарии был?

– Был.

– И в Берлине был?

– И в Берлине.

– Как же ты успел, Вась?

– Да в госпиталях не лежал...

Василий прибавил скорость. Город рванулся навстречу в переплетениях огней. Машину бросало, нестерпимо брякало где-то под цистерной ведро.

– Осторожно, осторожно...

– Смелого пуля боится, смелого любит народ... – не то орал, не то пел Василий.

Опять пошел густой снег, закрыл стекло, будто шторой. Маленький дворничек с визгом пробивал в этой шторке щель. Неожиданно трянуло. Соня пронзительно завизжала, схватила Линдеберга, зачем-то закрыла ему сумочкой лицо и глаза. Сквозь дужку сумочки Линдеберг увидел, что стекла больше нет, а с ним и снега, уже после почувствовал удар, машину повернуло, он увидел несущиеся прямо в глаза гирлянды лампочек, борт грузового трамвая, ощутил другой удар и тяжелые всхлипывания воды в цистерне за спиной. И внезапно стало так тихо, как не бывает на земле.

– Тю, – сказал Вася, – ах, незадача, Александр. Все едино, доконал меня сегодня Бог. Сажусь... Эту водку не закушаешь... – и выскочив, маленький, кривоногий, побежал вдоль машины.

– Вылезайте, ну вылезайте же, – Соня рвала Линдеберга за рукав.

– А он? – голова и нос болели, на плечи навалилась тяжесть. Линдеберг плохо соображал.

К машине бежали люди, подбежав, отчего-то смеялись.

– Пойдем, идиот, – вдруг зло выдохнула Соня и, выскочив из кабины, стала тянуть Линдеберга за брючину и рукав, – вылезай, ну вылезай же, осел.

Они вылезли и почему-то побежали в подворотню.

– Я вернусь, – сказал Линдеберг и сплюнул сквозь зубы, как в детстве. – Нехорошо.

– Что нехорошо?! – лицо у Сони было жесткое, какое-то оскаленное, потное. – Он на “говновозе” Гоголя наизусть читает... Шестьсот рублей в зоосаду скинул, мою зарплату... В госпиталях он не лежал, сука! А зачем ему лежать?

Соня повернулась и почти побежала в глубь двора, где бесконечными поленицами лежали дрова.

– Если он полицейский, – крикнул ей вслед Линдеберг, – то большой неудачник.

– И, все продолжая трезветь, Линдеберг потащился следом. Прошли еще двор, еще дрова.

– Почему столько дров, Соня?

– Потому что мы дровами топимся... Покуда город-солнце строим.

Завернули за угол. Свет, витрины, дома до небес. Вошли в подъезд. Высокая мраморная лестница, широченная красная дорожка, огромное чучело медведя, люди с узелками да с чемоданчиками.

– Где мы?

– Идем, идем...

Выше, выше, коридорчик. Обернулась Соня.

– Не обращай внимания теперь. Ты в калошах, ну и хорошо, – взяла за руку, потянула, распахнула дверь.

Все мог предполагать Линдеберг, но застыл на пороге, и не рванула бы она его вперед, не сдвинулся бы. Они были в бане. С мокрыми склизкими полками, кипятком, шумом, паром, тазами. И в пару, и в хлюпанье воды двигались, перекаликались, смеялись и ссорились голые мужские фигуры. Они не обращали на него внимания, и он прошел через все это в шубе и в калошах, выставив вперед подбородок. Опять

коридорчик в тусклом свете грязной электрической лампочки, еще одно медвежье чучело, совсем вытершееся, с торчащими из брюха ломаными рейками. По всему коридорчику заляпанная мыльная дорожка, мальчик в шубке и на прикрученных к валенкам коньках прошел навстречу и исчез в банном пару. Наверное, здесь были когда-то отдельные ваннные кабинеты, нынче же здесь жили. Соня открыла замок, и они зашли в маленькую комнату, неожиданно чистую и уютную, разгороженную шкафом с большущим абажуром и крошечным низким оконцем.

– Умойся и обсохни. Деньги на такси есть?

Тут только Линдеберг увидел, что брюки его залиты водкой, калоши в мыльной пене.

За стенкой громко кричали два голоса, мужской и женский.

– Поторопись давай, – сказала Соня, – я сутки отбарабанила, потом с тобой заставили...

– Почему заставили?

– Нет, держите меня. – Соня включила радиоточку. – Я как вправлю нос или грыжу заштопаю, сразу с пациентом в “Метрополь” до утра...

– Почему так зло, Соня?! Я старше тебя и много видел... Трудно, но смени горечь... И главное, поверь, все равно, как бы ни было, – он даже кулаком потряс, помогая словам, но его качнуло, и ощущая, что эффект сказанного погублен, почти крикнул: – Все равно, если не у вас, то нигде.

– Значит нигде, – просто сказала Соня и пожалала ватными острыми плечиками.

Огромный с деревянной ручкой кран плюнул вдруг паром и протяжно засвистел. Они одновременно прихватились за него.

– Здесь ба-аня, – сказала Соня, – здесь ад подключен, – и засмеялась.

– Почему тебя с такой фамилией называли Соня? – спросил Линдеберг.

– Родители – провинциальные врачи, и вкус провинциальный.

Они послушали, как кричит теперь мужской голос, что он не позволит низкой твари...

– В бане живешь и не моешься...

Что-то там упало. То ли мужчина бил женщину, то ли тащил ее за волосы.

– Значит, нигде, – повторила Соня и опять надавила на шипящий кран, вернее, на руку Линдеберга. – Мучаем друг друга и всех мучаем... Зачем? За что? И всё хвастаем, хвастаем... болтаем, болтаем... – она взяла себя за виски, – теперь вот ты приехал в мягком вагоне меня поучить...

– Я самолетом, – совсем глупо сказал Линдеберг.

– Скидывай штаны, донжуан несчастный. Я у печки просушу. Пальто вон наден, бабушкино...

– Почему донжуан, это при чем?

– А кто ж еще в пять утра по городу шляется и под машины залетает по два раза в сутки... О, как мне тяжело пожатие каменного говновоза, – и вдруг захохотала так, что Линдеберг тоже не выдержал и стал смеяться, придерживая рукой нос.

– Это было дело, просьба... В общем важный не для меня пустяк, – Линдеберг понимал, что важно ей сейчас объяснить, но она замахала руками.

– Не хочу, не хочу, не хочу... Не хочу ничего знать, не хочу ничего слышать... Ври, что хочешь, правду не говори, – она еще раз замахала руками над головой, раз и навсегда отменяя эту правду. И ушла, кинув ему действительно бабушкино пальто. Он услышал, как, перекрывая скандал за стеной, она увеличила громкость радиоточки. Чиркнула спичка, полумрак комнаты высветился горячей газетой, и сразу же, напомнив детство, загудела печь. Когда он вышел из-за шкафа, Соня сидела на тахте со сморщенным, как от зубной боли, лицом.

В бабушкином пальто, с голыми ногами Линдеберг почему-то не чувствовал себя неловко. При всей неказистой своей внешности, он знал свое тело, крепкое и тренированное. Но Соня вовсе не глядела на него, а глядела на стенку напротив. За стенкой скандал кончился. Мужской голос что-то просил, потом сдвинулась мебель, и сразу же раздался женский стон, стон этот становился все ярче, явственнее, мужской же голос говорил что-то неразборчивое, и только после из этого неразборчивого Линдеберг выделил слова.

– Нор-р-рмально, – говорил мужской голос. – А так! Норр-рмально, а так?

Женские стоны били в голову, ложились на плечи. Соня взялась руками за лицо, за

уши и пошла по комнате взад и вперед. Потом вдруг опустилась на колени и стала целовать Линдебергу руку, этого он никак не ожидал, в мечте представить не мог. Он тоже опустился на колени рядом с тахтой и тоже стал целовать ей руки. Так они стояли на коленях рядом с тахтой на полу, на облупившейся краске, целуя друг друга руками. Вдруг поняв, он замотал головой.

– У меня ничего не выйдет... Ты мне слишком нравишься... И тогда у меня ничего не выходит, – сказал он в отчаянии.

– Все выйдет, все, все... А не выйдет, и бог с ним! Бог с ним!

Так страшно, Сашенька, – она стала гладить его и вдруг тихо запела так, что он дернулся, будто кто-то схватил его за кадык. Она пела ему то, что пела ему его русская няня. И что он забыл навеки и сейчас вспомнил.

– Саня, Санечка, дружок, не ложись на бочок, придет серенький волчок... – она улыбнулась и допела, – схватит Саню за бочок.

– Мне это пела в Гельсингфорсе моя русская няня, – Линдеберг встал, легко поднял ее на руки.

– Подожди, – сказала она, – мы же и вправду не дети. Ну отвернись хотя бы.

Он повернул голову, увидел печь, и под стоны незнакомой женщины и сиплое "Норр-рмально, а так?" он навалился на нее, увидел белое запрокинутое лицо, тень высоко поднятых ее ног и услышал ее стон и свой и успел подумать, что так ему никогда не было и что таким он не был никогда.

– Не бойся, – вдруг крикнула она, – у меня не может быть детей, не бойся.

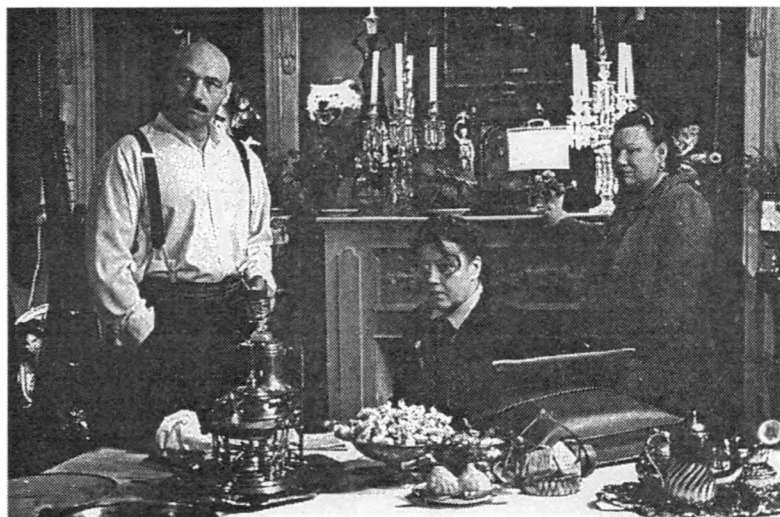
И зажал ей ладонью рот, испугавшись, что те, за стенкой, услышат.

Солдаты тщательно вытирали сапоги о мокрые тряпки, вернее, о куски старого нарезанного одеяла. Полина дождалась

кивка отца, распорядилась заносить. Два солдата занесли огромную жестяную "восьмерку" в лампочках и потащили через гостиную и мамину спальню на балкон. Долго еще тянулись шнуры.

– Кто бы Лешке пятерки принес, – сказала Надька и пошла задерживать шторы длинным копьём с кисточкой, которое отец привез из Китая.

Полина, дуя на обожженный палец, тоже ушла за балконную дверь под снег на морозец. Там они крепили цифру "8", наш дом украшался к празднику.



Генерал – Юрий Цурило, Варвара – Ольга Самошина, Надежда – Тамара Серкова

За длинным столом в гостиной, как-то неловко поджав большие ноги, сидела моя классная воспитательница Варвара Семеновна Бацук, крупное, полное лицо Варвары Семеновны, как всегда, румяное, глаза не мигают, и толстая коса вокруг головы. На серебряном подносе лежали мои два дневника, истинный и ложный, медаль "За победу над Абрамом" и вовсе мне не принадлежащий плакатик "Давлю сук". Отец, вытянув длинные ноги в лампадах, сидел в качалке и внимательно на свет изучал подпись на записке. Еще на столе стоял торт, немецкие конфеты, да на спиртовке кипел кофе.

– Чаю, – сказал отец и отложил записку.

Надьку смело.

– На стекле подписывал? Что ж, купе-

ческие сынки так подделывали векселя, – лицо отца сегодня все время заливало потом, и он вытирал его накрахмаленной салфеткой.

– По-моему, у тебя температура, – сказала мама отцу сухо.

– Купцов нет, векселей тоже, зато есть ремесленные училища... – отец зажег записку от трубки.

Мама рванула на шее крупные бусы, и они, как конфеты, покатались по ковру.

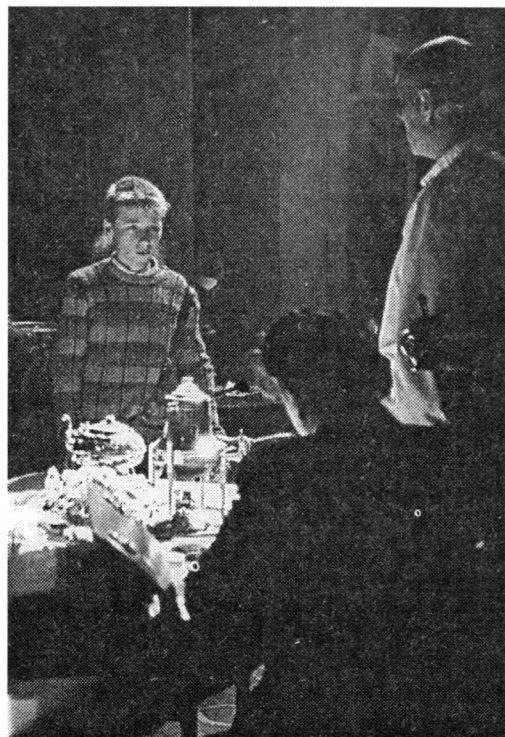
– Что за фантазии, – сказала бабушка и стала мелко качать головой.

Надька притащила отцу чай на подносе.

– Стало быть, мне следует подписать истинный дневник, – отец хлебнул, поискал ручку.

Мама пошла в кабинет.

– Может, мне его высечь, – отец тоскливо поглядел мне в лицо, – уши красные, глаза лжеца, лицо дауна. Таким только Абрамов бить...

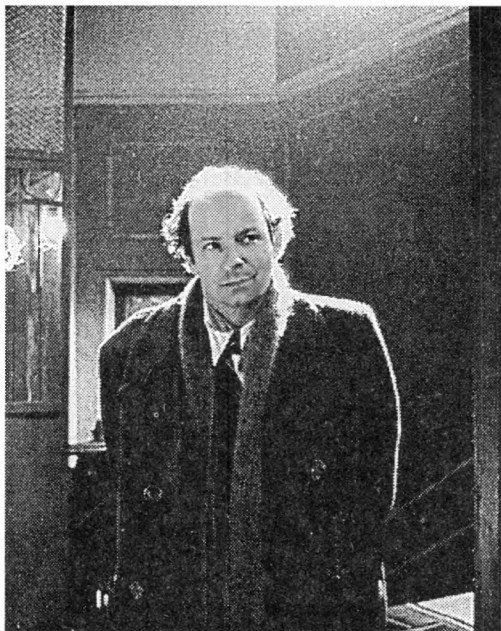


Было видно, как мама в кабинете ищет ручку в кителе отца, как нашла что-то не то и таким надоевшим мне жестом взялась рукой за висок.

Отец был то ли болен, то ли совсем

пьян, хотя это видели только близкие. Варвара смотрела на него так же затравленно, как смотрели на него почти все женщины.

– Хотите моего чаю? – медленно спросил ее отец, и Надька тут же скрестила руки на груди.



Линдеберг – Юрий Ярвет

Брякнул звонок, Надька не двинулась, и я пошел открывать.

На лестнице, почти вплотную к двери, стоял какой-то прибалт, он был с длинным зонтом, из носа прибалта торчала вата. На площадке ниже стояла молодая женщина в блестящих резиновых сапогах, она стояла спиной ко мне и смотрела в окно.

– Могу ли я видеть военного врача Юрия Георгиевича Глинского?

Прибалт, мы их звали “лямпочка”, говорил без акцента, пронзительно и немного каркал. Он хотел о чем-то попросить меня, но не попросил. Отец в тапочках появился сзади неслышно. Когда он увидел прибалта, он почему-то хмыкнул. “Лямпочка” вздернул подбородок, я опять увидел вату в носу, и сказал негромко и четко:

– Юрий Георгиевич, я узнал бы вас даже в толпе. Я привез вам привет, объятия и поцелуй и слезы радости, что вы оба живы,

от вашего брата Сергея Георгиевича Глинского. Он профессорствует в Стокгольме. Вот адрес, я понимаю, не сейчас, но... Жива ли ваша матушка?

Событие это явно отводило удар от моей головы хоть на время. Я обрадовался и глянул на отца.

Отец был абсолютно трезв, прям и бледен. Казалось, что он не в тапочках стоит, а в сапогах. Он медленно покачал головой.

– Ну уж нет, беру за фук. У меня нет никакого брата ни в Стокгольме, ни в Ряза-



Лена Дрейден – Филипп Ершов

ни, – отец нехорошо засмеялся и потрогал “лямпочку” за кончик носа, – тяжелая у тебя служба, верно?! Бьют иногда...

– От Гули, – тихо сказал “лямпочка” и вдруг стремительно выбросил прямо в лицо отцу руку с небольшой бледной фотографией – какие-то трое детей на берегу моря и большой стул.

На лестницу боком выходили солдаты с нашего балкона. Полина на ходу бинтовала палец. Увидев “лямпочку”, она как на стекло наткнулась и побледнела так, что стала видна пудра.

– А ну пошел вон, говно, – медленно сказал отец “лямпочке”. – Полина! – рявкнул он ей вдогонку. – Почему в подъезде шляется кто угодно?

Женщина в резиновых сапогах внизу стояла так же неподвижно, спиной, будто всё ее не касалось.

Отец взял меня за плечо, втолкнул в квартиру и захлопнул перед “лямпочкой” дверь.

В гостиной было все так же, ничего не

изменилось, но отец вдруг погладил меня по голове.

– Я пойду, – торопливо сказала Варвара Семеновна, она опять смотрела на отца не мигая. – Алеша мог бы быть хорошим мальчиком, эти медали так не вяжутся... Можно я возьму маме конфету к вечернему чаю?..

Отворилась дверь резного шкафа в маминой комнате, Бела с Леной, видно, запутались в хлопках входной двери и вылезли раньше времени.

– Здравствуйте, Варвара Семеновна, –



Бела Дрейден – Надя Ершова

сказали они хором, что же им было делать.

Варвара на секунду онемела, а потом чинно кивнула:

– Здравствуйте, Дрейдены.

– А известно ли вам, уважаемая Варвара Семеновна, – вдруг ни с того ни с сего объявила бабушка, – что моя мама была знакома с Анной Павловной Керн? И потому, Юра, зачем мне твое обручальное кольцо?! Что это за Танины допросы с пристращением?

Последние слова я слышал уже из коридора. Было самое время, я рванул к себе, боясь, что меня остановят, запер дверь и сразу же оказался на полу, вернее, на растеленных газетах.

Крепкие руки держали меня за ноги и за волосы, и два черноглазых лица низко склонились надо мной.

– Фашист, – почти беззвучно шипели Бела с Леной. – Гитлер и Геббельс, Гитлер и Геббельс... Думаешь, мы не видели, что ты с пипкой делаешь?! Мы всем скажем, – они рвали на мне брюки и тянули их вниз.

Я задыхался, хотел крикнуть, но боялся. В руке у Белы появилась бутылка с канцелярским клеем. Пуговица лопнула, и штаны слетели вместе с трусами. Зрачки у Белы с Леной расширились, рты открылись еще больше, я увидел их красные жаркие языки и тут же почувствовал, как холодный клей потек по низу живота.

– Суки, – сказал я, – арестантки, в шкаф валите на торпедном катере, – я дернулся, изогнулся, но меня уже не держали. Пока я натягивал мокрые клейкие трусы и штаны, они стояли и смотрели в потолок. Я отпер дверь, беззвучно рыдая и скуля прокрался в ванную и, подняв кулаки над головой, погрозил в зеркало не то свѐдому опухшему лицу, не то еще кому-то.

В своем кабинете Глинский снял со стены огромный цейсовский бинокль с моторчиком, включил в сеть и отодвинул гардину. Зазвонил телефон, Глинский снял трубку и, ласково улыбаясь и кивая, принялся слушать чью-то веселую дребедень.

Бинокль жужжал моторчиком на окне, и окуляры двигались, как живые.

– У него, – сказал Глинский, – в моче обнаружен коньяк, пять звездочек, все его болезни... – и засмеялся.

Неожиданно окно ярко вспыхнуло, свет ударил по глазам. Это включили за окном гирлянды к празднику, и тут же лопнула лампочка, как выстрел.

Снег все валил и завалил Плотников переулочком. Где-то репетировал духовой оркестр, повторяя одну и ту же фразу. Здесь было так пусто, что Линдебергу показалось, что они в церкви.

– Слезою жаркою, как пламя, нечеловеческой слезой... – пробормотал Линдеберг.

– Что? – Соня шла не оборачиваясь.

– Выросший мальчик в генеральских лампасах, – сказал Линдеберг, – выросший пьяный мальчик...

В ответ Соня подняла руку. Тут же остановилась крошечная желтая машина "ДКВ". Из машины вышел очень высокий человек с рябоватым лицом, в пальто с остро торчащими плечами.

– Это мой муж, – сказала Соня и протянула Линдебергу коробочку таблеток, – принимай, чтоб нос не загноился.

В машине был еще кто-то, пожилая женщина выглядывала из крошечного приоткрытого окошечка. У нее было странное усатое лицо.

Сонин муж протянул руку и представился. Но Линдеберг не услышал, тогда Соня вроде перевела.

– Карамазов, – сказала она, – его зовут Дмитрий Карамазов... А это, – она кивнула на Линдеберга и вдруг, глядя ему в глаза, длинно и изощренно выматерилась.

– Вам туда, – сказал ее огромный муж, улыбнулся, обнаружив зубы из металла, и показал рукой направление, – и никуда не сворачивай, понял?.. Мы у нас здесь шпионов не любим, – он вдруг взял левой рукой Линдеберга за воротник, подтянув пальто вверх, правой рукой залез под пальто, под пиджак и вытянул паспорт.

– Завтра получишь перед самолетом, – он пошел к машине.

– Постойте, – Линдеберг сам поразился тому, что говорит, однако сказал, – меня не пустят в гостиницу без паспорта.

Сонин муж, еще раз простецки улынувшись, издал громкий и пронзительный звук, который может издать только живот и прямая кишка. Но он издал его щеками. Линдеберг успел заметить сильно парящий от снега капот, когда машина мощно и резко взяла с места. Снег продолжал валить в свете фонарей.

Все случилось так внезапно, глупо и одновременно организовано, что смысл произошедшего медленно собирался в голове. Линдеберг зачем-то высыпал на ладонь и пересчитал таблетки, аккуратно сложил рецепт, потом все выбросил.

– Ай-я-яй, – услышал он чужой голос, – ай-я-я-яй, – и только потом понял, что это говорит он сам – Линдеберг.

Повернулся и быстро пошел обратно по переулочку, где уже почти не осталось их с Соней следов, только ямки.

Железная решетка в садик, куда выходили подъезды, была заперта. В садике гулял мальчик с рыжей собачкой. Линдеберг потряс ворота и крикнул мальчику:

– Открой! Мне очень нужен твой отец, это важно, скорее, для него.

Мальчик посмотрел на Линдеберга и, посвистев собачке, быстро ушел в подъезд. А из подъезда появилась консьержка, уже виденная им на лестнице, и заперла

подъезд на ключ. Она жевала и от подъезда не отошла, даже когда за спиной Линдеберга тормознула желтая малолитражка. Из нее выскочил Сонин муж, Карамазов или как его, навалившись, прижал Линдеберга грудью и лицом к железной решетке.

– Не шуметь, – тихо говорил он, – не шуметь, ты, фраерюга.

Из его прикрытой металлическими зубами пасти несло нестерпимым жаром и вонью. Шарф сбился, открыв серую жилистую шею.

Завизжав от унижения и боли, Линдеберг вдруг впился зубами в шею, в небритый кадык. Лицо и шея отпрянули. Ощущая сладкое молодое бешенство и счастье удара бывшего боксера полупрофессионала, поймавшего победу, Линдеберг ударил коротким апперкотом, потом длинным уже прямым и из стойки провел серию ударов, четких и быстрых. На секунду он увидел неподвижный Сонин профиль и усатый женский фас за стеклами машины, и затем открывающиеся двери пустого черного "опеля", и человека с валенком в руках, который бежит к нему, успел паразитить силе удара валенка, увидеть кровавую вату, летящую из собственного носа, и услышать собственный предсмертный сип.

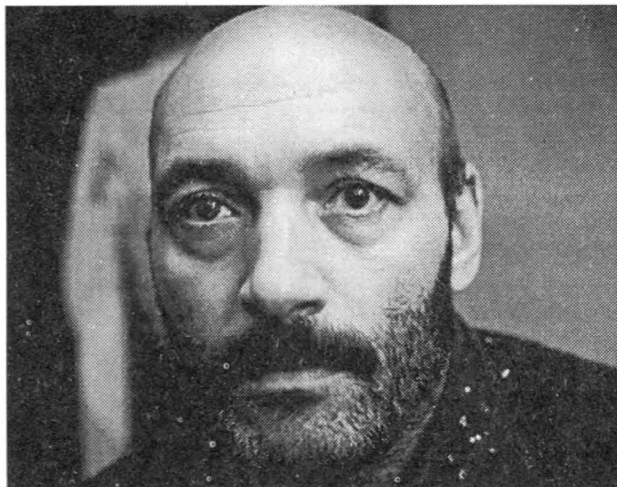
Тело его поволокли в "опель", пальто задралось, обнажив впалый живот и детский пуп. Карамазов, Сонин муж или как его, плюнул в лицо тому, с валенком, хотел ударить, но, видно, даже на это не было времени. Обе машины рванули с места.

Когда Глинский вышел во двор, вернее, в сквер, никого за решеткой не было. Не было и черного "опеля". Грязно-темный квадрат на месте, где он стоял, закрывало снегом. На глазах квадрат сровнялся с улицей, будто его и не было.

В машине Глинский обернулся, сзади никто не ехал, вернее, грузовик-цистерна с обмерзшей кишкой, но он был не в счет.

Был поздний час, но в подвыходной этот вечер на белоснежных, в сугробах, московских улицах, было много людей, слышались скрип бесчисленных шагов, смех и

разговоры. Светились окна и огни рекламы кино, мягко и успокоительно горели фонари. Молочный их свет был точно чем-то свеж, и приятно было, что возле светящихся шаров пляшут снежинки. Вот женщина вышла из парадного и выбросила в снег кошку, пивной ларек был открыт. Глинский приказал Коле остановить машину, вышел из "ЗИМа" и подошел к очереди. Он подумал, что охотно бы поменялся местом с каждым из них, даже вот с этим на деревяшке. Иди со своей деревяшкой в теплый "ЗИМ" с мягко тикающими большими часами и с ковром на полу и езжай,



Глинский – Юрий Цурило

оставь меня здесь, управлюсь я с твоей жизнью и с женой твоей управлюсь. Но как бы в ответ его мыслям, именно одноногий и крикнул:

– Пропустим генерала, братцы?!

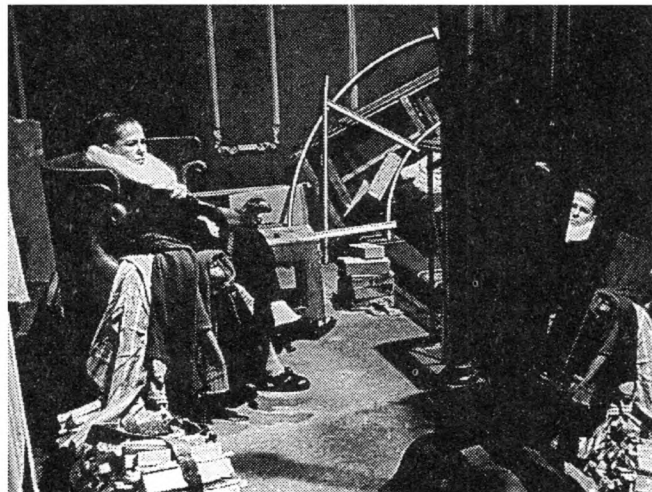
Очередь одобрительно загудела, Глинский взял под козырек, принял от пожилой татарки кружку из окошка, сдул пену и стал пить, разглядывая близкие эти лица, грузина с большой собакой на другой стороне улицы, немисливо огромный дом и незашторенные окошки маленького дома, там астматическая старуха дышала в форточку. Уже идя к машине, Глинский вдруг вернулся и сунул ей в форточку сто рублей. А когда сядился в открытую Колей дверь, услышал Колин смехок и увидел, как старуха рассматривает сторублевку под лампочкой.

"ЗИМ" опять покатыл, и опять замелькали люди и смех, пока при выезде на Ар-

бат машину не остановили коротким свистком. Все было перекрыто, и два человека с газетами и оба в одинаковых желтых ботинках встали рядом с милиционером перед длинным капотом "ЗИМа" с рубиновым наконечником. Арбат в огнях был невыносимо ярко.

– Ух, – сказал Коля, – нет города прекрасней! И место самое распрекрасное... А значит, мы в самом лучшем месте на земле... Верно, товарищ генерал?!

Последнее слово было не слышно. На Арбат из-за поворота одна за другой вылетели две лакированные огромные чер-



Шишмарева – Генриетта Яновская

ные машины. И пошли с мощным торжественным гулом. Черные широкие их радиаторы рассекали воздух, снег и свет, и казалось, еще миг и они взлетят. Потом вывернули еще две, прошли стремительной дугой и растаяли в снежной пыли, оставив за собой здания, ленивые и темные, запорошенные по карнизам, почти слившиеся с темным глухим небом.

– Может, случилось что, – сказал Коля и сам себе ответил: – Навряд ли, – и включил приемник.

Очень старый человек резко проснулся, быстро провел рукой по штанам и, успокоившись, по-видимому, что не обмочился, выцветшими своими полузрячими глазами не мигая уставился на Глинского.

– Почаевичайте, Юрий Георгиевич, – сказала горничная в русском кокошнике и передала Глинскому все тот же его напи-

ток, вроде бы чай с жирным обмылком лимона в подстаканнике. Пить не хотелось, запой кончался, и, расстроившись этим, он принялся жевать лимон, не чувствуя вкуса. Кто-то тронул его за локоть. Это была хозяйка, было ей под шестьдесят, но в лице и в фигуре было что-то странное и юное. Звезда Героя на лацкане полосатого костюма странно сопрягалась с очень крупным жемчугом на шее, камеей и многими кольцами на тонкой птичьей руке.

– Весна, – сказала Шишмарева и украшенным кольцами пальцем постучала по стеклу. – Проснулась утром, что, думаю, такое, а это ревут львы... И пес испугался, откуда это у него?

С надмирной высоты гигантского дома, где-то внизу, за мелкими домишками и двориками, темной громадой в редких огнях не то угадывался, не то чудился зоосад.

– Как я выгляжу? – она засмеялась.

– Чудно.

– А ты не чудно...

– Запой кончается, – пожаловался Глинский.

– Хорошо же...

– То-то, что плохо.

В огромной новой квартире огромного, только что достроенного небоскреба на Садовом кольце у академика Шишмаревой происходил прием – один из тех, которыми так славилась Москва.

Шишмарева и Глинский отвернулись от окна и стали смотреть на гостиную под хрустальной, дворцовой, а потому несоразмерно большой люстрой. И на мундирную военную и статскую знать. Многочисленные ордена создавали в гостиной звон или это чудилось.

Небольшой человек с желтоватым набрякшим лицом неумело играл и пел "Варяжского гостя".

– У них крестьянские лица, – Шишмарева навела на гостей палец и будто выстрелила из него, – короткие белые ноги и крепкие немые тела... Я не люблю их. И ты не люби их тоже. Слышишь, никогда, – она добавила, кивнув на того за роялем, – а эту почечную крысу больше всех, – и тут же поцеловала в лоб коротко, не по-здеш-

нему стриженного человека в мундире дипломата и потому похожего на швейцара. – Не знаю, как вы, а я живу при коммунизме.

– Вот как похудел ваш директор, – дипломат ткнул трубкой в поющего. – Русский человек если работает, так работает, ну а уж веселится, так от души. А ведь я, – он еще раз ткнул трубкой, на этот раз в Шишмареву, – для вас, красавица, Наталья Сергеевна, энциклопедию проработал. И вот доложу, – он достал из бумажника листок, – сверил по годам рождения, если бы ваши научные результаты можно было тогда на практике применить, среди нас и Толстой бы, может, здесь прогуливался, я Льва имею в виду, всего их три было, ну Пушкин бы четыре года не дотянул, хотя там, конечно, ранение... У меня список на шестьдесят фамилий. И между прочим, вся “Могучая кучка” могла бы нам здесь исполнить...

– Представляю себе, – буркнул Глинский.

– Он хирург, – сказала Шишмарева, – они, хирурги – всегда циники.

Дипломат значительно улыбнулся и отошел.

– Он подо мной живет и в ванной засолит огурцы, – сказала Глинскому Шишмарева, – а пробку зацементировал... А комедант Вышинскому написал... Верно, прелесть?! – Шишмарева захохотала и зажала рот рукой, чтоб не мешать пению. Но тут же захлопала в ладоши и крикнула: – Внимание, выступает русский медведь, – взяла с подоконника и протянула Глинскому подкову.

– Страшись, о рать иноплеменных, – прокричал от рояля желтый директор и заиграл марш.

– Поди ты к черту, – расстроился Глинский, но делать было нечего, и он вытянул перед собой подкову и стал было гнуть, но ничего не выходило, сила куда-то ушла. Он почувствовал даже пот на глазах, согнулся в поясе, хотя это не полагалось, но ничего не вышло и так. Он развел руками и сунул подкову в карман. Гости все равно захлопали. Директор у рояля раскинул руки и принялся читать “Васильки” Апухтина.

Глинский опять попробовал хлебнуть “чаю”, и опять не пошло.

По коридору с визгом покатила на подростковом велосипеде молодая артистка

в клетчатой юбке и со знакомым лицом, два генерала, расставив руки, заторопились рядом, оберегая ее. Отворилась дверь, собственно, она здесь не запиралась, пришла Анжелика с мужем. Анжелика стала снимать с мужа тяжелое коричневое пальто. Глинский увидел, как из столовой вышла его жена Таня, и они расцеловались с Анжеликой.

– Кто как, а здесь уже живут при коммунизме, – хором, повернувшись к Шишмаревой, крикнули Анжелика с мужем, одинаково взмахнули руками и засмеялись.

Артистка в клетчатой юбке освободилась от генералов, с визгом влетела в дверь и упала, обнаружив теплые зеленые штаны. И тут же в коридор выскочил мальчик лет десяти.

– Выбила Мишкины спицы, дрянь, – сказала Шишмарева, – кормятся у меня нынче пол-МХАТа и поются. Любят, понимаешь?! Пойдем-ка в кабинет, а то на тебя их теперь целых две, – она кивнула на Анжелику с Таней и уже на ходу добавила, помахав кому-то рукой: – Вот уж эти Вайнштейны, и что за бестактность такая у евреев: отсутствие самолюбия.

– У него пропал сын, и он лучший анестезиолог города...

– Ну хоть бы.

Они прошли через столовую вдоль длинных, роскошно накрытых столов. С одного из столов Глинский прихватил бутылку коньяка. Хрусталь играл светом, огромные стеклянные жар-птицы на стенах будто гонялись друг за другом, забавно отражая свет хрусталя. За одним углом стола спал старик с недоеденным мандарином в руке. В углу сидели Вайнштейны, муж и жена, и гладили большого облезлого старого дога. Глаза у жены Вайнштейна были собачьи, как у дога. Увидев Глинского, она зачем-то стала быстро отряхивать юбку.

Дог брякнул ошейником и пошел за Глинским.

Кабинет был маленький, неожиданно скромный и проходной, двери низкие с накидными крючками. Пепельницы и блюдца хорошего фарфора, полные окурков, придавали странную одинокую неопрятность.

На столе лежали рамки с вынутыми фотографиями, разные фотографии разных лет. Да три большие фотографии на стене



На съемках. Татьяна – Нина Русланова, Шишмарева – Генриетта Яновская

над столом: смеющийся Сталин в белом кителе держит за шиворот щенка, министр госбезопасности Берия в маршальском мундире и в пенсне и физиолог Ключ в рамке посромней, под треснувшим стеклом. Фотографии Берии и Ключа были подписаны, что-то шутиливое.

Глинский пересыпал из большого блюда в чашку окурки, сдул пепел, налил в блюдце коньяку и поставил на пол. Дог стал лакать.

– Плохо тебе, Юра, – сказала Шишмарева, – что ж тебе так плохо?

– Все не плохо, колечко обручальное потерял, так тоже не беда, – он погладил ее по голове.

– Да нет, плохо, плохо, – она взяла его руку, положила себе на лицо и посмотрела на него сквозь его же пальцы. Шея у нее пошла пятнами, резко выделив родимое пятно. Она взяла указательный его палец, прикусила зубами, вдруг втянула глубже и тут же испуганно встала, – тыфу, тыфу, что значит март... Даже львы ревут, прошло, проехало, все, все, – закинула руки за голову и стала бить тустеп под что-то

непонятное по радио. И сразу помолодела и стала прелестной.

Глинский налил догу еще коньяку.

– Перестань спаивать собаку, жлоб.

Где-то в гостиной заплодировали.

– О васильки, васильки, как они смеют смеяться, – Шишмарева передразнила того желтого у рояля, – а как же василькам не смеяться. Ему в среду диагностировали рак почки. Ну ты на секунду представляешь себе, как будет выглядеть некролог?.. На пятьдесят девятом году жизни скончался директор института долголетия... выдающийся талант в области продления жизни... Цирк шапито, а на арене кто, на арене я. Давай танцевать. Пообещала самому, – она поправила пальцем портрет Сталина, – минимум сто тридцать лет. Институт нам строят, Парфенон рядом – собачья конура, квартиры эти, господи. И плевать, плевать, плевать...

Глинский опять налил догу, и странная музыка из маршей и молоточков, которая бывала, только когда кончался запой, забила в мозг. Ясность и сила заполняли душу.

– И плевать, плевать, плевать, и плевать... – Шишмарева отобрала у него бутылку и глотнула сама.

– Сколько, говоришь, лет обещала? Сто тридцать? – Глинский засмеялся. – К чему такие ограничения? А ты жми на сто пятьдесят... Как узнает? Нам не дано ни предугадать, ни ощутить, уверяю тебя, Наташа. Уж я-то насмотрелся, поболее вас всех... Даже когда муки и сами зовут, не верят... Предчувствия смерти нет, это писатели выдумали... Ну уж если Нерон умирает, так такие казни, подруга, такие казни, какие уж докторишки, кому они-то нужны... – Глинский прикрыл глаза: – Духи у тебя чудные или мыло.

Смысл сказанного не сразу доходил до Шишмаревой.

– Не смей, – Шишмарева стукнула кулачком и попала по блюдцу, разбив его. Кровь отлила от лица, она совсем состарилась: – Не смей так ни о нем, ни о них... Ты циник, растлитель, ты даже собаку спаиваешь.

– Может, ей так лучше. Много ты знаешь...

– Молчать, молчать... – Шишмарева схватила блюдце и запустила в голову, но не попала.

Глинский засмеялся, обнял ее, они стали танцевать вдвоем, при этом он погладил ее по голове.

– Не ерощь, Юрка, они седые, – Шишмарева прижалась к его погону.

– Что ты его боишься? Он и ты. Он кот Васька, доведенный до абсурда.

– Пес, знаешь, почему львиного рыка боится?! Его прапрапрадедушку съел в Африке лев на глазах его прапрапрабабушки две тысячи лет назад... – Глинский взял со стола фотографию – он среди каких-то генералов, – отстриг себе голову, плюнул на оборотку и прилепил догу на лоб: – Не бойся, авось!

Шишмарева захохотала сквозь слезы:

– Нет, ты видел, как Вайнштейн оделся?!

– Слушай, Наташка, ты детскую сказку помнишь, как человеку оживили его тень? Вроде двойника сделали... Я все вспоминаю, для чего... Не помнишь? – Глинский почувствовал, как напрягся голос, но она не поняла.

– Очень удобно Тане врать...

Глинский еще раз погладил ее по голове и вышел.

В детской крутилась по полу железная дорога, паровоз тащил вагончики через мосты и виадуки, и трое стариков внимательно следили за его движением.

В гостиной играл квартет, музыка была хороша, свет притушен, и на столе высоким голубым огнем полыхал пунш.

В пустой еще столовой в одном углу по-прежнему сидели Вайнштейны, в другом вязала Таня, низко опустив голову к петлям. Ни сесть к ним она не могла, ни уйти. Под штатским пиджаком на Вайнштейне была русская расшитая рубаха.

Многочисленные зеркала тихо приняли его в прихожей, будто заполнили ее генералами. На кухне человек в высоких сапогах нюхал пальцы. В кладовке, где висели шинели и пальто, мальчик прятал велосипед.

– Здравьете, дядя Юра, – сказал он и выскользнул.

У ног сел дог, попробовал почесаться, но промахнулся, он был пьян.

Глинский вдруг лягнул челюстями, будто воздух укусил, взял с крючка не шинель, а коричневое на меху пальто Анжеликиного мужа и шляпу. И вышел.

На лестничной площадке у батареи сидел старик.

– Нас в десять спать кладут, а сейчас полночь, что же это?! Я Буденному напишу, – крикнул он почему-то Глинскому.

Лифт стоял на площадке. В лифте Глинский согнулся, его вырвало.

В огромном, похожем на храм вестибюле, на столике дежурного Глинский написал короткую записку. За витражами из стекла и бронзы парили заголином “ЗИМы”. Среди них черный лакированный “опель-капитан”.

Глинский не удивился, увидев его. Часы в вестибюле ударили полночь. Москва за стеклами была в гирляндах.

– Час Вия, – сказал Глинский Коле, – поднимите мне веки и прочее. А я как раз веки и поднял. У тебя стоп-сигналы не горят, пойдй посмотри.

– Не пойду, вы выпимши, – объявил Коля, рассматривая коричневое пальто, – а шинель куда подевали?

Глинский большим и очень сильным пальцем зацепил у Коли воротник рубахи под галстуком и, повернув палец, сдавил шею.

– Пойдешь, – сказал Глинский, – и посмотришь. А потом в квартиру пойдешь, записку Тане отдашь, а не к тому “опелю”... А то ты все, Коля, к “опелю” ходишь, друг у тебя там?

За воротник он вытянул Колю из машины и сел за руль.

– Все, бегом марш! – и подождав, пока Коля побежал к подъезду, газанул, заскрипел по боку сугроб, он выдавил скорость: выскочил на Садовое кольцо. В эту секунду землю качнуло. Впереди грохнуло, как разрывом. Грузовик перед ним выстрелил выхлопной трубой, забив стекло капоту, дворник прочертил в копоти амбразуру, часы перестали бить, мощно играл гимн. “Опель” за ним не ехал.

Клиника спала. Глинский прошел быстро и бесшумно. В кабинете, казавшемся из-за ночной пустоты огромным, похрипывала трансляция. В зеленом светящемся окошечке индикаторы были похожи на крылья бабочки.

– Смерть, смерть, – зашелестел из трансляции голос, и бабочка радостно захлопала крылышками, – быстренько подь-

ем. Сколоть лед с бугра, генерал в клинке, – и голос радостно добавил, хихикнув, – в шляпе.

Глинский достал из стола армейский пистолет, но положил обратно. Нашел перчатки, аккуратно сложил и бросил зачем-то в печь. Взял из стола деньги и большую групповую фотографию. Отрезал себе на фотографии голову, как только что у Шишмаревой, плюнул, плюнул, прилепил к кафелю печки. И теми же ножницами в двух местах обрезал провод трансляции. Глаз потухал медленно, сначала бабочка опустила крылья, только после зеленый глаз окончательно погас, и зажегся, и замигал воспаленный красный.

Глинский вышел, запер дверь, рубильником включил грузовой лифт, огромный, деревянный, обшарпанный, пахнущий карболкой, и нажал кнопку подвала.

В длинном бетонном коридоре он так же аккуратно обрезал еще два провода, тоже вынул куски, сунул их в карман и пошел, стараясь попадать в стук собственного сердца.

Пока старшина Смертяшкин, так прозвали старшину в морге, натягивал сапоги, он прошел в камеру к столам, зажег верхний свет и рабочие лампы.

Табличка "Стакун Э. Г." с номером отделения была на левой, а не на правой, как положено, ноге. Глинский, снимая грязную в кровяных пятнах простыню, ждал, что увидит, и не ошибся, и покивал. Перед ним лежал короткий и когда-то очень сильный человек, одноногий инвалид со старой зажившей культей. Это был не Стакун. Это не мог быть Стакун, и это не был Стакун. На маленьком сморщенном члене инвалида было вытатуировано "Боец".

Глинский вытер руки газетой, бросил газету в унитаз, нажал спуск – унитаз был засорен. Красная бурая вода с кусками отсеченных внутренностей вспухла, завертелась, плеснула на сапоги. Смертяшкин засопел у плеча.

– У тебя трупный материал перепутан, – грозно сказал Глинский Смертяшкину, – утром явишься за взысканием. Какая же здесь атрофия? Смехота! Дежурного живо ко мне!

– Да нет связи... Крысы опять погрызли.

– Бегом марш! – и не ожидая, когда хлопанье валенок затихнет, двинулся сам.

Узким коридором мимо старых прозекторских столов, кучи угля. Старая низкая белая дверь, Глинский поднял медный крюк-закидку, сбалансировал вертикально и, как четверть века назад третьекурсником лекпомом, выскользнул тенью из анатомички. Как и тогда, прижал дверь и стукнул локтем. Крюк лягнул и стал на место. Ничего не изменилось, только из клинки бежал не молодецкий лекпом, а генерал, и не на ночную свиданку в парк за оградой. Хоздвор, заледененные термосы, кухни, склад гробов, полевая кухня без колес. Да узкая тропинка, проложенная мотающими лекции курсантами, да красная кирпичная стена, да палка-рогулька оттянуть проволоку. Тяжелое пальто не давало прыгнуть, но он зацепился, оттянул рогулькой проволоку, уже лежа под ней на стене, оглянулся на темную клинику. Теряя пуговицы, спрыгнул вниз и побежал.

Тропинка изгибалась, соединилась с другой и вывела Глинского на широкую площадку перед ярко горящим КПП.

Он стоял за кустами у широкой ямы за горой бетонных труб. Там, впереди, на площадке под ярким светом, присыпанный мелким блестящим снегом, стоял его "ЗИМ", и от "ЗИМа" к КПП тянулись только одни следы, его. Тихо и покойно было под ставшим звездным небом и под мутной луной. За Варшавкой простучал поезд, и вовсе тишина.

Глинский собрал с трубы снег и стал жадно есть. Остатки снега положил на голову под ляпу. Все показалось ерундой, игрой воображения, ночным психозом. Так вызывающе покойно было вокруг. "Надо ждать час, – сказал он сам себе вслух, – и если все обойдется – идти спать. И забыть."

Кто-то курил в клинике, матовое окно сортира было открыто. Глинский тоже закурил и стал смотреть на человека. Человек не мог видеть его, но было приятно думать, что они смотрят друг на друга.

После бега было жарко, растаявший снег тек по лицу и по шее.

Глинский расстегнул шубу, в кармане пальто что-то попало под пальцы. Это что-то было кольцом. Его обручальным кольцом. Конечно же. Это было забавно. Найти кольцо в кармане Анжеликиного мужа.

– Анжелика у меня, муж у Анжелики. – Он опять сказал вслух.



На съемочной площадке

Глинский прицелился и щелчком послал кольцо вперед. В снег, в сторону “ЗИМа”. И замер. Кольцо вдруг ярко блеснуло, будто само произвело свет. И исчезло. Это был мгновенный свет, вспышка фар. На площадку въехала “Скорая помощь”. Спокойно прохрустела по снегу, повернулась и остановилась за кустами. Там хлопнула дверца. Скорая уехала, а из-за кустов возникли четыре лыжника в байковых шароварах и толстых свитерах с оленями. Днем таких здесь пруд пруди, но далеко за полночь? Лыжники развернулись спинами друг к другу и, раз-два, пошли взмахивать, как на учениях, вдоль ограды в разные стороны. И сразу же опять свет фар.

На площадку въехала полуторка с вышкой, стакан. Таких сейчас по Москве ездит множество; и эта ничем не отличалась от многих. На платформе мужик в тулупе, корзины с лампочками – менять в гирляндах. Из кабины выскочил шофер, отцепил из-под кузова ведро и побежал в КПП. По-видимому, просить воду, и тут же следом, вот уж воистину то пусто, то густо, въехал здоровый трофейный грузовик,

груженный бревнами под драным брезентом. Шофер из грузовика вылез, подошел к мужику в тулупе на платформе вышки, лампочки что ли просить продать, и вдруг бегом обратно.

А из КПП дежурный и двое солдат. Кубарем отворять ворота. В дверях КПП вошла с машины-вышки, только без ведра и руки в галифе. Грузовик с бревнами сразу же трогает и сразу же вправо под железный навес, где разгружают кислород. Опять шофер выскочил, и еще один. Зачем клинике бревна?! А из кабины еще один, и еще, пятый, восьмой, двенадцатый. Такое только в цирке возможно. Все фигурки в сапогах, в каких-то одинаковых пальто, и все возникает беззвучно.

Вдруг грузовик погасил габариты, полуторка тоже. И тогда на площадку, без огней, въехал черный “опель-капитан”.

Сигарета больно обожгла Глинскому губы. Он оттолкнулся от труб и пошел, стараясь не скрипеть, понимая, что невидим в темноте.

В заснеженной беседке рядом с голой под снегом женщиной с веслом он снял брюки, вывернул их лампасами внутрь, опять надел, переложил из кителя в пальто подкову и побежал, не оглядываясь больше на клинику.

В клинике одно за одним ярко зажигались окна.

Без четверти два ночи из автомата в Столешниковом Глинский набрал домашний номер, не ожидая ответа, – что ему могли там ответить? – положил трубку, но не на рычаг, а приладил ее к дверной ручке и быстро пошел по переулку вниз к гостинице и стоянке такси.

В небольшой очереди он был вторым, он рассчитал правильно. Глинский уже сиделся в такси “ЗИС”, когда в Столешников с обеих сторон влетели две машины, тормознули, выбросив из себя по несколько человек, один был с пуделем на поводке.

Когда “ЗИС” тронулся, навстречу пролетела еще одна, заелозив на скользких под снегом трамвайных путях, желтая маленькая “ДКВ”, он вдруг узнал ее, в ней мелькнуло бледное неразборчивое лицо.

У залитого светом, обклеенного бесчисленными афишами одного и того же фильма Киевского вокзала Глинский вылез.

В шумном и людном ночном привокзале, на углу у пригородных путей из бочки на колесах продавали рыбу. Глинский купил огромного судака и пошел пустыми в этот вовсе ночной час переулками. Замотанный в мокрую газету судак был жив. За киоском "Цветы" Глинский постоял, пережидая, пока по переулку прошла снегоуборочная с солдатом за рулем, железный скребок и щетки смели его следы на свежем снегу. В немывом стекле киоска он увидел свое мутное отражение, двумя пальцами подтолкнул шляпу вверх. Судак опять зашевелился, шлепнул хвостом. Глинский, прихватившись за мокрую скользкую газету, ударил судака головой об угол ларька, прошел во двор, зашел в подъезд, поднялся по деревянной скрипучей лестнице и не сколько раз коротко позвонил в дверь.

"Жид" – было написано на стене масляной краской, ниже "сам жид", а еще ниже "Ура!".

Дверь бесшумно открылась. Варвара Семеновна Бацук, в халате, толстая, краснощекая, с большими серыми глазами на выкате, отступила назад и тут же схватилась за голову. Волосы ее на висках были накручены на кусочки газеты.

– Ой! – сказала она.

Глинский протянул ей шляпу.

Судак опять забил хвостом.

– Глупости, – сипло сказала Варвара Семеновна и двумя руками надела шляпу. Ему показалось, что она в перчатках.

– Как матушка? – спросил Глинский, отошел и опять ударил судака головой о подоконник.

– У нее стал шевелиться большой палец...

Появился огромный белый кот, потерялся о ее полные, в тапках, ноги.

– Да, мне Вайнштейн сказал...

– Это я вам сегодня сказала.

– Варвара Семеновна, – Глинский подумал, что они смотря друг на друга и не мигают, – давайте мигать. А то дело у меня в общем-то неловкое, и если еще не мигать... Вы не могли бы переспать сегодня у матушки, а мне постелить на диване. Назавтра купить мне штатский, так сказать, пиджачок и брючата, а то я в затруднительном положении.

– Вы пройдите на кухню, – она побледнела и как-то скорчилась.

В квартире застучало.

– Это насчет воды, – крикнула Варвара Семеновна, – что завтра воды не будет. Проходите же, – как-то почти шепотом крикнула она и еще больше скорчилась, – видите, я не в порядке, ну же...

Глинский пошел на кухню, оставляя сырые следы на светлом половике.

Кухня была расположена в стеклянном фонаре. Здесь топилась плита, хлопотал бак, было очень чисто, посуда накрыта марлей. Во множестве висели листы, на которых каллиграфическим почерком было выведено "НЕ ЗАБЫТЬ!", в аккуратных ящиках бодро рос зеленый лук.

Кот, не обращая внимания на рыбину, стал тут же есть зеленый лук из блюдечка. Застекленная, без занавесок, кухня-фонарь будто летела над крышами и снежной улицей. Выстиранные бинты медленно шевелились над плитой.

Вошла Варвара Семеновна в косынке и туфлях на высоком каблуке.

– Я занавески крашу, – она кивнула на бак, показала темные кисти рук, зажгла настольную лампу и погасила верхний свет.

– Для вас это не особенно опасно, – сказал Глинский, он растопырил пальцы, пошевелил, и тени забегали по кухне, – можно сослаться на приступ у матушки, незнание, на невозможность отказать врачу... – Глинский оторвал стрелку зеленого лука, откусил и стал жевать.

Варвара Семеновна забрала стрелку, облила из чайника и вернула.

– Кот нюхает, – сказала она и очень прямо села на табуретку, – он, видите ли, вегетарианец.

– Неудачный эксперимент, – сказал Глинский, – то есть по сути удачный, но результаты отдаленны, а выводы сделаны нынче, и серьезное политическое обвинение... Через месяц все это рассеется, как туман, – Глинский врал и чувствовал при этом, что просит, и от ненависти к себе закрыл глаза, – кстати, есть у вас водка или даже спирт? Я был бы очень обязан.

В стену опять застучали.

– Подумайте, – сказала Варвара Семеновна, не обращая внимания на стук, она прошла к плите, сняла с бака крышку, выпустив клуб пара, и стала деревянной палкой что-то там ворочать. – Живет учительница, нехороша собой, да что там нехороша, толстуха и старая дева с гайморитом

и постоянными головными болями... Мамашу ее лечит блестящий генерал, отец ученика. Толстуха, естественно, влюблена в красавца генерала. Что ей светит? Да ничего. И вдруг он приходит к ней посреди ночи, пусть что-то сочиняет, но главное, говорит – спаси меня. И что же она чувствует, которой-то и терять нечего, – Варвара Семеновна закрыла бак и покачала головой, – только страх, и чтоб ничего не было... Будто приснились нам тургеневские барышни...

Глинский улыбнулся, ощущая резиновые свои губы, и встал.

– Что они с нами сделали, проклятые?!

– Варвара Семеновна опять открыла бак.

– Мигните, – Глинский вытянул руки и хлопнул в ладоши, – нельзя не мигать. У меня, когда запой, всегда склонность к сочинительству. Я с ночной рыбалки, судака подо льдом поймал, вам с котом принес и домой пошел.

В стену все стучали, все без перерыва.

– Замолчи, – вдруг с перекошенным лицом закричала Варвара Семеновна.

Глинскому показалось, что ему, но не ему, туда, в глубину квартиры.

– И молчи всю ночь. У меня мигрень. Если ты стукнешь еще раз, я до мая уеду в Кратово, – и послушала внезапную тишину. – Отпустить я вас тоже не могу, потому что я разрушу себя. Я все выполню, – она опять, не мигая, уставилась Глинскому в лицо через пар из бака, – но и вы, Юрий Георгиевич, выполните мои условия. Вы не будете нынче пить. Сейчас я истоплю колонку, вы примете горячую ванну, а третье, – она прошлась по кухне, – а третье, это позже...

Глинский кивнул, достал из кармана толстую записную книжку, открыл дверцу плиты, положил книжку в огонь и стал глядеть, как выгибается и скручивается кожаный переплет.

– У вас брюки на левой стороне, – сказала Варвара Семеновна.

В это время книжка вспыхнула, осветив их унылые лица, невольно смотревшие на огонь, и каждое склоненное к своему плечу.

– Строем бараны идут, бьют в барабаны, – сказал Глинский, – шкуру для барабанов дают сами бараны, – и вдруг, бешено обернувшись, показал кукиш городу за окном.



Полина – Наталья Львова

Ночью в моей комнате под музыку, поплыл фонарь, и голос Полины-комендантши произнес:

– Сын Алексей. Одиннадцать с половиной лет. Прописка с 01.06.45 года.

Сиплый мужской голос тут же поддержал:

– А ну-ка проснись, Алеша Попович...

Мы тут кое-что поглядим...

Луч фонаря уперся в выключатель, и шар-плафон зажегся, как это бывает только ночью, не желтым, а белым светом. В квартире, как в праздник, все двери открыты, все люстры зажжены. Над нами в 39-й квартире патефон играл “Брызги шампанского”. По коридору ходили военные. Военный с сиплым простуженным голосом протянул мне кусок колотого сахара:

– Хочешь мороженого?

– Это же сахар, – поддержал шутку я.

– А ты его возьми в рот, а попу выставь в форточку, будет холодно и сладко, – и он захохотал.

Другой военный, помоложе, внес в детскую два желтых стиранных, будто накрахмаленных, мешка.

– Тю, – сиплый военный, был он майор, обернулся.

И я тоже увидел, как из шкафа в маминной комнате вылезают Бела с Леной в ночных рубашках.

– Дрейдены, – прочла Полина, – Бела Соломоновна и Лена Соломоновна, племянницы по линии супруги, московская прописка аннулирована, здесь находятся с восьмого сентября.

– Барышням по конфетке, – приказал майор.

Я вышел босой, в трусах, и воткнулся в бабушку. Бабушка сидела на стуле с вещмешком-торбочкой за спиной и с преданностью смотрела на военных.

Надька пронесла бутылку из-под шампанского с кипятком, была она одетá, но растрепана и в сползших до щиколотки чулках.

– Да грелка это, грелка, – услышал я ее голос из кабинета, – ну нет у нас резиновой. Спасибо, спасибо...

Посредине бабушкиной комнаты лежала простыня, на ней бабушкины припасы. Военный двумя пальцами держал совсем стухшую колбасу.

– Сыночек, – попросила бабушка, – ты мне чаёк верни... Я без чайка...

– Все будет хорошо, мамочка... – сиплый майор дал бабушке конфету, – а вы вон ему торбочку дайте посмотреть... Вы ему торбочку, он вам чаёк...

– Спасибо, – сказала бабушка, – вы просто рыцарь... – Она победно посмотрела на нас.

– Если нашу одежду посмотрели... мы можем одеться?.. – спросили хором Бела с Леной.

У них уже был обыск, даже два, они все знали.

Сиплый майор мыл в ванной руки. Я дал ему полотенце.

– Устал я, – сказал он, принимая полотенце, послушал, как наверху на пианино играют "Темную ночь", и подмигнул мне, – завтра всем выходняк, а нам опять работа.

Меня мучило то, что я послал заявление в письмо, и оно могло уже прийти, и я не знал, что делать, и на всякий случай тоже подмигнул ему. Очевидно, он не понял и, чтобы проверить себя, мигнул еще раз. И я мигнул в ответ. И только тогда спросил:

– Вы мое заявление читали?

– Читал, – быстро сказал он, – это насчет чего?

– Насчет чекистской школы... – напомнил я, – о приеме. Я вчера посылал.

– Конечно, – сказал он, – это дело серьезное... Только ведь у чекиста должно быть железное сердце.

– И ясная голова, – сказал я.

– И чистые руки, – он показал мне чисто вымытые руки... – Хочешь мороженого? А, да... – и пошел в кабинет.

Я пошел за ним, будто наделенный каким-то новым правом.

В кабинете вся библиотека была вывалена на пол. Двое складывали рукописи и бумаги в накрахмаленные мешки.





Светлана Кармалита с картиной Митьков, написанной специально для фильма.

Майор заложил руки за спину и стал смотреть на картину, – кривой лес, поезд и ворона с человеческим лицом и в одном ботинке.

– Это что ж? – спросил он. – Икар еврейской национальности?

– Это больной нарисовал с опухолью мозга... Они бывают очень талантливы.

Мама сидела в кресле скорчившись, с горячей бутылкой из-под шампанского на животе.

Майор кивнул.

– Отказывается расписаться, – сухо пожаловался майору лейтенант со скрюченным набок личиком, – утверждает, что вовсе не муж...

– Я не утверждаю, – заговорила мама, – но, во-первых, у меня дрожат руки, во-вторых, он мне с шофером прислал пись-

мо... Видите, он ушел от меня... Как же я могу?!

– Вижу, – засипел майор, – хотя и затрудняюсь квалифицировать, – он пронзительно под пианино соседней засвистел "Темную ночь".

В ответ в кладовке завыл и стал скрестись Фунтик.

– Я думаю, надо расписаться, – сказал майор, посвистев. – Мальчик у вас хороший...

– Спасибо, – сказала мама и стала расписываться в книге на каждом листе. – Надя! – позвала она пронзительно. – Угости товарищей борщом. Ты почему не спишь? – закричала она на меня, глаза у нее были большие и абсолютно слепые.





Алексей – Михаил Дементьев

– У меня в комнате тоже ищут, – заорал я в ответ, – где же мне спать?

На кухне бледный Коля держал холодную ступку на разбитом носу.

– Вещей нашлось уйма, – встретил меня Коля, – и авторучка немецкая, и финочка, за которую на тебя генерал грешил, и еще уйма... Финочка, знаешь, где была, в кресле... – он испуганно посмотрел на грозную Надькину спину.

– Распространение панических слухов, – пронзительным голосом сказала бабушка в дверях, – в виде грядущего голода – 54/3 я беру, но агитации и пропаганды – 58/4, 3, 6 здесь даже не ночевала, – она помахала передо мной костлявым пальцем.

В столовую за ее спиной вышли Бела и Лена с книжками и одним на двоих чемоданом, обвязанным бельевой веревкой. К чемодану были прикручены коньки. Они сели очень прямо и стали читать. Были видны только аккуратные проборы на черных головах.

– Позвольте, мамочка... – в кухню вошел майор, кивнул на Белу с Леной и потянулся, будто после крепкого счастли-

вого сна. – Не любят нас с вами Соломоновны... Плесни борща, хозяйка...

Надька поставила перед майором борщ, выколотила на тарелочку мясо и посолила его.

– Учти, – сказала она Коле, – у тебя тоже так выглядит...

– Не так, – сказал майор. И вдруг стало тихо. В тишине он с шумом втянул в себя борщ.

И все, даже бабушка, из кухни ушли, хотя он никого ни о чем не попросил. Втягивал в себя борщ со всхлипом и всё.

– Вот что, – сказал он и положил передо мной пачку сигарет “Русская тройка” с золотым ободком, – кури.

И закурил сам. И я закурил, в кулаке, но не глядя, как раньше, на дверь.

– Папаша твой врагом заделался, – сказал майор. – Или его заделали, пока квалифицировать трудно, буржуазные националисты, а попросту евреи... Они ли за ним, он ли за ними... Страшно, Леха. Вот к вам вечером вчера приходил один...

– Это ж латыш... Лямпочка... – меня заливал пот, как отца последнее время,

голые ноги тряслись, я сцепил их под столом, но курил затягиваясь, и от этого все плыло.

Майор покачал головой.

– Американский полковник, – он посмотрел на потолок, – вышел из посольства и вернулся туда же, и спит там крепко, и ест там сладко, а мы вот с тобой ночь маемся.

Я тебе в обоих твоих дневниках, – он подмигнул, – на оборотке телефон записал. Звони. Скажешь “Орел” или “Матрос”. Выбирай.

– “Орел”, – сказал я, подумав, – а о чем звонить?

– Это уж ты думай, Леха. Себя выручай, мамашу, хорошая она женщина. Появится отец, тут же и звони, для его же пользы. – Он выпучил глаза и шумно встал. – Мозги у человека желтые, а у коровы белые, поэтому человек ест корову, а не наоборот, – и вышел.

У двери его ждала мама, на кухню выйти она не решилась. Двери на лестницу были открыты, военные выносили к лифту мешки. На площадке выше стоял солдат.

Полина в гостиной на свече в бронзовом подсвечнике плавил сургуч, а лейтенант со скрюченным лицом накладывал красные печати с веревочками на двери.

– Всё запечатывают, – сказала мама майору, – а где же нам?

– А сколько вас? Два-с, – сказал майор и выбросил перед маминым лицом два пальца. Он говорил, будто другой человек, будто не он сахар предлагал. – Пропуску только при коммунизме отменяют и то не для всех. Спецпереселенки в шкафу прячуте. Задумайтесь, – и козырнул одному мне.

Полина задула свечку, лейтенант со скрюченным лицом убрал печатку в футлярчик.

– Что ж остальные-то борща не попробовали? – сказала им всем мама.

– Нормально, – сказал майор, и вдруг все быстро ушли, простучали каблуками, и нет. Как не было.

В кладовке заскребся и завизжал Фунтик.

– Фунтика запечатали, – испугался я, – как попугая.

Надька вынула шпильку и пошла к кладовке.

– Совсем котелок не варит, – сказал Коля и встал между Надькой и запечатанной кладовкой.

– Ага, – Надька вдруг схватила Колю и



Надежда – Тамара Серкова, Коля – Виктор Михайлов

его пальцами стала сдирать печать.

Коля сжимал пальцы в кулак. Но Надька была сильнее, печать повисла на одном шнурке, и Фунтик выскочил.

– Будешь звонить? – сказала задыхающаяся Надька. – Все телефоны зазвонил, падло копченое.

– Надежда, – крикнул Коля и поднял руку, – думай, что болтаешь... А цыган твой в Барвихе в чьих сапогах ходил? В генераловых?

– А дрова? – взревела Надька. – А папаху ненюшную кому толкнул? – она уперла руки в бока.

Нас они не стеснялись, будто нас и не было, будто мы умерли.

– А отрез суконный? А сын Борька от кого? – визжал Коля. – В сорок втором забрюхатеть... Да он у тебя Фрицевич или Карлович, а может, Адольфович? Я, если надо, еще позвоню.

– Ну все, – Надька обернулась к нам с беспомощной улыбкой, – сажусь, Татьяна. Иду по генералову пути.

Коля метнулся, взвизгнул и закрылся в уборной. Надька рванула дверную ручку.

– Как вам не стыдно? – Бела стояла в дверях кухни со стаканом молока, может, и правду сказал майор, они нас ненавидели. – От вас даже бабушка ушла.

Бабушки, действительно, не было, ни пальто, ни торбочки, ни палки, ни калош.

Мама пожала плечами, ушла на кухню и тоже налила себе молока, уже с молоком вышла на лестницу, и я за ней.

– Баба Юля, – позвал я в пустоту пролета.

Музыка в 39-й больше не играла.

– Петруша, голубчик, здравствуй, – будто где-то рядом сказал попугай.

Глинский проснулся от выстрела, выстрелили ему в затылок, и сел, задыхаясь в липком поту. Это выстрелило полено, около плиты сидел огромный белый кот, перед ним лежала задавленная мышь.

– Пошел вон, – сказал коту Глинский и вытер простыней мокрое лицо. – Свиныя ты, а не вегетарианец.

Но кот не шевельнулся.

– Он глухой, – в кухню вошла Варвара Семеновна, была она гладко причесана, блузка под горло заколота большой брошью, – это бывает с альбиносами. Я хотела, чтобы в дровах не было елки, но, как всегда, вышло наоборот. – Она поставила на табурет рядом с диваном молоко: – Выпейте как снотворное.

Глинский засмеялся.

– Мне, как снотворное, нужна бутылка коньяка. Можно больше, но меньше никак.

– Мне нельзя, чтобы вы сегодня пили... – она повернулась спиной и говорила не оборачиваясь. – Тут у нас трамвай, третий номер, с рельсов сошел, и бабы рельс пилили. Сели на снег в ватных штанах и пилой по нему. И поют под эту виолончель – "Дроля, дроля, дролечка, сделай мне ребеночка... Ручки, ножки маленькие, волосики кудрявеньки". Мне бы хотелось попросить вас об этом.

Кот встал и медленно вышел из комнаты.

– Повторите, пожалуйста, – сказал Глинский и опять вытер лицо простыней.

– Да не мучьте же меня, – крикнула она, по-прежнему не оборачиваясь. – Мне же стыдно это повторять, я хочу от вас ребенка. От вас, потому что я хочу такого ребенка, то есть чтоб он был в такого отца, – она сбилась, – и сейчас, потому что друго-

го случая у меня не будет. Я тоже кое-чем рискую, согласитесь, так что услуга за услугу.

– Да что я, бык Васька?! – Глинский сел на диване и выпил до дна молоко.

– В некотором роде, конечно... Но есть и принципиальное различие...

– Хотелось бы знать какое, – Глинский подтянул брюки и потащил из кармана папиросу.

Она резко повернулась.

– Их два. Во-первых, я люблю вас, а во-вторых, вы, скорее всего, сгинете с этого света... И не курите, пожалуйста, будете курить потом... И закройте глаза, я стесняюсь.

Глинский закрыл глаза и стал слушать, как она раздевается.

– Подвиньтесь.

Он подвинулся, она сначала встала ногами на диван, потом легла рядом, натянув до горла одеяло с простыней и глядя в потолок. Ее большое жаркое тело прижало Глинского к спинке дивана. Он тоже глядел в потолок, не ощущая ничего, кроме комизма ситуации.

– У меня холодные ноги? – спросила она. – Подождите, пусть согреются...

– Что это, процедура что ли, – взвыл Глинский. – С таким лицом аборт делают, а не с любовником ложатся... Ты ж даже губу закусил... Вам наркоз общий или местный? Я старый, я промок, я в вывернутых штанах бегал, меня посадят не сегодня-завтра, ты сама говоришь...

– Что же мне делать? – спросила она.

– Черт те знает, – подумав, сказал Глинский. – Может, кого другого полюбить... Из учителей... – добавил он с надеждой, – астроном у вас очень милый...

Она затрясла головой.

– Он идиот...

– Я, знаешь, боюсь, что у меня так не получится, – сказал Глинский, – если бы ты преподавала хотя бы биологию, нам сейчас было бы легче...

– Но и Пушкин сказал – "и делишь вдруг со мной мой пламень поневоле..."

Глинский засмеялся.

– Закрой глаза, – угрюмо сказала она – я встану...

И не дожидаясь села. На больших плечах туго натянулась рубашка в каких-то рыбках.

– Погоди, – сказал он.

– Что же, – губы у нее тряслись, – мне перед вами обнаженной с бубном танцевать?! Отвернитесь же, боже, стыд какой... – она часто дышала. Глинский подумал, что сейчас с ней случится истерика, и схватил ее, уже встающую, за руку.

– Подумай, – сказал он, – на севере, знаешь, как говорят... Там любить – означает жалеть... Ты попробуй сейчас не о себе подумать, а обо мне... Ведь сколько незадач, а тут еще ты...

Она дернула руку, он потянул в ответ. Она упала к нему на грудь.

– Сними рубашку.

Она затрясла головой, и он сам стал снимать с нее рубашку...

– Ну быстрее же, ну быстрее, – говорила она при этом.

Тело уже обнажилось, голова не проходила, он не развязал завязку. Варвара Семеновна говорила из этого вывернутого кокона. И почувствовав желание, он, наконец, лег на нее.

– Раздвинь ноги...

– Так? – раздалось из кокона.

– Примерно, – сказал он, ощутив нежность.

– Больно, – сказала она, – но я буду терпеть...

В комнату тихо прошел кот, положил у печки вторую мышь и стал смотреть на тени, которые метались по кухне, стеклам и по всей Москве. Потом кот подпрыгнул, ловя тень на стене, будто хлопнул в ладоши.

Тягач немецкий трофейный вез длиннющие трубы, от мелкодрожащего его капота шел пар, звенели в кузове трубы, выл мотор, тягач тянул в гору, и впереди было только небо, будто они туда и ехали, небо и мутная луна.

Шофер открыл окно и харкнул куда-то в снег в сторону темнеющего леса, потянуло дымом и холодом.

– Дым отечества, – пробормотал Глинский.

Шофер опять харкнул, он не слышал.

Старое бобриковое пальто, кирзачи, потерявшая шляпа на бугристой, после стрижки, почему-то в проплешинах голове, в ногах поросенок в мешке. Всё это напоминало юность, должно было стать привычным, не маскарадом, но образовалось как маскарад. Покой, на который рассчитывал Глинский, не

приходил, все, что было четверть века тому назад, унеслось, как курьерский поезд, и со встречным не возвращалось.

Глинский тоже открыл окно и тоже харкнул на снег.

Трубы еще брякнули, подъем кончился, обнаружив источник “дыма отечества”. Это догорал барак, вернее, уже догорел, чадил углями и паром. Здесь было много барakov, черных, длинных, одноэтажных, по окна утопающих в снегу.

У пожарников лопнул шланг, и вода хлестала во все стороны, забавляя толпу, не давая прихватиться. Тащили мешки с картошкой, бегали дети. Забор был повален, и все это вместе: и пар, и расхристанные люди, и бегающие по снегу курицы – являло зрелище, скорее, веселое, и Глинскому захотелось туда – таскать мешки, смеяться, а потом завалиться спать где-нибудь на полу.

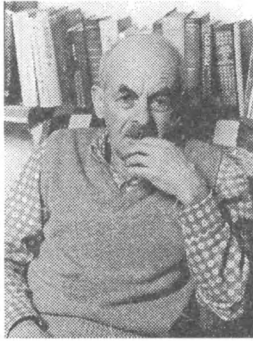
– Ну каждые квартальные горим, – сказал шофер, помахал, как на гулянке, кому-то рукой, но не остановился.

Перед машиной бежала коза с грязным в сосульках задом и с торчащей вбок примороженной бородой.



Продолжение сценария
Светланы Кармалиты
и Алексея Германа
"Хрусталеv, машину!"
читайте в следующем
номере.

Фото С.В.Аксенова



– Булат Шалвович, я вспоминаю ваш чудный рассказ, много лет тому назад опубликованный в "Литературной газете"; о том, как вы, недавний студент Московского университета, выпускник филфака, были приглашены читать лекцию о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Будучи молодым и самонадеянным, вы без тени сомнения приняли приглашение и отправились рассказывать о великом русском поэте труженникам не то села, не то завода. И провалились, потому что знаний оказалось всего на три минуты, а выступление было запланировано примерно на час.

– Да, было такое дело. Рассказ назывался "Частная жизнь Александра Пушкина, или, Именительный падеж в творчестве Лермонтова".

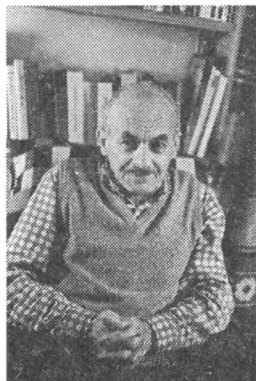
– А в фильме Романа Балаяна "Храни меня, мой талисман" вы играете самого себя, говорите о Пушкине и читаете свое стихотворение, которое называется так же, как стихотворение Пушкина – "Храни меня, мой талисман"...

– А я даже не помню.

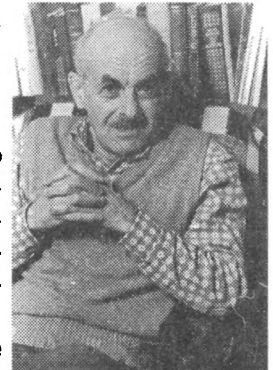
– И в этом фильме вы говорили о сценарии, посвященном Пушкину, который был отвергнут много лет назад тогдашним Госкино. Да и сейчас у литературоведов идет спор о том, каким должен быть Пушкин, как он – классик – должен себя вести в биографических произведениях. А в вашем сценарии он ведет себя как все нормальные люди.

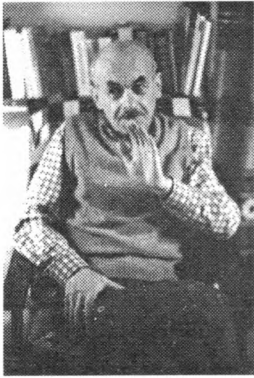
– Как раз на эту тему я особенно долго говорить не могу, я не специалист, не литературовед, не пушкинист.

Я – литературный обыватель, который в свое время открыл для себя Пушкина, уже взрослым, зрелым человеком вдруг по-настоящему начал судить о Пушкине, и понимать его, и любить. И увидел, какая это гора, какое это величие, какое это явление. Я жил в Одессе, читал о пребывании Пушкина в Одессе, и мне пришло в голову написать об этом периоде. И мы с женой как-то очень легко написали этот сценарий. Но когда дописали до конца, я увидел что там половина – обыкновенная хрестоматия. Начали переделывать. Хотелось показать Пушкина не бронзовым и гранитным, а обыкновенным человеком, страдающим, и колким, и насмешливым, и ироничным, и ранящим, и ранимым, насколько это было возможно.



Это было очень давно, лет тридцать тому назад. Мы написали, и Одесская киностудия заключила с нами договор и выплатила нам все деньги. Потом мы уехали в Москву, ожидая, когда, наконец, начнутся съемки. Но Одесская киностудия, как это и полагается, пустила этот сценарий по пушкинистам, и пушкинисты отнеслись к нему отрицательно. Главное возражение сводилось к тому, что Пушкин





недостаточно бронзовый. Что это такое?! Он в трусах, он такой-сякой... Кончилось тем, что студия отказалась снимать картину. Мы особенно не жалели, потому что к тому времени охладели к этому сценарию. Потом рукопись все лежала и лежала, и я к ней не прикасался. А не так давно перечитал и увидел, что что-то все-таки в этом есть. Я кое-что убрал, кое-что изменил, учел некоторые претензии пушкинистов. Мы не думали печатать этот сценарий. Но у вас специальный журнал, и если сценарий вам подошел, я очень рад.

– **Насколько этот сценарий фактологически точен?**

– Надеюсь, что в основе он точный. В диалогах, конечно, много вымысла. Известно, например, что Пушкин разговаривал с таким-то о том-то, а как они говорили – откуда мы знаем? Конечно, мы изобретали все это, стараясь придерживаться характеров. Или вот пьянки у Лекса – мы ничего об этом нигде не читали, – это придумано... А остальные детали все точные.

– **Вы бы хотели, чтобы этот сценарий был поставлен сегодня?**

– Не знаю. Я очень невысокого мнения о себе как о сценаристе. Если у кого-то появится желание ставить, да еще я буду в этого человека верить, что он не безвкусицу сделает, не конъюнктурщик и болтун, а серьезный человек, – да. Я готов что-то изменить в сценарии. А так, просто лишь бы поставили – нет.

– **А когда сценарий собирались ставить на Одесской студии, для кого предполагалась эта работа?**

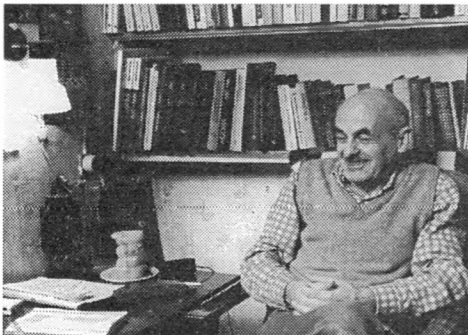
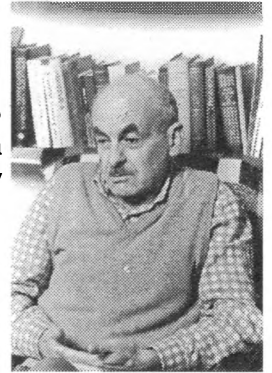
– Режиссер был молодой, очень самоуверенный. Он приехал к нам обсуждать, как это нужно ставить. Потом он сделал несколько фильмов. Я не помню их названий, но очень-очень среднего уровня. Хотя среди "массовых" режиссеров, работающих на публику, он котировался. Обычная публика его фильмы смотрела с интересом. Спустя много лет я увидел мультипликационный фильм Хрыжановского по рисункам Пушкина, – просто оживленные рисунки Пушкина, рисунки, но они двигаются. Это потрясающе. Я лишь раз убедился в том, что наш Пушкин не просто нами выдуман.

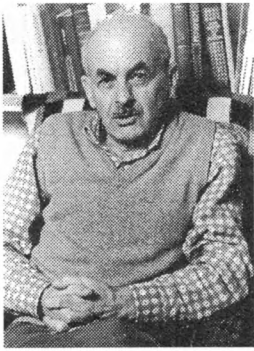
– **А почему вы так считаете, что у вас не получилось с кино?**

– Просто потому, что в один прекрасный день я понял, что я не драматург по природе своей. Бывает наоборот: один мой приятель, очень известный драматург говорит: "Придумываю я повесть, начинаю писать – получается пьеса". Просто природа диктует. Я бы мог написать средненький сценарий. Мог бы, но мне не хочется. Зачем, когда я профессионален в других жанрах?

– **Но вы же написали несколько сценариев...**

– У меня несколько сценариев, написанных совместно с моими друзьями-режиссерами. Так, с Петром Тодоровским я





числюсь соавтором сценария "Верность"... Потом с Владимиром Мотылем мы написали "Женя, Женечка и "Катюша" так же точно, – Мотыль строил сюжет, а мне давал отдельные сцены для диалогов.

– На Западе это нормально.

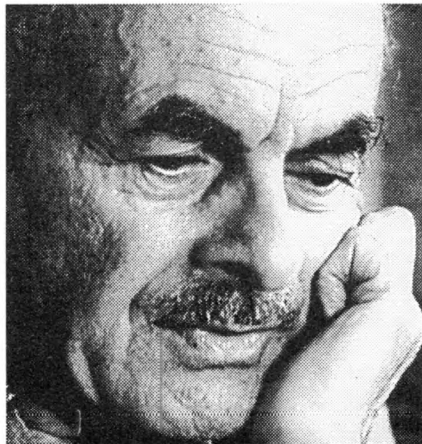
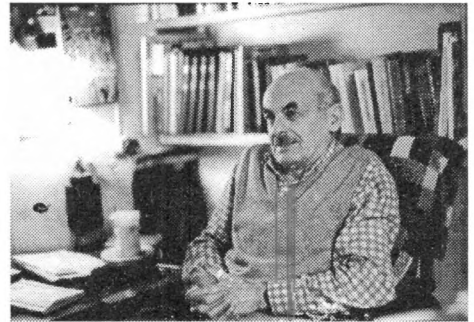
– Там другое дело. Но у нас существует представление, что сценарист должен владеть всеми правилами игры, связанными с драматургией... Я вот пьесы никогда не писал. Хотелось бы мне в театре работать, но в качестве кого, кроме рабочего по сцене? Даже не представляю... Я написал четыре исторических романа. И как только их издавали, ко мне сразу бросались киношники: "Здесь уже виден готовый фильм, нужно только сделать сценарий, сократить, – и все!" Я говорил: "Сокращайте, а я буду консультантом". Они делали, приносили мне, и что же получалось? У меня был такой большой роман "Путешествие дилетантов". Он состоял не только

из сюжета, не только из взаимоотношений действующих лиц, он состоял из массы отступлений, из моего отношения к жизни. Все это улетало, оставался сюжет и любовные перипетии – больше ничего. Я, конечно, отказывался от этого.

– Просто вам не везло на режиссера, я считаю. А если бы пришел человек, который прочувствовал все, что за этим стоит...

– А потом пришел бы другой и сделал бы хороший балет из этого, а кто-то третий симфонию... Конечно, если бы был замечательный режиссер и мой роман вдруг заиграл бы на экране!.. Конечно, мне было бы приятно. Все зависит от степени одаренности.

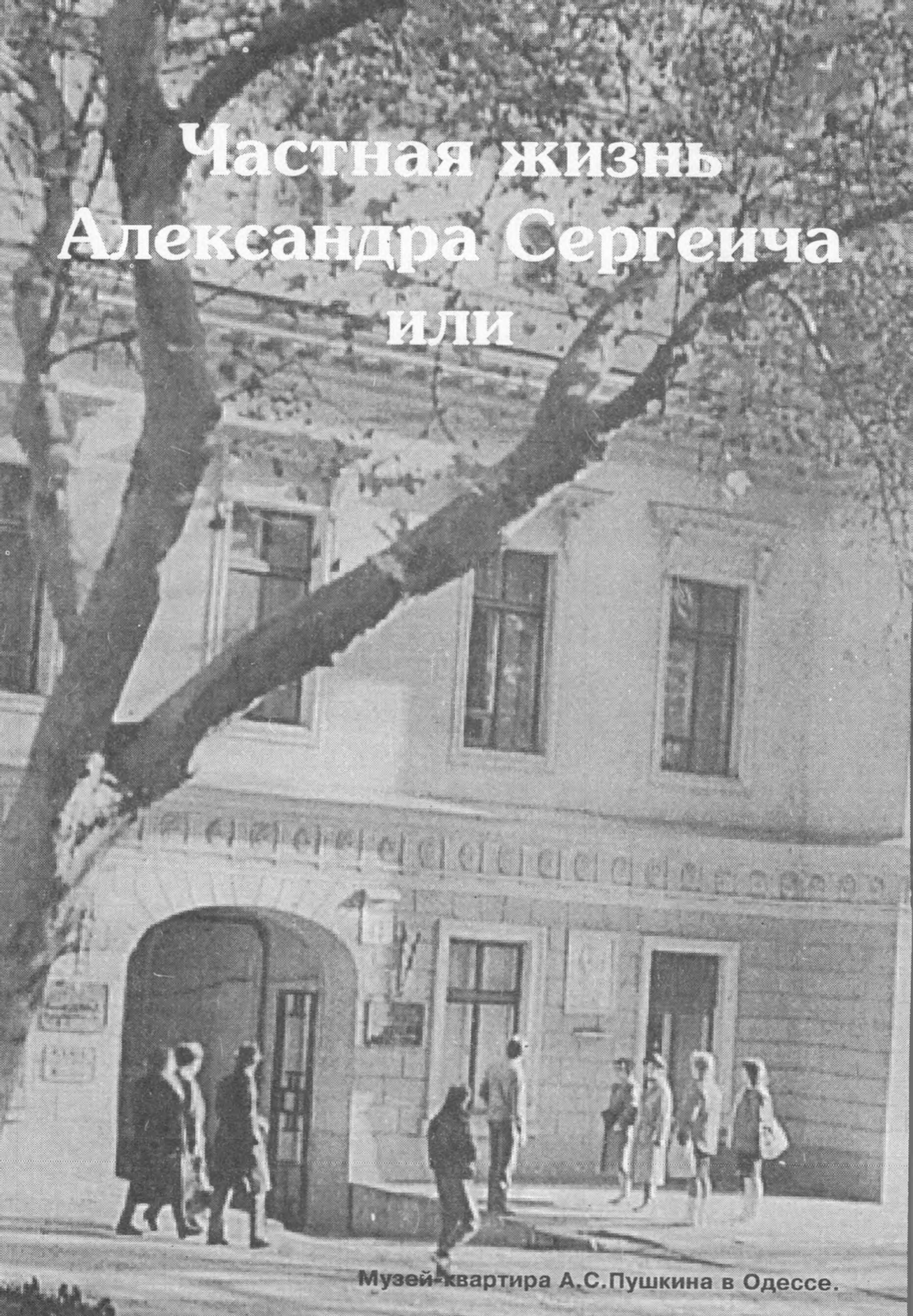
Наш сценарий – я к нему отношусь весьма строго. Понимаете, во всех областях литературы должно быть открытие. Это – не открытие. Это заурядный сценарий, грамотно написанный, вот и все. А должно быть нечто необычайное, новое. Но, надеюсь, чем-нибудь и он будет интересен вашему читателю.



С Булатом Окуджавой беседовала
Наталья Ильинская.
Фото Виктора Баженова.

Булат Окуджава

Частная жизнь Александра Сергеевича или



Музей-квартира А.С.Пушкина в Одессе.



*Тулит Огужава
Ольга Арцимович*

Пушкин в Одессе

Узкая прибрежная полоса была похожа на дорогу. У самой воды, прямо на фоне угасающего солнечного шара, прыгал на одной ноге маленький обнаженный атлет. Вода никак не выходила из уха. Он прыгал и бормотал что-то неразборчивое, а может быть, напевал, а может, всхлипывал, пританцовывая и бубня:

...Воспитанный под барабаном...
...Наш царь лихим был капитаном...

Он, ловко изогнувшись, пустил камень по воде, схватил палку и побежал в гору.

Над обрывом шла босая девица с связанной хвороста за спиной. Она услышала треск кустов дикой акации и увидела: сначала губастое лицо черта, потом он весь вылез из кустов, и остановился, и поманил ее...

– Иди сюда, – тихо сказал он. – Ну иди же... – и закричал:

– Ага! Улю-лю!

Она припустилась еще быстрее, но у самого поворота дороги все-таки нашла в себе силы оглянуться: этот кудрявый натягивал штаны, и кричал, и рожу корчил... Потом страшно захохотал.

Она скрылась за поворотом. А он пошел по дороге следом.

Шел и бубнил:

– Ну не дура ли?.. Такой вечер... Вот дура... Счастья своего не понимает!..

Менуэт звучал чересчур торжественно.

Сухое мужественное лицо графа Воронцова выглядело несколько усталым. Он говорил вполголоса, по-домашнему:

– ...Да, талант есть у него, конечно. Но если бы этот талант на пользу делу, а не для возбуждения молодых людей!.. Определенных молодых людей, вы понимаете?..

Александр Сергеич медленно поднимался по лестнице. Черный фрак на нем был безукоризнен. Небрежно повязанный галстук придавал костюму еще большую изысканность. Александр Сергеич шел, стараясь казаться выше и значительней. А голос Воронцова продолжал звучать:

– ...эти молодые люди еще не нашли своей дороги, они еще не видят, в чем состоит их истинный долг, их горячие умы пока заняты стихами Александра Сергеича, а не делом... а не делом.

Пушкин медленно восходил по лестнице. В конце первого лестничного марша – лакей-исполин. Александр Сергеич голову задрал, чтобы увидеть его каменное лицо. Усмехнулся. Качнул головой. Пошел еще медленнее.

На лице графа не было ни досады, ни горечи. Он был спокоен.

– ...Дело, – сказал он, – делать надо, а не болтать. – И улыбнулся. – А уж сделал... – И снова улыбка. – И тогда браво, господа сочинители...

Александр Сергеич остановился в дверях. И сразу же погрузился в музыку, в аромат духов, в шелест платья, в расслабленность... Он зажмурился на мгновение. Когда открыл глаза – перед ним возникла Амалия Ризнич, похожая на юную мадонну, вкусившую от прелестей мирских. Она двигалась в паре с Собаньским. Тот танцевал не сводя с нее многоопытных глаз. Даже торжественность менуэта не меша-

ла ему широко улыбаться ей, показывая крупные белые зубы. Улыбка баловня и удачника.

Амалия мельком взглянула на Александра Сергеича. Он нахмурился демонстративно.

Граф стоял у колонны, окруженный своими помощниками. Они все были высоки и красивы, как на подбор.

Музыка стихла. Амалия проплыла мимо. Александр Сергеич поклонился ей. Вдруг сказал быстро, полушепотом:

– Следующий танец мой...

– Следующий?.. Нет, нет, – она покачала головой, но улыбнулась, словно позволила надеяться.

Александр Сергеич медленно двинулся через зал, туда, где стоял Воронцов.

...Поклон поясной, поклон грудной, кивок, поклон с улыбкой, поклон отчужденный, и снова – кивок, кивок, кивок приятельский, кивок пренебрежительный, кивок равнодушный, поклон с подобострастием, поклон с достоинством...

– Пушкин, – сказал поручик Жаев восхищенно. – Я как узнал, что он в Одессе, у меня руки задрожали...

Александр Сергеич медленно удалялся.

– Какой он, а, Туманский?

– Ты же видел его, – засмеялся Туманский. – Поэт...

– Представь меня, бога ради, Туманский, – сказал поручик. – Ведь уеду и опять словом с ним не перекинусь... Да ты скажи, какой он, а?..

– Поэт, – сказал Туманский уклончиво.

Александр Сергеич стоял в глубине зала.

Брунов поглядел через плечо.

– Не нравится мне все-таки этот Пушкин, – сказал жене.

– Зато комильфо, – она следила за каждым шагом Александра Сергеича. – И умеет, умеет... Петербург!.. – пропела она. Спихватилась: – Конечно, ему есть когда собой заниматься... Он ведь не служит так упоенно, как ты...

– О господи! – сказал он раздраженно. – На мне вся канцелярия держится. А он – кто?.. И вообще на месте его сиятельства я бы его в остроге держал...

Грянула мазурка. Капельмейстерская лысина на хорах покачивалась. Александр Сергеич едва проскочил водоворот. Во-

круг уже кружились, скакали в мазурке.

Группа вокруг Воронцова растаяла. Александр Сергеич поклонился графу. Граф ответил. Возле глаз сощурились добрые морщинки. “Красив, черт!” – подумал Александр Сергеич. Граф медленно удалялся под руку с Казначеевым.

Пушкин подошел к Александру Раевскому и Липранди.

– Ты не танцуешь? – спросил Раевского.

Раевский не ответил. Смотрел на Пушкина в упор с усмешкой.

Александр Сергеич поморщился болезненно, сказал:

– Лучше ни о чем тебя не спрашивать, ей-богу... Все сразу становится жалким и ничтожным.

– А мы как раз и говорили с Раевским, как все ничтожно, – усмехнулся Липранди и посмотрел на Раевского. – Впрочем, мы упускаем весьма благоприятную возможность...

– А ты почему не танцуешь? – спросил Раевский.

Но Пушкин живо обернулся к Липранди:



– Какую возьмешь?..

– Пока лев дремлет, козы бегут к пруду... – сказал Липранди рассеянно.

Александр Сергеич посмотрел в зал. Амалия Ризнич отплясывала с Собаньским.

– Этот Собаньский был бы заурядным гусаром, если бы не был так богат, – услышал он за спиной голос Раевского. Но не повернулся. Черный локон бился о смуглую щеку Амалии. Она заметила его взгляд, кивнула ему и восторженно засмеялась Собаньскому. Вдруг глаза ее

встретились с глазами графа. Она потупилась.

– Что-то мне все это стало надоедать, – сказал Раевский, – в Петербург уехать что ли?.. Послушай, Александр, а что это Брунов так на тебя косится?.. Возьму и укачу... Завтра же...

У Александра Сергеича дрогнули губы:

– Счастливчик ты! – сказал искренно: – “Возьму и укачу”! – и шутовски гримасничая: – Кто бы меня укатил, маленького беденького изгнанничка?.. Ба! А не вступить ли мне в тайное общество?.. Не может быть, чтоб в Одессе не было тайного общества!.. – он говорил все это паясничая, но в глазах его, обращенных к Липранди, был вопрос.

– От разговоров о воде мельница не заработает, – сказал Липранди хмуро...

Воронцов слушал Казначеева, слегка улыбаясь.

Медленно приблизился Марини. Он высок. На холеном лице – два больших наивных глаза. На губах едва заметная плутоватая улыбка. Постоял. Помолчал учтиво. Еще приблизился.

– Вот ведь у Павла Яковлевича орден Святой Анны! – сказал Воронцов Казначееву, и они оба повернулись к Марини. – Кто бы мог подумать... Блестящий кавалер.

Марини учтиво поклонился. Даже несколько более, чем следовало. Длинный палец его коснулся ленты орденской.

– И для Святого Владимира местечко осталось, – сказал он и легко провел ладонью по лацкану фрака, словно стряхнул пылинку. И сделал шаг почти вплотную к графу. Казначеев за его спиной возмущенно пожал плечами.

– О! – улыбнулся Воронцов и отошел, словно не понял намека.

– Граф милостиво принял вашу шутку, – не очень учтиво заметил Казначеев.

– Зачем же шутку? – обиделся Марини. Амалия Ризнич продолжала кружиться

с Собаньским. Александр Сергеич грыз ногти...

– Вот уж не думал, что Одесса нас сведет! – сказал Жаев Пушкину.

– А что за охота привела вас сюда из Киева, в эту пыль? – спросил Александр Сергеич.

– Охота к перемене мест, – Жаев так и разглядывал Пушкина.

– Ну уж, рассказывайте, – засмеялся Пушкин. – Такие, как вы, просто так не ездят... – погрозил пальцем.

– А у меня такой табак, такой табак! – словно заговорщик, пригнувшись, сказал Липранди. – До утра не перекурить... Не лучше ли ко мне?

– Пожалуй, – сказал Александр Сергеич, – мне выговориться надо... И вообще у меня такое чувство, будто завтра что-то произойдет... – Жаеву: –

А что у вас в полку, ничего не слышно? Говорят: накалено все... Только пламя поднести...

– Да? – удивился Жаев.

– Будто вы не знаете!.. – сказал Пушкин.

– Вы слишком хорошего мнения обо мне, – уклончиво отозвался Жаев.

– Едемте ко мне, – настойчиво сказал Липранди. – Здесь не место для таких разговоров.

– Да, да, поедемте, – сказал Пушкин Жаеву. – Мне так хочется поговорить с вами... откровеннее...

– Батюшки, – усмехнулся Раевский. – Говорить?.. О чем?.. Кому какая конституция нужна? Или о польских повстанцах?.. Одесса просто помешалась на этих разговорах!

– Ну можно поговорить о плечиках мадам Ризнич, – хмуро заметил Липранди.

– Плечики нужно обнимать, – сказал Раевский смеясь.



А.С. Раевский



– А вы знаете, – сказал Туманский, пытаясь смягчить разговор, – закрыли газету... Велено закрыть за неблагонадежность...

– Знаем, знаем, – сказал Липранди. – Поехали... Ну?

– А вот и еще повод взбеситься, – сказал Пушкин. – Куда бежать от этих нравов?! Единственная газета в этом просвещенном болоте, и ты...

– Далась вам эта газета, – сказал Раевский зевнув, – какая разница?

– Скоро на театре повесят объявление, – зло сказал Пушкин. – Требуется, мол, мерзавец на роль порядочного человека.

Жаев засмеялся.

– А если не найдется?

– Тогда и театр повелят закрыть, как газету, – сказал Александр Сергеич.

Он еще раз взглянул на Амалию, чертыхнулся про себя и пошел прочь.

Почти вбежал в маленькую залу и мгновенно замер: за роялем сидела Леночка Бларамберг и едва касалась пальцами клавиш. Оркестр из большой залы заглушал ее игру. Тогда Александр Сергеич плотно затворил двери.

Леночка играла Шопена.

Напряжение и досада схлынули с лица Александра Сергеича. Он подошел к ней, поклонился.

Она вспыхнула вся.

– Там скучно, – кивнул он на дверь. – Хоть шуму много...

– Вы у нас совсем бывать перестали, – сказала она, не поднимая головы. И вдруг посмотрела на него внимательно. – Вы огорчены чем-то?

– Что вы, – засмеялся он. – Я рад побыть с вами. Вы, Леночка, прелесть... Мне

все недосуг было к вам заехать, а уж как я рвался – Бог свидетель...

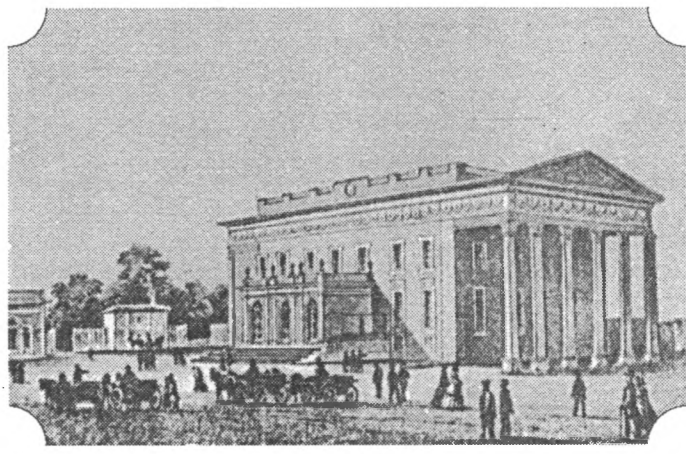
– Вы же не верите в Бога...

– Я?! – обиделся он, но засмеялся, махнул рукой. – А помните, мы Байрона читали?..

Она кивнула.

– Вот кто моя жизнь! – воскликнул подетски. – Вы одна это и умели понять... – Поправился: – Умееете.

– А друзья ваши?.. – спросила



Огюста Писсо

она, еще сильнее покраснев.

– Друзья мои холодны, как римские патриции, – сказал он. – И надменны...

Он смотрел на нее с удивлением и радостью. Ее лицу так шла смущенность.

– Я непременно приеду к вам, – сказал он. – Ну просто всенепременно... Вы прелесть. Голова ее склонилась еще ниже.

– Вы уже танцевали с госпожой Ризнич? – спросила она. – Она хороша, не правда ли?

Он махнул рукой, и выражение досады снова испортило его лицо...

...И так он смотрел на кружащуюся в танце Амалию. Потом взгляд его остановился на распахнутых дверях. Он увидел княгиню Вяземскую.

Вера Федоровна легко шла через залу, некрасивая и обворожительная.

Александр Сергеич просиял весь.

– Вот друг мой самый лучший!

И стремительно двинулся навстречу.

Он очень ловко поцеловал протянутую руку.

– Княгиня, вот ей-богу, если бы вы не были женой моего лучшего друга...

Княгиня была чем-то встревожена.

Брунов сказал жене, не меня выражения лица:

– Нет, ты только погляди... Как будто у них сговор тайный. Он так кичится столичными связями...

– Да что ты! – сказала она. – Все это тебе мерещится... Просто она ему покровительствует... Она душенька.

Александр Сергеич кивнул Вяземской на Амалию:

– Она не хочет со мной танцевать!.. Какое?

– Вы разгорячены балом, Александр, но я должна вылить на вас ушат холодной воды.

– Уж вы ей задайте, – капризно сказал Александр Сергеич.

Амалия проплыла мимо, кокетливо улыбнувшись.

– Я должна вас предостеречь, – сказала княгиня. – Тучи сгущаются над вашей бедной головушкой. Что вы за человек! Как вы умеете заставить всех себя ненавидеть...

– Что с вами, душа моя? – всплеснул руками Александр Сергеич.

– Ради бога, Александр, сделайте что-нибудь... Ну хотя бы... идемте завтра со мной к обедне...

– Молиться? – удивился Пушкин.

– Я слышала разговор...

– Вот если бы Бог помог мне в Петербург удрать... Впрочем, с вами – хоть к Богу, хоть к черту...

– Все ваши петербургские друзья умоляют вас не лезть на рожон, – сказала Вера Федоровна.

– Господи, да я же ничего такого не делаю!

– Понимаете, Александр, сейчас в городе, в этой сложной обстановке...

– Но ведь должен же я защищаться! – почти крикнул он.

– Вы можете повредить себе, – сказала она участливо. – Ваши друзья...

– Ну чего они от меня хотят, враги и друзья? Как сговорились!..

Она коснулась его руки ладонью, чтобы

успокоить. Но он уже улыбался растерянно, с удивлением, как умел...

– Княгиня, голубушка, дайте мне еще раз в долг, а?..

Вдруг он увидел, как из двери в дверь прошествовал Воронцов с женой Елизаветой Ксаверьевной. Он сразу изменился в лице. Вспыхнул весь. Но лишь на мгновение. Однако княгиня успела это заметить...

Листок бумаги порхал по рукам. Он напоминал птицу. Он попал в руки, дрожал, бился и снова упархивал.

Воспитанный
под барабаном...

Женские руки обращались с ним энергичней и вольней. Мужские торопливей, с дрожью, словно

оглядывались настороженно.

Наш царь лихим был капитаном:
Под Аустерлицем он бежал...

Лица выражали страх, и досаду, и тайный смех, и гнев...

В двенадцатом году дрожал...

Александр Сергеич кружился с Амалией.

– Наконец и я дождался своего танца, – сказал он. – Я просто с ума сходил, пока вы с этим Собаньским... – И с обидой: – Вот уж не думал, что вы так тщеславны!

Амалия запрокидывала голову, смеялась, вглядывалась в него мельком: старалась убедиться – вконец ли он повержен.

– У вас какое-то бешеное желание всем нравиться, – сказал он.

– А разве это плохо?

– Я хочу, чтобы это касалось одного только меня... (Она пожалала плечами удовлетворенно.) Завтра вы будете у обедни? (Она прикрыла глаза.) Вы узнаете одну страшную тайну. (Брови ее взлетели.) Я не



А. П. Вяземская



могу без вас... (Снисходительная улыбка.) Я вызову этого Собаньского на дуэль и пристрелю его!.. (Она рассмеялась загадочно.) Амалия, поедemте ночью к монастырю... Вдвоем... А?.. Я и вы...

– Александр Сергеич... – проговорила она расслабленно, почти касаясь щекой его щеки...

Листок бумаги трепетал в руках Казначеева, Казначеев был огорчен.

Наш царь лихим был капитаном...

– Ах ты боже мой... Ну зачем он это?

Амалия стояла у колонны, слегка наклонившись к Пушкину. Он что-то говорил ей оживленно...

...Листок лежал на ладони у Липранди.

– Оплеуха! – позлорадствовал он.

– Он думает, что человечество, – сказал Раевский, – только и ждало этих строк, чтобы очиститься...

– Не исключено, – сказал Липранди, словно самому себе.

А Пушкин сказал Амалии театрально:

– Когда Собаньского нет рядом, я спокоен... С чего бы это?

...Градоначальник граф Гурьев танцевал, обливаясь потом. В глазах его стояла тоска. Высокий воротник врезался в подбородок и утопал в его мякоти.

– Когда мы стояли под Лейпцигом, – сказал он своей даме пыхтя, – был я молод, в седле сидел как влитой... А вот надо же... То да се, моя милая... Я уж и так стараюсь меньше есть...

Дама оглядела Гурьева критически.

– Я хлебосолен чертовски... – засмеялся Гурьев. Он ловко, несмотря на вес, крутанул свою даму, чтобы обвести Пушкина.

– Александр Сергеич плечом обязательно заденет, – пропыхтел Гурьев. – А вид-то сделает, куда там!..

Дама оглянулась вслед Пушкину.

– Говорят, – сказала она, – тут жуткие его стихи на государя ходят...

– Когда мы стояли под Лейпцигом, – сказал Гурьев, не желая продолжать эту тему, – один священник...

– Вы здесь градоначальник, – закапризничала дама. – Уж вам ли не знать?..

Гурьев осклабил добродушно:

– Помилуйте, да это ж и не его стихи... – и

вдруг в самое ухо, быстро и вкрадчиво: – А кто сказал вам?.. – И засмеялся тяжело...

...Александр Сергеич шел через зал и не замечал, как все провожали его глазами.

Он остановился перед Липранди. Видимо, кто-то появился сзади, так как Липранди не очень дружелюбно посмотрел из-под мохнатых бровей. Александр Сергеич обернулся: черноусый поручик стоял перед ним. Из-за плеча его выглядывал молодой человек во фраке, с едва пробивающимися бачками на полных щеках.

Поручик поклонился и сказал смущаясь:

– Позвольте выразить... – и смолк.

– Обретаешь веру, честное слово... – сказал его приятель высокопарно. – Хочется расправить крылья...

– О чем это вы? – не понял Александр Сергеич.

– Да как же, – еще больше смутившись, сказал поручик. – Мы имеем в виду стихи...

– Мы их тут читали... – сказал приятель. – "Воспитанный под барабаном"... и другие стихи ваши... читали... – он все время говорил из-за плеча, словно боялся того, о чем говорит.

– Помилуйте, – резко оборвал его Липранди, – господин Пушкин не имеет к сему ровно никакого отношения.

Александр Сергеич удивленно взглянул на него.

Черноусый поручик оглядел их обоих и осекся.

Приятель увлек его за собой.

– Зачем вы это? – возмутился Александр Сергеич.

– А затем, батюшка, – сказал Липранди наставительно, – что, когда не знаешь, с кем имеешь дело, – держи ухо востро.

Пушкин подошел к Амалии:

– Счастье быть с вами наедине так велико, что... я предвкушаю завтрашний вечер... Вы же дали согласие?

И вдруг он увидел Елизавету Ксавьеревну. Графиня снова появилась в зале. Одна. Воронцов в противоположном углу зала читал листок. Помощники его молчали рядом.

– Александр Сергеич, – тихо сказала Амалия.

Он не обернулся.



– Да, да, – проговорил машинально. Воронцов дочитал листок. Аккуратно сложил его. Спрятал. Поднял глаза. Увидел Пушкина. Проследил за его взглядом. Елизавета Ксаверьевна смотрела на Пушкина. У графа морщина на лбу шевельнулась.

Амалии уже не было рядом.

Оркестр молчал. Все сгруппировались по стенам. Александр Сергеевич очутился посреди зала один.

*С*лужба закончилась.

Пушкин шел к выходу рядом с Верой Федоровной.

И когда в широко распахнутую церковную дверь ворвалось солнце, Вера Федоровна, благодаря, пожала руку ему и поощрительно кивнула, словно сказала: “Ну вот видите, как все просто и прекрасно!”

– Я вам очень признателен, что вы заставили меня сюда прийти, – сказал Пушкин, и в глазах у него заиграл бес. – Я тут увидел такую красавицу... Вот как бы дознаться, кто она?..

“Он неисправим...” – подумала Вяземская, но промолчала и лишь вздохнула.

*Н*икита вошел с кофейником и чашкой и остановился: стулья стояли не на месте, на столе были наворочены горы бумаги, книги... Александр сидел в постели по-турецки, в ночной сорочке. Писал... Тонул в бумагах. Перья сломанные валялись здесь и там. Свечу погасить он забыл. Она почти вся сгорела. Пламя с копотью качалось перед носом барина.

Никита шумно вздохнул.

– Я вам кофею...

Перо остановилось. Но на Никиту не поглядел.

– Подавать, что ли?

Александр Сергеевич перо высоко подбросил.

– Господин Козлов, а ведь удалась сценка!..

– Вот кофей, – сказал Никита.

– Балбес, – сказал Александр Сергеевич в сердцах. – Нет бы обрадоваться...

– Не хотите – не надо... Я и унести могу, – равнодушно сказал Никита.

– Ну давай, давай... – Александр Сергеевич поудобнее устроился так, чтобы в окно глядеть. Отхлебнул.

Букин стоял на улице спиной к Александру Сергеевичу. Потом медленно двинулся и исчез.

– Может, вы, господин Козлов, хоть листы уберете?

– Отчего ж не убрать? – и Никита собрал листы.

В домике через улицу отворилась

дверь. Вышли двое: высокий старик в линялой польской конфедератке, с ним поникшая женщина. Она слушала его, кивала, потом торопливо пошла прочь.

– Давеча этот приходил... из лавки книжной... – сказал Никита.

– Ну?

– Денег требует...

Старик стоял, прислонясь к забору. Курил трубку. Девушка с порога позвала его по-польски. Они были очень похожи. Пушкин удивился. Дверь захлопнулась.

– Ну?

– Вот и ну... – сказал Никита.

Александр Сергеевич отставил кофе. Никите горько было его

лицо видеть. – Никита, – сказал Александр Сергеевич, – родитель денег нам не шлет... – и указал на гору конвертов запечатанных: – На-ка вот, письма отправь. Без денег, господин Козлов, худо. Вы понимаете?... Как жить, господин Козлов?



Е. Н. Воронцова



– Если опять придут, чего говорить? – спросил Никита с грустью.

– Скажи, что без книг мне нельзя... А денег у меня нет... Уж как он хочет, черт!

Девушка стояла на пороге своего дома.

Золотые волосы ее рассыпались по плечам. Александр Сергеевич слюну проглотил.

В коляске покачивала головой Амалия Ризнич. Красивая серая лошадь торжественно гарцевала по мостовой. Амалия кивнула Липранди.

– Неужели это – предмет его страсти? – скривился Жаев, провожая коляску взглядом.

– Не думаю, – сказал Липранди. – А впрочем... Да разве его поймешь? – Он глянул на поручика. Тот стоял опустив голову.

– Далось тебе это, – сказал Липранди.

– Послушай, – сказал Жаев, – какое все-таки счастье, что ты можешь связать меня с поляками из эмигрантов. Без этого я не могу вернуться в полк...

Липранди пожал плечами. Не ответил. Коляска с Амалией удалялась.

– Неужели это – предмет его страсти? – сказал Жаев снова.

– Да что ты в самом деле! – удивился Липранди. – Ну что тебе в нем? Игрушку нашел...

Поручик рассмеялся невесело.

*А*лександр Сергеич сидел в пролетке. Рукой коснулся спины кучера:

– Слышал, Береза, Байрон умер?..

– Царство Небесное, – сказал Береза, не оборачиваясь.

– Вдали от родины погиб. Погиб...

– Сидел бы дома... – равнодушно сказал Береза.

Пушкин невесело рассмеялся:

– Глуп ты все-таки... Он свободу другим добывал...

– А я и так свободный... – откликнулся Береза и, помолчав: – Вашество, вы когда платить мне будете? Целый месяц я вам удовольствия делаю... Извольте деньги платить...

– Останови, – вдруг приказал Александр Сергеич. Спрыгнул и направился к воротам неказистого дома. Остановился, спросил: – Или не веришь мне?..

Береза покосился на палку Александра Сергеича.

– Скоро деньги у меня будут – заплачу... А пока жди.

*М*ихаил Иванович Лекс, жалкий немолодой чиновник, в убогой каморке своей как раз в этот момент подносил к губам глиняную кружку с вином. Вдруг в дверь постучали, часто и требовательно.

– Да входите, батюшка, – сказал Лекс. – Я ж вас узнал.

Александр Сергеич поклонился низко и прямо с порога привычно, но не слишком задорно процитировал себя самого:

Михаило Иванович Лекс:
Прекраснейший человек-с...

И палку прислонил к стене.

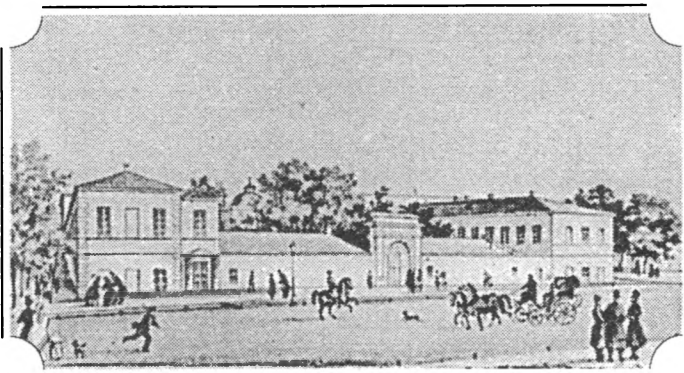
– А в глазах у вас грусть, – сказал Лекс. Александр Сергеич привалился к стене и сразу переменялся, погас.

– Я к вам, утешения искать... Байрон умер, Михайло Иваныч...

Лекс вздохнул и не ответил. Протянул руку с вином. Пушкин взял и не пригубил.

– Михайло Иваныч, вам хорошо живется?

– Шутник вы, Александр Сергеич, – Лекс плутовато прищурился.



Огаса

Пушкин сказал:

– Я пленник... – расплескал вино в волнении. – Живу по прихоти других... Разве я не у себя в отечестве?... Байрон умер. Я молился на него, а он умер... А кому-то ведь это радость, а, Михайло Иваныч?

– Вы пейте, пейте! – сказал Лекс суетливо.

Глаза его были круглы и по-детски светились расположением. И на испитом лице казались чудом...

– Вы молоды, – сказал Лекс так, словно посмеялся, – жизнь у вас веселая... даром что дворянин... А я вам, сударь, вот что скажу: во вторник-то не забудьте в канцелярии быть... Торжества-с... Царские именины, Александр Сергеич...

– Шутник вы, Михайло Иваныч, – сказал Пушкин, отмахнувшись. – Ноги моей там не будет!

– Пейте, пейте... – вздохнул Лекс. – Сразу игра воображения увеличивается.

– От батюшки завишу, – сказал Пушкин, – от царя тоже, от толков и всякого вздора...

– Я в этих делах, батюшка, – сказал Лекс наивно, – ничего не понимаю... А мне вот не зависеть нельзя... Привык-с. Куда я без зависимости? – он прищурился. – Вот и судите сами... Да вы пейте...

– А знаете, куда я еду сейчас? – вдруг спросил Пушкин. – Еду в церковь, Михайло Иваныч... Вот уж все удивятся, что я по своей воле в церковь, а?... А вы знаете, зачем я туда?... Панихиду по Байрону заказывать...

– Господь с вами, – изумился Лекс. – Кто ж вам позволит?

– А вот увидите, – сказал Пушкин и не то хохотнул, не то всхлипнул, и стал обнимать Лекса. – А мне нужна независимость, и деньги нужны... вот так, – и провел по горлу. – Прощайте, прекрасный человек-с...

...А дьякон тянул с хрипотцой:

– Упокой, Господи, душу...

Все молились, Александр Сергеич стоял между Липранди и Раевским. Народу в церкви было не очень много. Все свои...

– ...раба твоего боярина Герогия!..

Липранди усмехнулся и ла-



дочь Александру Сергеичу положил на плечо...

– Кабы он знал, боров, по ком панихида-то служит, – сказал шепотом.

Воронцов поцеловал Елизавету Ксавьерьевну в лоб.

Она сидела в халате перед зеркалом, за вечерним туалетом.

– Элиз, – сказал он, с удивлением глядя на нее, – жизнь так коротка, а мы так беспечны... Я словно впервые вижу вас...

– А вы так редко сентиментальны, – улыбнулась она. – Это грустно, Мишель. Но я понимаю... – она заторопилась, – вы себе не принадлежите...

Он стоял над ней, склонив голову, словно впервые наблюдал, как мягко суетятся ее руки, отшлифованная, распуская, укладывающая...

И вдруг он услышал откуда-то из глубины сознания:

...Воспитанный под барабаном...

Он вздрогнул, поморщился. А голос продолжал звучать и, казалось, растекался уже по всей комнате...

...Наш царь лихим был капитаном...

– Я все-таки не думаю, чтобы это могло принадлежать Пушкину, – сказал он раздраженно. Наступила тишина.

– Что? – торопливо спросила она. – Что Пушкину?..

– Эти нынешние строки о государе...

Пальцы ее остановились. Замерли.

...Наш царь лихим был капитаном...

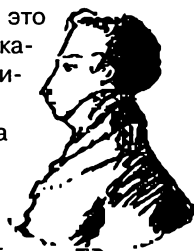
Голос возник снова. Граф нервничал.

– Спокойной ночи, дорогая, – сказал он рассеянно. Она подставила ему лоб.

...Под Аустерлицем он дрожал!..

– крикнул голос.

Граф размашисто шел по комнатам.



Они были полутемны. Кое-где горели свечи. В тишине гулко отпечатывались его шаги. И вдруг:

...Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном...

Он ускорил шаги и почти вбежал в кабинет. Захлопнул дверь.

В кабинете стояла вкрадчивая ночная тишина. Он снял мундир. Медленно прошел за стол, сел, взял книгу с закладками, поворошил мелко исписанные листы... Взял перо.

...Наш царь лихим был капитаном...

– возникло снова. Он тряхнул головой, но голос продолжал с упоением:

...Под Аустерлицем он дрожал,
В двенадцатом году бежал...

Граф отшвырнул книгу. Отодвинул листы. Взял один, чистый. Стал торопливо писать, часто перечеркивая...

Уже несколько голосов звучало: "...Под Аустерлицем он... Наш царь... воспитанный... наш царь... под барабаном... бежал... дрожал... бежал..."

Голоса смешивались, перебивали друг друга.

Рука графа выводила:

– "...но теперь уже совершенно здорова..."

Что касается... господина Пушкина, кажется, вы были правы: он показывает коготки... Поначалу я был добр с ним. Он, по-видимому, не пожелал оценить этого...

Теперь обстоятельства заставляют меня искать другие меры, отнюдь не без искреннего сожаления..."

Голоса утихли. Снова стояла тишина. Свеча потрескивала.

...Александр Сергеич торопливо записывал на клочке:

"...Я надеялся, что вот уж в Одессе-то, при таком просвещенном либерале, как граф Воронцов, я смогу, наконец, отдохнуть душою. Ан нет, здесь – то же, что и везде... И куда от этого деваться? Султаны, цари, повелители – большие и маленькие... О господи! Как я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения владык..."

Базарная площадь.

Старый вол с печальными глазами медленно перебирал жвачку. Глаза его были полны скорби.

Александр Сергеич коснулся ладонью шеи вола. Похлопал его по морде.

На возу, на мешках восседал старик, молча и неподвижно, и смотрел на Пушкина.

– Бык, а бык, – сказал Александр Сергеич, – хорошо тебе в ярме?

– Чего уж хорошего, – бесстрастно произнес старик с воза.

Пушкин озорно рассмеялся, но на старика не глянул.

– Ты бы скинул ярмо, бык...

– Разве его скинешь? – сказал старик в пространство. – Такая ему доля...

– Был бы ты, бык, человеком, – сказал Александр Сергеич, – не стал бы терпеть...

Бык смотрел печальными глазами.

Старик откликнулся с воза:

– А кто его знает...

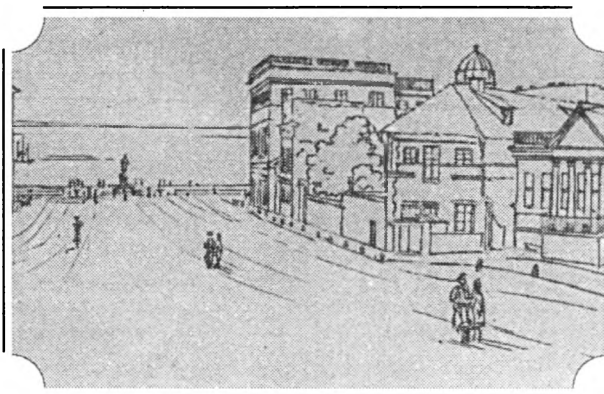
И вдруг Александра окликнули.

Амалия Ризнич высовывалась из коляски, глядела на него призывно.

– Что это вы тут делаете?

– С ним вот разговариваю... – он ткнул палкой быка. – Бык, а бык, а может, и ни к чему тебе дары свободы?

Бык медленно покачал головой.



Одесса. Рисунки П. Вяземского



Амалия расхохоталась.

– Вот видите? – сказал Пушкин холодно. – А вы своего обещания не забыли?

– Вы меня пугаете, – сказала она. – Вы слишком много требуете... Но хороший пастух пасет овец, а не сдирает с них шкуру...

– Ну, знаете, – засмеялся он, – в нашем стаде больше собак, чем овец...

Она вздохнула.

– Никогда не знаешь, что вы выкинете... у других все иначе...

Она силилась улыбнуться, придать словам оттенок иронии... Но у нее это не получилось.

В отдалении коляска медленно пересекла площадь. Грустное лицо Леночки Бларамберг белым овалом тихо покачивалось из стороны в сторону.

Леночка сразу же заметила Александра Сергеича и не увидела, а догадалась, что рядом – Амалия.

Коляска двигалась медленно, и у Леночки было время разглядеть, как Александр Сергеич, весь возбужденный, уверяет Амалию в чем-то. Ах, это так на него похоже...

Она крикнула кучеру, чтобы он поторопливался, наконец. И коляска скрылась за поворотом.

– ...А знаете, Амалия, – сказал

Пушкин тоном заговорщика, – я, пожалуй, переменюсь... Брошу стихотворство... От него проку и в самом деле никакого. Только шишки всё. Да вечная драка с цензурой. Я вот двадцать пять лет все в коллежских секретарях, а засучу-ка я рука-

ва да выбьюсь-ка в люди! Дослужусь до тайного... Денег у меня станет много, собственный выезд... И краду вас... А? Вот, ей-богу, характер у меня определенный, и в свете меня уважать станут.

– О, – засмеялась она, – если бы вы были таковым, я бы от вас на другой же день удрала!

– Вот за что я вас люблю, – сказал Александр Сергеич вежливо.

Коляска тронулась. Он поглядел ей вслед. Вдруг догнал. Сказал Амалии:

– Зачем нам откладывать?

Она вскинула брови. Палец приложила к губам.

– Если ехать по Кишиневской дороге...

– сказал он, словно не ей, – мне говорили – на третьей версте есть прелестное место... Ручей, заросли... Поверьте мне... Рай.

Коляска медленно двигалась. Он шел рядом. Амалия глядела в небо. Города словно не было. Да он и кончался. Открывалась степь. Последние дома призрачно покачивались по сторонам.

Букин стоял на углу, слегка напрягшись.

Амалия что-то сказала кучеру. Коляска покатила. Александр Сергеич остался один в пыли. Букин поклонился ему. Александр Сергеич ответил рассеянно. Он заторопился за угол. Букин смотрел туда, куда скрылся Пушкин. Вдруг из-за угла вырвалась коляска и, обдав Букина всплеском пыли, покатила на Кишиневскую дорогу. Александр Сергеич сидел, вцепившись в сиденье...

У заставы инвалид едва отскочил в сторону.

Впереди маячила коляска Амалии. Ближе, ближе. Она обернулась. Пушкин всплеснул руками.

Она видела его лицо. Почти явственно. И стало зябко кутаться в кисейный платок, несмотря на жару... Обернулась снова... Офицер склонился с коня к Александру Сергеичу. Коляска Пушкина стояла посреди пыльной дороги.

– Поверьте, я тут ни при чем, – говорил жандармский офицер, – ей-богу... Но вам же не велено без разрешения за черту города... – Мягко: – Извольте вернуться...

– Как вы любезны, – сказал Александр Сергеич, погаснув. Он сидел откинувшись. Руки висели безвольно. Вдруг улыбнувшись через силу:

– И вам хлопоты из-за меня...

– Ужасно, – признался офицер, утирая пот со лба.

– А вы бы меня не заметили... – сказал Пушкин тихо.

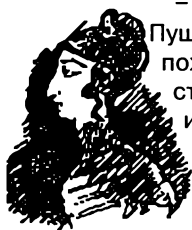
– Это невозможно-с... Извольте вернуться...

Коляска Амалии остановилась. Амалия с тревогой глядела в их сторону.

– Поворачивай! – вдруг крикнул кучеру Александр Сергеич. – Да гони!.. Гони!..

Коляска Пушкина понеслась обратно подпрыгивая. Офицер скакал рядом.

В большом зале Губернской канцелярии выстроились чиновники по слу-



чаю именин его императорского величества.

Длинная шеренга парадно одетых слушающих, казалось, не имела конца.

На правом фланге ее замер Казначеев. Марини едва заметными усилиями опраивал мундир. Брунов стоял с сосредоточенным лицом, весь – порыв и целеустремленность...

Где-то там, далеко-далеко, Александр Сергеич замыкал шеренгу. Он все время переступал с ноги на ногу и поглядывал в окно. Хотя в зале было тихо, Александру Сергеичу чудилась барабанная дробь. Он прикрыл глаза.

Наконец, послышались частые твердые шаги. Шеренга воспряла. Даже Лекс немного выпятил грудь. Дверь распахнулась. Вошел Воронцов. Он лишь мгновение разглядывал выстроившихся перед ним. Затем решительно направился к правому флангу.

Он легко и мужественно пожимал руку каждому и что-то говорил. И шел вдоль шеренги, и благосклонно воспринимал ответное бормотание...

Остановился на середине пути. Оглядел левый фланг. Голова его качнулась в общем поклоне.

Александр Сергеич словно и не замечал ничего.

Церемония закончилась.

Он устроился полулежа над обрывом. Смотрел на море. Внизу живо-

писно раскинулся порт. Покачивались корабли. Суетились грузчики. Вozы стояли у самой воды, груженные мешками, бочками, всякой всячиной. Пылал августовский полдень. А Туманский сидел рядом и в маленькую подзорную трубу разглядывал горизонт. Снизу доносилась песня...

На досках, на бревнах, раскинувшись в истоме полудневной, лежали люди: то ли матросы, то ли просто бродяги.

...У хозяйки морской зарыт под волной подарочек...

– Помнишь, Туманский, Онегина моего? – спросил Александр Сергеич.

– О, – вздохнул Туманский, с обожанием глядя на Пушкина. – Как это тонко и смешно... Прелестная поэмка...

– Туманский, это не поэмка... Это только начало... Я такое задумал, Туманский!.. Господи, хоть бы меня оставили в покое!

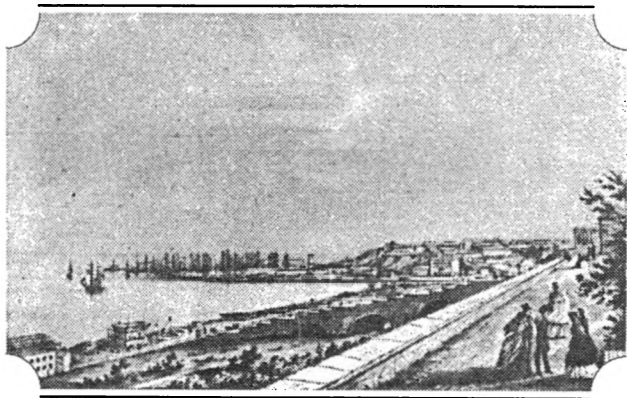
– Счастливчик вы, Александр Сергеич...

– Счастливчик, – как эхо откликнулся Пушкин, усмехнувшись.

Хор внизу становился мощнее, но грусти – хоть отбавляй.

...не браслет яхонтовый, не полшалочек...

Вдруг возле самого корабля, белого и надменного, готового выйти в море, он увидел человека. Неизвестный господин в коричневом сюртуке, в высокой петербургской шляпе, стоял на причале, опершись на трость.



Огюста. Порт

Ты сударушка,
моя кралячка,
не просия со
мною:
волна синяя,
да кудрявая
станет черной
волной...

– Отчего я пессимист? – вдруг спросил Туманский.

– Оттого, что моралист, – засмеялся Пушкин.

– Но современность... Вы-то сами к ней как относитесь?

– Внимательно, – сказал Александр Сергеич.

Туманский улыбнулся.

Человек у корабля стоял неподвижно. Его точеный силуэт дразнил и притягивал.

Пушкин замер. Вытянув шею, всматривался.

Для хозяйки морской я рискую башкой
окаянную...
умываюсь водой, одеваюсь водой
окиянную...

– Туманский, – сказал Александр Сергеич, – ну пусть я циник... Друзья славу мне кричат. Черт их побери с нею вместе!.. Я за деньги спину гну! А вы: божественное начало... Вдохновение! Да где его взять – вдохновение, когда велят по струночке ходить! – И вдруг, смиловившись: – Вы милый человек, Туманский, и добрый... – и снова значительно: – А Онегин фигура трагическая, даже безнадежная... – Тихо: – Как все мы, наверное... – Засмеялся: – Каково, я думаю, цензору-то с ней придется!

Он посмотрел на поющих и снова перевел взгляд на незнакомца. Но его уже не было.

Ты сударушка, моя кралечка,
не просия со мной!

Александр Сергеич поглядел вдоль берега, туда, за порт. Незнакомец возник из ничего и преспокойно шел вдоль воды, сняв шляпу. Ветер поигрывал его волосами.

– Какая натуральная картина! – пробормотал Пушкин. – Сойдешь с ума, пожалуй...

И он покачал головой. Человек тотчас же исчез. Пушкин рассмеялся с удовольствием.

Обвенчался я да не в церкви
только с нею одной...

– Прощайте, – как всегда, неожиданно сказал Пушкин и побежал вниз, к поющим.

По лицу Александра Сергеича струился пот. Прядка на лбу дрожала от напряжения, полные губы искривились.

Бродяга с кольцом в ухе, сидевший напротив, постепенно слабел. Сдавался. Александр Сергеич явно прижимал его.

Все столпились вокруг единоборцев. Молчали. Только покрякивали.

– На! – выдохнул Пушкин, прижав руку соперника, и захохотал.

– Ай да барин... – сказал кто-то.

Пушкин извлек из кармана целковый, подбросил его на ладони:

– Это тебе за песню...

Побежденный ловко поймал рубль. Молча, с достоинством поклонился.

Александр Сергеич пошел прочь, утирая пот со лба.

Бродяги хохотали над поверженным своим товарищем.

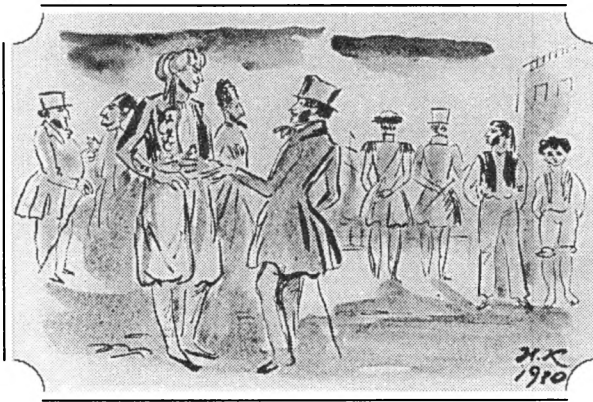
– Барина я пожалел, – услышал Александр Сергеич. – Да рази я его не взял бы?..

Побежденный глядел вслед Пушкину с улыбкой. Вдруг улыбка погасла. Пушкин возвращался.

– Значит, пожалел?

– Да это он так, вашество, – сказал кто-то.

– Давай целковый, – сказал Пушкин. – Они мне дорого достаются...



Пушкин в Одессе

Две руки сошлись снова. Узловатая – бродяга, жилистая, стремительная – Александра Сергеича.

В толпе закричали поощрительно.

Борьба шла с переменным успехом. Потом рука Александра Сергеича поддалась, по-

шла книзу и распласталась на бревне.

– Твоя взяла, – сказал Пушкин просто. Целковый сверкнул в воздухе. Бродяга снова поймал его.

Александр Сергеич пошел в гору. Никто не смеялся.

Они сидели в большой комнате у Липранди кто где. Пушкин, Туманский, Раев-

ский, Вигель, незнакомый пехотный капитан и еще какие-то военные в гражданском.

На столе высились бутылки с вином и большая миска с фруктами. Сизый дым табачный плавал по комнате.

– Нынче все покрыто мраком. Ничего неизвестно... – и капитан отпил из бокала.

Все засмеялись.

– А что, господа, – сказал капитан, – серьезно, все чего-то ждут. Даже у нас в полку всякие намеки, разговоры... Я денщика немножко наемни поучил, так он волком смотрит... Раньше извивался весь, теперь поди ж ты...

– Как можно бить человека, господин капитан? – сказал Туманский.

Все зашумели.

– Да полноте, – сказал капитан. – Вы еще молоды...

– Бить нельзя! – вдруг крикнул Александр Сергеич. – Завтра меня ударят!..

– Да для острастки, – добродушно засмеялся капитан. – Ну, согласитесь...

– Не соглашусь! – сказал Пушкин. – Мне уже вот так (проехав по горлу)... отвратительно...

– А вот будете вы слугу своего учить, – засмеялся капитан, – вспомните меня.

Александр Сергеич рассмеялся нехотя.

– А разговоры идут, идут, господа, – повторил капитан.

– Разговоры о возможных бунтовщиках? – сказал Вигель. – Я слышу об этом пять лет...

– Что значит бунтовщики? – сказал Александр Сергеич и посмотрел на Жаева.

– Победители не бывают бунтовщиками...

– Bravo! – сказал Липранди.

– Они еще не победили, – тихо заметил Раевский.

Все замолчали.

– Чего вы медлите? – тихо спросил Пушкин у Жаева.

– О чем вы? – не понял поручик.

– О бунтах и заговорах, – засмеялся Александр Сергеич с надеждой. – Я же все насквозь вижу.

Жаев покачал головой и не ответил.

– Значит, то, что возгоралось на Севере, уже погасло? – сказал Пушкин. – А не хотите ли отведать шомполов?

Жаев пожал плечами, но посмотрел на Пушкина с удивлением, как сквозь туман.

– А не желаете ли отказаться от газет, от способности мыслить?.. – шептал Александр Сергеич. – Даже в личную жизнь вторгается произвол... Ну? Ведь это невыносимо... Греки турок побить хотят... Поляки оружие собирают. А у нас свои турки... православные... – и откинувшись: – Хитрите вы, поручик... Я от вас не ожидал этого.

Липранди разливал вино по бокалам.

– Господин капитан прав, – громко сказал Пушкин. – Что-то должно случиться...

Капитан посмотрел на него с ужасом. Пушкин расхохотался.

– Ну зачем это? – сказал Вигель. – Он же не понимает...

– Я понимаю, что он не понимает, – сказал Александр Сергеич, – но я не понимаю, как он этого не понимает!

Потом он сказал Липранди:

– У Амалии вот здесь (показал на грудь) прелестная родинка... – и засмеялся, и расплескал вино.

– Нет, нет, серьезно, – сказал Туманский. – Трудно быть в стороне... Конечно... Я вас понимаю...

– Чепуха, – сказал Вигель.

– Приступы патриотизма, – сказал Раевский.

– А что делать? – развел руками Пушкин. – Учили любить Отечество... Я его полюбил. А как полюбил – увидел, что оно несчастно... Вот какой парадокс.

– Вот какой парадокс, – словно эхо откликнулся в своем кабинете граф Михаил



Семенович. – Его поступки, его образ мыслей противоречат высокому званию поэта, которым его так модно наделять нынче.

Брунов молча кивнул. Лицо его ничего не выражало. Просто кивнул, и все.

Воронцов посмотрел на Марини.

Марини кивнул.

В дверях стоял Лекс. Под мышкой он держал папку.

Воронцов усмехнулся бладушно.

– Вот Михаил Иванович – большой друг Пушкина... Что он нам скажет?

– Я в этих делах мало смыслю, ваше сиятельство, – пробормотал Лекс. – Александр Сергеич человек молодой, с фантазиями, но добрый...

– Ах, я в этом не сомневался, – с досадой перебил граф. – И вас в защитники не нанимал... Добрый... Это я ему желаю добра. Он в трудном положении... Но то, что я ежедневно узнаю, – он повысил голос, едва заметно, – и он не так уж молод... – Воронцов посмотрел на Брунова. Брунов кивнул. – И это не фантазии, господин Лекс... Нельзя противопоставлять себя обществу... а?

Брунов кивнул. Воронцов качнул головой. Лекса словно выдуло.

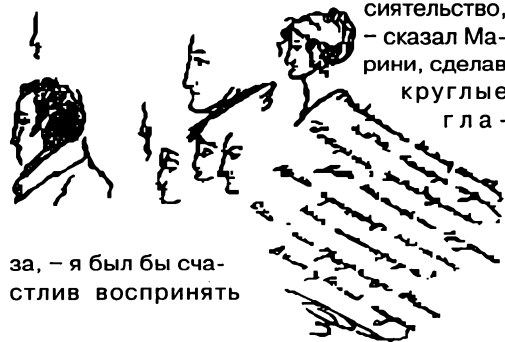
– Это между нами, конечно, – сказал Воронцов Брунову, – но вы постарайтесь намекнуть ему, чтобы он не отказывался написать стихи к маскараду... Нельзя же так... И потом это в его интересах.

Брунов поклонился и вышел на носках.

– Ваше сиятельство, – сказал Марини, очаровательно улыбаясь, – это для ее сиятельства графини, – и он протянул графу медальон на тонкой цепочке... – Греческий, старинный...

– Вот как? – сказал Воронцов, еще не избавившись от досады, – очень мило... Вы очень любезны...

– Ваше сиятельство, – сказал Марини, сделав круглые глаза



за, – я был бы счастлив воспринять

знаки доверия и расположения вашего сиятельства...

– В каком смысле?

– Я так давно мечтаю об ордене Святого Владимира!.. – как ни в чем не бывало признался Марини и ткнул себя в грудь.

Воронцов сказал, глядя в окно:

– Хотел бы я все-таки знать, Александру ли Сергеичу принадлежат эти стихи.

Вдалеке возник хохот. Он нарастал. Воронцов в растерянности вертел в руках медальон.

Смеялись в комнате Липранди.

Бутылки были уже полупусты.

Александр Сергеич хохотал громче всех. Сюртук он скинул.

– Однажды, – сказал Вигель, – мужчине встретился мальчик. – Не продаст ли тебя мне твой отец? – спросил мужчина. – Не продаст, – сказал мальчик, – но ты можешь прислать к нему свою жену, и он сделает тебе много таких мальчиков...

Все засмеялись снова.

– Послушайте-ка, – крикнул Александр Сергеич, – один пьяный вернулся домой... Хочет дверь отпереть, да не может. А жена ему сверху кричит: – Если у тебя нет ключа, я сейчас брошу... – Есть у меня ключ, – прохныкал пьяный. – Вот если можешь, брось мне скважину...

И захохотал первый.

Букин сидел в кресле Александра Сергеича, глядя на Никиту, стоящего в дверях, перебирал на животе толстыми пальцами, мелко хохотал.

– Нравиться ты мне, Никита... Уж как ты мне нравишься... Ну, Никита!.. – сказал Букин, утирая слезы. – Ну, Никита, черт... Хорошо!.. – и снова захохотал тоненько.

Никита скалился в дверях с достоинством. Букин полез за пазуху. Вытащил ассигнацию в пятьдесят рублей. Потряс ею.

– Поди-ка сюда, Никита... Хочу тебе презент сделать...

Никита обомлел. Сделал шаг к креслу.

– Иди, иди, не бойся... – ласково сказал Букин. – Нравиться ты мне... На-ка вот...

– Да за что же, вашество? – выдавил Никита.

– Бери, – сказал Букин. – Корову купишь, лошадь... Нравишься ты мне... – и вдруг захохотал снова: – А барин, говоришь, в разгуле?.. Гуляет?.. А ты вот так один?.. Да ты бери, бери, дурень!..

И вдруг Никита что есть силы кинулся Букину в ноги.

– Вашество!.. Премного благодарен... Вашество!..

– Бери, бери, – растрогался Букин. – Барин-то не часто дает... Знаю...

*Т*ромче всех смеялся капитан. Он смеялся, но при этом почему-то вскрикивал:

– Ах, доброе вино!.. Ну и паскудство!.. Больше не осилить! – и тут же опрокидывал новый бокал.

Когда все успокоились, Липранди сказал:

– Вот еще один прелестный анекдот. Он не очень смешон, но мудр.

В дверь постучали. Липранди вышел. Тотчас вернулся.

– Там очаровательная дама, – сказал он Жаеву. – Просит вас незамедлительно...

Пушкин рассмеялся удивленно.

Жаев, выходя, подмигнул ему.

Александр Сергеич легко отодвинул штору: там в свете луны удалялись, оживленно разговаривая, Жаев и старый поляк, уже Пушкину знакомый.

– Вправду ли хороша? – спросил Вигель без интереса.

Пушкин опустил штору. Липранди внимательно глядел на него.

– Она действительно хороша, – сказал Александр Сергеич тихо.

Липранди едва улынулся.

– А где же анекдот? – спросил капитан.

– Давайте, чего там... – крикнул из своего угла Туманский. – Ну, пожалуйста!..

– Один царь, – начал Липранди и смолк. – Опять царь... – он засмеялся. – Что было бы, если бы не было монархии? Не было бы половины прелестных анекдотов... Но слава Богу... Итак, один царь сказал однажды: – Царствовать хорошо... Но было бы совсем хорошо, если бы царствование продолжалось вечно... – Если бы царствование продолжалось вечно, – возразила царица, – ты никогда не дождался бы своей очереди...

– Ах, если бы я был царем! – засмеялся Александр Сергеич и бросил в рот вишенку...

– Представляю, – пьяно нахмурился капитан.

Александр Сергеич сверкнул глазами:

– Нет, вы не представляете, милостивый государь... Если бы я был царем, –

Пушкин встал с полной пригоршней вишен, – я бы призвал, например, Пушкина... – он сплюнул косточку разухабисто, – и сказал бы ему: – Александр Сергеич, вы прекрасно сочиняете стихи.

Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: –

Да, да, я читал. Все написано немало сбивчиво... малообдуманно, но тут есть кое-что... Поступая крайне неблагоприятно, вы, однако ж, не старались очернить меня в глазах народа распространением какой-нибудь нелепой клеветы... Вы можете иметь мнения неосновательные, но вижу, что вы уважали правду и личную честь даже... в цар!

Все засмеялись.

– Словоблуд! – усмехнулся Липранди. – Ну надо же!

Александр Сергеич разошелся. Он взобрался с ногами на старый диван Липранди. Зазвенели пружины.

Все засмеялись.

– Словоблуд! – усмехнулся Липранди. – Ну надо же!

Александр Сергеич разошелся. Он взобрался с ногами на старый диван Липранди. Зазвенели пружины.

*Б*укин стоял у дверей, смотрел на Никиту с гневом.

– Не нравишься ты мне... Я тебе пятьдесят рублей не пожалел, а ты мне малость самую жалеешь...

– Не могу я этого, вашество, – сказал Никита твердо.

Ассигнация печально высовывалась из его кулака. Букин потянул за нее. Она поддалась с трудом. Никита смотрел в сторону.

– Я бы только глянул в бумажки-то... Он и не узнал бы... Вон их у него сколько! – Букин кивнул на комнату...

Бумаги Александра Сергеича были разбросаны во множестве...

– Не могу... – сказал Никита.

Букин сильнее потянул ассигнацию. Вытащил.

– Не нравишься ты мне...



- *Ах*, ваше величество, – сказал Александр Сергеич тоном покорного Пушкина, – вы так справедливы, только отчего же вы меня сослали?

И снова все рассмеялись.

- А я бы ему сказал... А я тебя за дело сослал. Ты безобразные мысли вслух высказываешь!.. Да где же, ваше величество? – спросит этот Пушкин... Но тут я сам его спрошу... – Александр Сергеич замешкался, придумывая фразу. – Вот что это у тебя за стихи: "...Кто, волны, вас остановил, кто оковал вас бег могучий?.." А? Кто, кто? Кто остановил?.. Я, что ли?

Туманский прыснул. Вигель похмыкивал, сдерживаясь.

- И тут этот Пушкин, – продолжал Александр Сергеич, – попробует объяснить что-то... Молчи! – скажу я ему... Или вот еще...

- "Где ты, гроза – символ свободы!" – крикнул Липранди.

- Вот, вот... – сказал Александр Сергеич. – Так ты что, бунтовать?.. Или в этих стихах... Как их... "Наполеон"!.. Это подумать только, в нашем просвещенном государстве врагам Отечества стишки посвящать!.. Что вы, ваше величество, я не то хотел! – закричит этот Пушкин... Тот! – скажу я ему. – Я знаю, знаю, что ты не хотел... Да видишь, каково оно получается... Надобно тебе для прославления родной земли рифмы подбирать, а не во вред, понял?.. Понял, ваше величество.

Александр Сергеич лихо козырнул.

- Тут этому Пушкину, – сказал он, – ничего не останется, как только оду в мою честь сочинять. А я ему скажу: глуп ты, однако, Пушкин. За ум тебе взяться надобно. А этот Пушкин: А коли глуп, стало быть и ума нет, братья-то не за что... А ты займи, скажу я ему. Ну вот хоть у этого, – Александр Сергеич ткнул рукой в капитана. –

Прекрасный кавалер!.. Тут этот Пушкин наговорил бы мне дерзостей, а я бы его в Сибирь сослал...

- Как же так, ваше величество, – крикнул, смеясь, Липранди, – такого поэта да в Сибирь?

- А что же мне делать, – спрыгивая с дивана, но еще в тоне "царя" сказал Александр Сергеич. – Не мне же уезжать. Мне ведь государством управлять надобно...

Смех и звон бокалов перемешались.



Рисунок Н.Толокутина

Воронцов

сказал Казначееву дрогнувшим голосом:

- Меня очень тревожит его судьба... Наша демократическая обстановка ему вредна... А? Ведь вы близки с ним, остерегите его. Давайте вместе его уберем... Я говорю: надобно ему вести себя в рамках... вы ему скажите... ведь он... Ведь это может не понравиться... есть некоторые вещи, мне говорили... он должен прекратить... Его вольнолюбие переходит границы... Мне это больно, ведь я же не тиран какой-нибудь!.. Надо его приблизить... В церкви я один раз видел... Он ведет предосудительный образ жизни... Вы говорите, стихи? Кто в молодости не писал стихов? А он, с его темпераментом, мог бы найти занятие и посерьезней...

- Великие греки... – заикнулся было Казначеев.

- Ах, так ведь это ж великие греки – оборвал его Воронцов с досадой. – И не сравнивайте... Но я его ценю... и люблю... мне больно все это... – Взгляд его похолодел. – Я уже принял кое-какие меры, – снова улыбка. – Но и вы, и вы в свою очередь... И все мы. Он просил разрешить ему выехать за пределы Одес-



сы... Там его интересуют какие-то исторические реликвии, что ли... Я решил поощрить его... Пусть едет... Но не один, не один. Пусть едет. Пусть... Я надеюсь, что его величество простит мне эту вольность, когда увидит Пушкина наконец образумившимся... – И вдруг рассмеялся, что-то вспомнив. – Да, кстати... Приходил с жалобой господин Ризнич... Он якобы вернулся из поездки и застал Александра Сергеича... В общем, ему показалось... – граф подыскивал слова... – Очаровательная Амалия в истерике, муж ее тоже...

Граф нахмурился, заходил по кабинету. Казначеев лишь вздыхал громко.

*М*ихаил Иванович Лекс был пьян. Он смотрел мрачно на стены своей каморки. Детское во взгляде уже не проступало. Когда за дверь забухали шаги и голоса зазвучали, он даже не пошевелился и навстречу ворвавшейся толпе не встал. Пламя свечи заметалось. Слышались глухие удары бубна и цыганское пение.

Они ворвались с криками, усердно жестикулирующие, хмельные. Пушкин бросился обнимать Лекса. Липранди въехал в каморку верхом на метле. Вигель тотчас приспособился к кувшину и пил из него. Пехотный капитан, приплясывая, напел что-то, глупо скалясь... За дверь бил бубен.

– Подите все вон! – резко сказал Лекс. – Вас вообще не существует...

– Bravo! – закричал Александр Сергеич.

– Bravo! – подхватили остальные.

– Свины, – сказал Лекс. – Беспардонные свины... Презренные червяки... Я презираю вас!

Александр Сергеич захохотал, вскочил на стол и стал говорить что-то или декламировать – разобрать было нельзя: так шумели вокруг.

– Сбросили оковы! – кричал Пушкин. – Ура!.. Я говорил – у Михаила Ивановича веселье будет... Михайло Иваныч – прекрасный человек-с!.. Я его люблю...

– Зовите цыган сюда! – крикнул Липранди. – Пусть с ума сведут!..

– Надо еще вина! – сказал Вигель.

– Эй, человек-с! – крикнул капитан. – Давай вина!

– Подите прочь, – сказал Лекс. – Вас не существует...

– Саша, Саша! – крикнул Пушкин Раевскому. – Я люблю тебя! Неужели ты не замечаешь?.. – и бросился обнимать Раевского.

– Отстань, – поморщился Раевский. – Ты пьян... И я пьян... Это отвратительно... Мне скучно...

Лицо у Александра Сергеича переменилось вдруг, губы задрожали.

– А знаешь, – сказал он, – мне ведь тоже скучно...

– А вы, господин Раевский, – сказал Лекс, – только представляетесь, что вы умник-с... А вы на самом-то деле хитры-с... и ненадежны-с...

Пушкин захохотал горько. За дверь веселились цыгане.

– Вина бы... – прохныкал Вигель.

– Давай вина! – крикнул капитан Лексу. – А не то...

Александр Сергеич трезво взглянул на капитана, бросился к нему:

– Вы оскорбили моего друга... Я требую удовлетворения!

– Позвольте, – сказал капитан и очнулся... – Что я такого сказал?..

– Вы велели! – крикнул Пушкин, свирепея. – Не смейте приказывать... здесь... на этом островке свободы!.. Ненавижу! – он рванул ворот, пуговицы отскочили... – Вы угрожали!.. какого черта!..

– Да отстаньте вы, – сказал капитан испуганно. – Не буду я с вами драться, и все тут... – и попытался улыбнуться.

И тут получил пощечину.

– Теперь вы не откажетесь, надеюсь?.. – совершенно спокойно сказал Александр Сергеич.

Громко пели цыгане.

*Т*рянул выстрел. На червонном тузе вспыхнула дырочка.

Пушкин подбросил пистолет. Взял другой, прицелился.

Он сидел в своей комнате на полу, потурецки. В халате. Пистолеты лежали рядом.

– Смуглый хорош для боя, – сказал он, целясь, – белолицый – для девицы... – и выстрелил.

Никита молча заряжал пистолеты.

– А что, господин Козлов, не спрашивал меня один такой в коричневом сюртуке, с лорнетом?..



– Какой такой? – нахмурился Никита.

– Молодой, – сказал Пушкин, снова поднимая пистолет, – не улыбающийся... Не назывался ли он Онегиным?

– Вроде бы не было, – сказал

Никита.

– Смуглый хорош для боя, белолицый – для девицы, – скороговоркой произнес Александр Сергеич и выстрелил. Третья пуля вошла в сердце туза... – Если спросит, ты ему не сказывай, где я... Я боюсь его, слышишь?... – Александр Сергеич повязывал галстук перед круглым зеркалом с трещинкой посередине.

– Я его страдать заставил, – сказал он. – Теперь все ему не так... Это по моей вине... – и тихо: – Друга своего он убил...

Никита усмехнулся незаметно.

– Если он меня найдет – убьет... – сказал Александр Сергеич.

– Да ну вас, – сказал Никита.

Пушкин засмеялся, выглянул в окно. И тотчас Онегин возник в тени платана. Стоял и рассматривал Пушкина в лорнет.

– А, – сказал Александр Сергеич, – да вот же он!

Никита ринулся к окну. Под платаном никого не было.

– Да ну вас, – сказал Никита и пошел вон из комнаты.

Елизавета Ксаверьевна Воронцова меланхолически перебирала пальцами горку свежевыглаженных платков. В большой ее комнате было много солнца. Но необъяснимая тревога не покидала ее. Она мельком поглядывала на Вяземскую, сидящую в глубоком кресле, и старалась придать своему лицу более сосредоточенное выражение.

– Раньше я всегда была веселой... – сказала Воронцова. – Что это со мной? Может, верхом проехаться?... – и помолчал: –

Ты в самом деле собираешься обратно, в Петербург?

– Да, – сказала Вяземская. – Ах, я давно бы уже уехала, если бы не он...

– Мы с тобой так и не поговорили о себе самих, – сказала Воронцова. – Все некогда...

– Я должна его опекать... Он совсем в смятении...

– Вчера во сне увидела, как я поскользнулась и падаю с обрыва... И вот уже море под ногами... нет, луг, и навстречу мне старый ворон... – она улыбнулась. – Да, да... И он мне говорит: "Ку-ку". – Рассмеялась и тут же погасла. – Какая чушь!..

– Он стал ожесточеннее как-то... может быть, это книги? Он их буквально глотает... – сказала Вяземская...

– Солнце село, – сказала Воронцова... – Надо выйти на воздух...

Она медленно направилась к окну.

– Он написал прелестные стихи. Очень грустные и мудрые. И вообще он повзрослел. Ты не находишь?... – сказала Вера Федоровна.

– Ты не забывай писать мне, когда уедешь... – сказала Елизавета Ксаверьевна, прислонясь лбом к стеклу. – Все-таки Одесса не Петербург... Я совсем постарела, моя милая...

Вера Федоровна мед-

ленно прочла:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия –
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья...

Воронцова обернулась.

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, –
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осень,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня...



Рисунок Н. Пархоменко

Воронцова снова глянула в окно.

Внизу медленно прохаживался маленький Александр Сергеич. Наверх он не смотрел. Графиня чуть отклонилась.

– Я иногда прихожу в отчаяние, когда подумаю, как он на самом деле одинок, – сказала Вяземская откуда-то издалека.

Александр Сергеич поманил маленькую собачонку. Она бросилась к нему, вертя обручком хвоста. Он носком сапога почесал у нее под брюхом. Она тотчас улеглась на спину...

– Животные удивительно чувствуют доброту... – сказала Елизавета Ксаверьевна.

Вера Федоровна посмотрела на нее удивленно. Подошла. Посмотрела в окно. Потом – на графиню.

– Да, – сказала как ни в чем не бывало. – Какая прелестная собачонка...

Леночка Бларамберг торопливо писала. Перечеркивала, писала снова...

“...Не знаю, откуда я набралась мужества написать Вам, но я пишу... вы неотступно ходите за мной... Я читаю Ваши стихи, смеюсь, и плачу, и умиляюсь... Ах, зачем вы приехали сюда!.. Я понимаю, что Вам не может быть со мной интересно, что я проигрываю рядом с такими блестящими дамами, как... И все-таки я счастлива... Да, да, я счастлива, что хоть изредка имею возможность видеть Вас... Поверьте, мне стыдно, но в то же время я горжусь, что смогла быть мужественной... Умоляю Вас, порвите это письмо... И не смейтесь над девчонкой, позволившей себе счастье быть откровенной с человеком, которого...”

А он сидел на подоконнике в халате. Липранди потягивал вино из старого треснувшего бокала.

– Граф не простит теперь тебе твоей сатиры, – сказал Липранди. – Ты поостерегись...

Александр Сергеич поморщился и не ответил. На той стороне улицы золотоволосая строгая полячка стирала в деревянном корыте.

– А может, не следует жалеть поэтов? – сказал Пушкин, приглядываясь к девушке. – Может, лучше пинать их, бить камнями, не до смерти, конечно, а?.. Ведь вот Дер-

жавина сделали министром, он и писать научился...

Липранди засмеялся.

Старый поляк вышел из дому. Золотоволосая взяла у него из рук маленький сверток и, оставив стирку, пошла по улице, отирая ладони о юбку.

Александр Сергеич пожал плечами. Вдруг он сказал резко:

– Вы меня игнорируете... Я все знаю...

Липранди отставил бокал.

– Вы и Жаев встречаетесь с поляками, участвуете в их благородном деле... Я знаю, эта ниточка из Петербурга тянется... Я знаю...

– Помилуй, – сказал Липранди, отводя взгляд.

– Вы мне не доверяете... Мне, у которого свои счеты с царем!

– Ты ошибаешься, Александр, – выдавил Липранди. – Мы говорим о свободе, жаждем перемен... все это так, но никакой продуманной деятельности, уверяю тебя...

Александр Сергеич махнул рукой. Старый поляк, близоруко щурясь, глядел на него.

– Ваша дружба с Александром Сергеичем не образумила его, – сказал Воронцов очень любезно. – Даже вы не смогли склонить его заняться чем-нибудь путным...

– Помилуйте, ваше сиятельство, – сказал Липранди, – такие люди могут быть только поэтами.

– Так на что же они годятся? – раздражаясь, спросил граф.

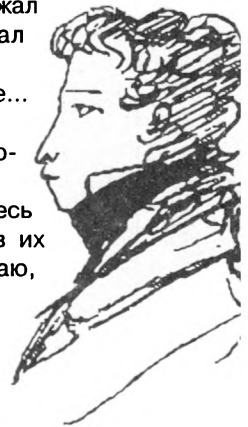
Липранди молча поклонился.

– Мы живем на вулкане, – уже мягче продолжал Воронцов. – Страсти накалены, милостивый государь... Греки, поляки... Всякие толки... А тут еще он... со своими взглядами... Вы понимаете?

Липранди стоял вытянувшись. Любезный тон всесильного графа не обещал ничего приятного.

– Не загостились ли вы в Одессе? – осведомился Воронцов.

– Действительно, – выдавил Липранди.



– Дел в Кишиневе накопилось изрядно...
– О, – сказал Воронцов, – не запускайте дел. Это обычно плохо кончается.

Александр Сергеич вошел в книжный магазин как-то боком, с опаской. Хозяин, маленький толстый человечек, сразу же его заметил, что не доставило Александру Сергеичу большой радости. Но пришлось взять себя в руки.

Хозяин помахал любезно, поманил, показал на горку книг, журналов.

– Все новехонькое, Александр Сергеич... Только что... А вы как почувствовали. (Пушкин подходил осторожно, не отрывая глаз от лица человечка: уж не насмешка ли?)

– Что это вы будто сторонитесь меня, Александр Сергеич? – сказал человечек с укоризной. – Самый мой, можно сказать, книгоглотатель...

Вдруг Александр Сергеич сказал по-мальчишески, краснея:

– Стыжусь за долг... Да уж теперь скоро... скоро... – но надежды в голосе не было. – Уж совсем на днях...

– Да помилуйте, какой долг? За вас уж все уплачено.

Лицо у человечка искривилось: Пушкин стал непохож сам на себя.

– Кто посмел? – спросил тихо, со свистом...

– Господь с вами... Ну не все ли равно?

– Кто меня пожалел?! Черт! Не смеет... Не смеет! Я сам могу!.. Мне жалость не нужна! – он схватил человечка за отвороты сюртука и затряс его.

– Да что вы, право... Александр Сергеич, сударь!

Пушкин отбросил его, метнулся к выходу, но снова остановился, оглянулся.

– Ну, пустяк-то какой, – сказал хозяин. – Ну благожелатель ваш... ну уплатил...

– Имя, – сказал Пушкин. – Его имя!.. Не

знаете?.. Не знаете?.. Не знаете!.. – и побежал прочь.

Он лежал на кровати в одежде. Плакал всхлипывая. Никита ходил на цыпочках. Глядел с болью на барина.

Александр Сергеич вскочил вдруг, потянулся к чашке, стал жадно пить, расплескивая. Чашка выскользнула из рук и разлетелась вдребезги.

Никита тут как тут:

– А мы ее, батюшка, сейчас соберем... соберем... Подумаешь, чашка... – и вдруг отшатнулся от пощечины.

– Никита! – закричал Александр Сергеич. – Прости, Никита! – и бросился к нему. – Прости, Никита... Ну ударь меня, ударь!.. Никита!..

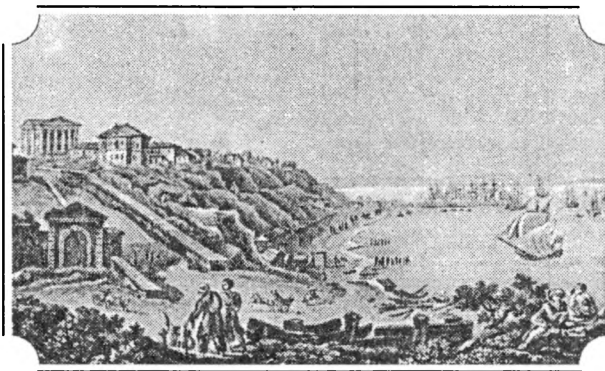
Пушкин стоял возле экипажа. Липранди высунулся к нему.

– Вы оставляете меня в трудную минуту, – сказал Александр Сергеич. – Задержались бы, а?

Липранди грустно покачал головой.

– Ну что дела? Вы же человек вольный... Плюньте...

Липранди протянул руку.



Вид на Орессу

решил тебе поездку...

– Ура! – крикнул Пушкин.

– Ну хоть ради этого уважь его...

– На колени встать или как? – нахмурился Александр Сергеич. – Месяц униженно прошу разрешить мне поездку по близлежащим окрестностям... Хочу развалины посмотреть!.. – Копируя графа: – Вы еще

Пушкин поднял голову от бумаг, потянулся, хрустнул пальцами и сказал Раевскому:

– Когда б ты знал, как мне идти туда не хочется... Там скука... Мне пишется чертовски...
– Граф раз-

ничем не послужили Отечеству, а уже требуете внимания... И потом не забывайте, что вы в некотором роде... – И снова своим голосом: – Я ссыльный! Каналья!.. Он это мне тычет при всяком удобном случае...

– Раньше ты оживлялся при виде хозяйки этого дома, – сказал Раевский небрежно.

Александр Сергеич вспыхнул, но смолчал.

– Идем, идем, – сказал Раевский. – Не томи меня....

Александр Сергеич надел цилиндр, снял, снова надел. Посмотрел в окно. Вдоль Ришельевской суетливо бежали черные чиновники, словно мыши. Их было много. Улица была заполнена ими... Они были похожи друг на друга. Моросил дождь. Они все бежали со втянутыми головами.

– Бррр... – засмеялся Пушкин. – Какая дрянь!.. – Они шли по улице.

– И потом, – сказал Пушкин, – все меня раздражает. Я могу нечаянно сказать дерзость, – и засмеялся.

Они повернули за угол. На плацу перед ними роскошно рассыпалась барабанная дробь. Свистели флейты.

Солдаты медленно вскидывали деревянные ноги. Штыки сверкали...

Маленький кривоногий лихо вышагивал рядом со строем.

Из пестрого кольца любопытных выплескивались платочки дам.

– Браво!

П р а п о р щ и к еще неистовее бил каблуками о землю. Оглядывался на кричащих...

Барабанная дробь то усиливалась, то угасала.

Они смотрели. Раевский, казалось, был безразличен.

Александр Сергеич болезненно улыбался.

Маленькая девочка в кружевных панталончиках приподымалась на носках и тоже кричала.

Извозчики смотрели с козел. Бродячая собака лаяла на барабаны.

Букин смотрел с угла, жуя что-то.

Солдаты обливались потом. Один из них споткнулся. Нелепо замахал руками. Прапорщик подскочил и раз... раз... раз... рукою в белой перчатке по потным щекам солдата...

Букин поморщился.

Пушкин опустил глаза. Раевский коснулся его руки, и они пошли дальше молча.

– Я вот сейчас подумал, – сказал вдруг Александр Сергеич. – Маленький тиран – это еще ужаснее, чем большой: он глумливее... В нем великодушия – ну вот ни на столько...

– Ты же сам его дразнишь, – сказал Раевский.

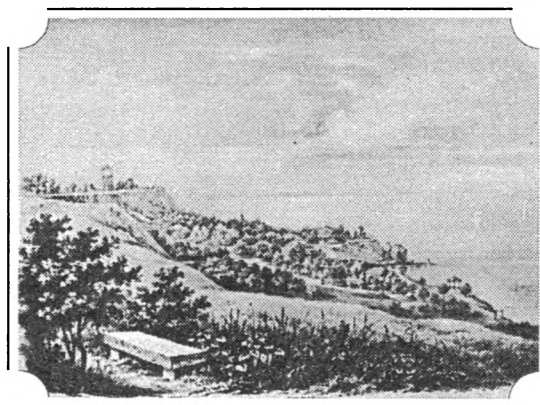
– А что же мне делать? – жалобно сказал Пушкин. – У меня ведь другого оружия нет.

– Он тебя высечет... Этим и кончится...

– А я ему дурака крикну...

– А он тебя сошлет...

– А я ему и оттуда дурака!.. Что же делать? Шутом быть? Нет, увольте...



Одесса. Вид из дома Е. Н. Воронцовой

– Слово "свобода" лишает вас покоя, – сказал Пушкин Гурьеву сухо. – Свободолюбие, свободолюбие... А вы к покою привыкли...

Завтрак у Воронцова подходил к концу. Все сидели за большим овальным столом. Пушкин посмотрел на

графиню. Она подняла глаза от чашки. Он тут же равнодушно отвернулся. Но его пальцы лихорадочно скатывали хлебный шарик.

– Вы слишком строги к нам, – улыбнулся Воронцов Пушкину, как мальчишке. – Свобода – прекрасный сосуд, и испить из него – это счастье...

Пушкин снова взглянул на графиню. Она словно ждала ответа..

– Большое счастье, – с трудом проговорил Гурьев. – В Лейпциге...

Александр Сергеич сказал Воронцову, игнорируя Гурьева:

– Однако, ваше сиятельство, не все торопятся поднести этот сосуд своим поданным...

Елизавета Ксаверьевна нахмурилась. Раевский усмехнулся.

– Да, свобода – это прекрасный сосуд... – повторил граф.

– Я говорю, что не все торопятся поднести его своим... рабам, – сказал Пушкин с вызовом.

За столом стало тихо.

– ...И испить из него большое счастье, – с расстановкой произнес Воронцов.

Бес обуюл Александра Сергеича:

– А я не хочу пить в одиночку.

– Не вскакивайте, – шепнул Пушкину Казначеев. – Его сиятельство еще ведь не встал.

– Его сиятельство преобразает этот дотоле пустынный край, – сказал неожиданно Брунов и довольно резко.

Александр Сергеич словно бы и не

услышал. Он смотрел на Елизавету Ксаверьевну. Она слегка отворотилась с прелестной своей улыбкой, неизвестно кому предназначенной.

– Вот именно, – сказал Марини. – Созидать всегда труднее, чем ниспровергать...

– Да, кстати, – сказал Воронцов очень равнодушно. – Этот ваш любимец Байрон... он ведь тоже... и вот ирония судьбы! Сколько грома, молний... и так умереть... где-то...

Княгиня Вяземская о чем-то говорила Воронцовой. Та качала прелестной головкой: "Нет, нет, нет..." Вдруг она быстро посмотрела на Пушкина. Он поймал ее взгляд.

– Поэты не умирают, ваше сиятельство, – сказал он. – Это чиновники умирают...

– Чиновники? – дружелюбно засмеялся Воронцов. – Да, они умирают... Но ордена их остаются... На груди земли...

Шумок одобрения вспыхнул над столом.

– Но ведь то, что на груди, – сказал Александр Сергеич торопливо, – не дороже того, что в сердце... а, ваше сиятельство?..

– Я думаю, господа, – сказал Воронцов, вставая и продолжая улыбаться, – что эта интересная тема несколько тяжеловата для десерта...

Он посмотрел на Пушкина. Александр Сергеич смотрел на графиню. Графиня – на Александра Сергеича. Воронцов нахмурился...

Все сгруппировались на веранде. Александр Сергеич стоял несколько в стороне и грыз ноготь на мизинце, старался ни на кого не смотреть.

– Я удивляюсь терпению его сиятельства, – сказал Брунов Гурьеву. – Этот кандидат в Байроны позволяет себе...

Гурьев поморщился:

– Смотрите, при нем не скажите. Александр Сергеич может как бешеный стать.

– Он забывается, – сказал Брунов, не сдерживая раздражения. – Можно подумать, что он не в ссылке, а в гостях...

– Боюсь, придется мне дуэль вашу предотвращать, – не то в шутку, не то всерьез сказал Гурьев. – Хлопоты... Он ведь стреляет, как разбойник!

– А ведь его можно и проучить, а? – шепнул Брунов. – Его эпиграммы – это уже вызов, а?

– Да будет вам, – лениво отмахнулся Гурьев. И вдруг весь налился: – И что это на него находит!.. Писал бы свои вирши, ей-богу!

Вдруг невесть откуда вынырнул длинноногий Марини.

– Ваше сиятельство, – сказал он Воронцовой, – их сиятельство (кивок на Воронцова, разговаривающего с Вигелем и Казначеевым) меня осчастливили...

– Что? – обернулся Воронцов.

– Я касательно ордена, – улынулся Марини.

– Да, да, – несколько рассеянно сказал граф, как бы отмахиваясь. И Казначееву с Бруновым: – Я думаю, следует отменить поездку Александра Сергеича. (Казначеев удивился, Брунов кивнул удовлетворительно.) Он слыш-



Не ищите (с) меня
Без нужды —

ком возбужден... Не наделал бы глупостей...

– А как вам пришелся медальон? – спросил Марини у графини.

– О, – сказала Воронцова раздраженно, – прелесть!

– Да, да, – сказал граф, подходя.

– Ваше сиятельство, – и Марини вдруг протянул ему гербовый лист.

– Что такое? – нахмурился Воронцов.

– Вы можете позабыть, ваше сиятельство, а я приготовил представление к награде, чтобы если вы вдруг сочтете... – сказал Марини полушутя, все так же улыбаясь...

– Да что вы, сударь, – в тон ему ответил Воронцов. – Здесь?.. Здесь не место для этого... нет, нет... – и повернулся к Пушкину: – А я прочел ваш... эээ... "Бахчисарайский фонтан"... Очень мило. (Сказал ласково, по-отечески.) Несколько поверхностно, но мило. (Александр Сергеевич поклонился.) Вы делаете успехи...

Елизавета Ксавьеревна готова была заплакать.

– Эта поэма, ваше сиятельство, – сказал Казначеев безнадежно, – сделала Александра Сергеевича еще более известным нашим поэтом...

– Еще более известным в узких кругах, – пошутил граф. – Не обольщайтесь, Александр Сергеевич, признанием друзей... – Он вдруг осекся. Пушкин так смотрел на него, что продолжать было невозможно.

– ...Это оскорбительнее, чем оплеуха, – сказал Пушкин Вере Федоровне. – Так пользоваться безвыходностью!

Они стояли над обрывом у моря. Накра-

пывал дождь. Экипаж маячил невдалеке.

– Все кончено, – сказал Александр Сергеевич. – Я должен сгнить здесь... Все как сговорились. Отец холоден, как зима. Граф вцепился в мою глотку и не выпускает... Скука, дождь... Сапоги вон рваные – денег нет... За "Цыган" я получил гроши... Где они? – Он ткнул в сторону моря. – А оно как насмешка!.. Близок локоть, да не укусишь... – И вдруг улыбнулся таинственно: – А если ударить? Туда... Сесть на корабль и ударить?..

– Вы сошли с ума, – сказала она со страхом.

Он вдруг расхохотался.

– Вы меня за безумца сочли?

Она обрадовалась, что хандра оставила его.

– А вы смогли бы до того вон паруса доплыть? – спросил он просто. – А я смог бы... – И вдруг потускнел снова: – Ах, княгиня, уж если что мне в голову пришло и уж если обстоятельства меня вынуждают, я не успокоюсь ведь...

– Я знаю, – тихо сказала она. – Возьмите себя в руки.

– Невыразимо мне свобода нужна! Вы этого все не понимаете. (Она посмотрела на него с укором.) Вы думаете, можно приспособиться... Нет, душа моя, не можно, не можно!.. Я плесенью покрываться стал... Завтра меня в солдаты отдадут, шомполами забьют, дегтем вымажут... Им все можно!

– Но ведь они тоже живут по законам общества. Им тоже не все позволено...

– Душа моя!.. Да что за законы-то!.. – вдруг спросил сурово и грустно: – Вы будете вспоминать меня?

Она всплеснула руками.



Джордж Гордон Байрон

– Деньги, деньги! – кричал Александр Сергеич.

Ассигнации разного достоинства лете-ли по комнате. Он хватал их и подбрасывал, хватал и подбрасывал.

А Никита ползал по полу, собирая их, хватал на лету... Они увертывались, не давались в руки, махали мятыми крылышками. Их тоже охватило буйство.

– Деньги! – кричал Пушкин и смеялся. – Глядите, господин Козлов, деньги!.. Пусть батюшка теперь храбрится!.. Это за пот мой и кровь... Это мне за мои мучения!.. Это чтобы милостыню не просил...

– Да ну вас, – прохрипел с полу Никита.

Александр Сергеич уgomонился вдруг. Принялся считать. Отсчитал порядочную пачку...

– Раздайте, господин Козлов, всем заимодавцам... За книги, за пистолеты, за сапоги...

Он выхватил из оставшихся ассигнаций еще пачку, подбежал к окну, высунулся, внизу подремывали извозчики на козлах...

Александр Сергеич сунул деньги Никите, указал в окно. Никита мигом сообразил.

Александр Сергеич видел в окно, как он обходил извозчиков и раздавал деньги. Береза с умилением глядел на окно, кивал головой и что-то говорил. А Александр Сергеич пригрозил ему пальцем и рассмеялся: то-то, мол, а ты не верил...

Он пересчитал оставшиеся деньги. Разделил их пополам. Сказал Никите:

– Друзьям своим я был должен, господин Козлов?.. – и потряс одной половиной. – Теперь не буду...

Маленькая тощая пачка лежала на столе.

– А это, – сказал тихо, – угостим наших друзей... Вот так.

– Эко денег, – удивился Никита.

– А ты что думал? – засмеялся Александр Сергеич удовлетворенно... – Теперь ведь я их всех могу послать к чертям... И это за "Бахчисарайский фонтан", – сказал самому себе. – То ли еще за "Онегина" получу... – и засмеялся: – Жаль за эпиграммы не платят...

Никита повертел в руках остатки:

– Один пшик остался...

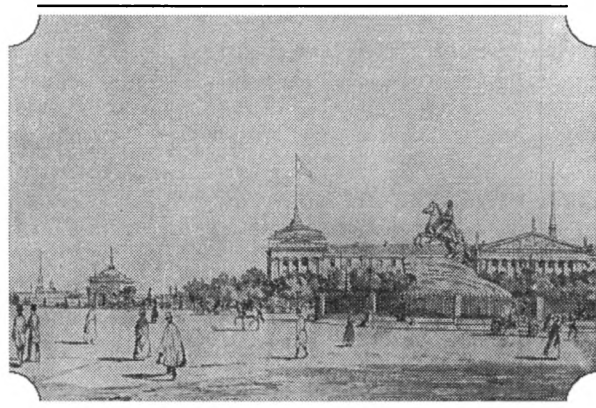
– А это не твое дело, – сказал Пушкин без энтузиазма.

– "...*Полуподлец...*" – читала Елизавета Ксаверьевна, – "*полукупец...*" – читала она цепеняя... – Нет, это не на вас, – сказала она тихо, не глядя на графа... – Это вообще...

Михаил Семенович стоял у окна, спиной к жене. Он молчал. Черный его силуэт был неподвижен.

– Наверное, мне не стоит быть нынче у Казначеевых... – сказала она.

Он не ответил. Стоял все так же неподвижно.



Петербург. Соборная площадь

В небольшом зале у Казначеевых звучала музыка.

Маленький оркестрик старался из последних сил, и капельмейстер походил на умирающую птицу, бьющуюся в конвульсиях.

В полутемной гостиной за картами сидели четверо: Пуш-

кин, Брунов, Собаньский, Гурьев.

– Не идет игра, вот черт! – сказал Александр Сергеич и бросил карты. Большой старинный перстень тускло вспыхнул у него на пальце.

Все посмотрели на Александра Сергеича.

– Да вы уж доиграйте, – попросил Гурьев.

– Не могу! – Пушкин встал. – Не идет... – Он посмотрел на Брунова. Тот сидел с вытянутым оскорбленным лицом. Вдруг Александр Сергеич весь напрягся, посмотрел в темноту поверх Брунова и низко поклонился на дверь:

– Добрый вечер, ваше сиятельство.

И тогда стремительно взвился в своем кресле Брунов, повернулся и поклонился низко-низко. И услышал idiotский смех Собаньского. Он поднял голову. Кланяться было некому.

– Как это понимать? – оскорбленно спросил Брунов у Пушкина.

– Обознался, – сказал Александр Сергеич не улыбаясь. – Обознался... А вам это зачтется...

И он пошел в зал.

– Что с ним? – сказал Гурьев.

– Истерика, – засмеялся Собаньский, поигрывая картами.

– Он все-таки слишком дурно воспитан, – сказал Брунов, вытирая лоб платочком...

Раевский сказал Туманскому:

– Наш сумасшедший пиит уговорил княгиню Вяземскую содействовать ему в побеге.

Он сказал об этом просто, как о воскресной прогулке.

– Тише вы, Бога ради, – возмутился Туманский, – это фантазии...

– ...и она не смогла ему отказать... Она любит его материнской любовью, – Раевский рассмеялся.

– Вы бы поговорили с ним, Александр Николаевич... Вдруг он и в самом деле... – сказал Туманский с ужасом.

– А мне ничего неизвестно, – снова засмеялся Раевский. – И потом это бесполезно... Разве вы не знаете? – И совсем равнодушно: – А может быть, так надо?.. Кто знает?..

Они увидели Александра Сергеича, про-

бравшегося по залу. Он, очевидно, кого-то искал. Досада была на его лице.

Леночка Бларамберг со страхом следила за ним.

Пушкин присел на диван. Взгляд его блуждал по залу. Большинство не обращали на него внимания. Но тут же какая-то дама не первой молодости подседа к нему и, грациозно, как ей казалось, прикрывшись веером, сказала:

– Александр Сергеич, душенька, вы бы прочли нам каламбурчик, пожалуйста!.. Ну хоть строчку...

– Помилуйте, – сказал Пушкин брезгливо. – Вы ошиблись... Какой я поэт...

– Да вы же пишете, – погрозила она пальцем.

– Пишу, – сказал он, – батюшке письма, чтобы денег прислал...

Она захохотала.

Он посмотрел на нее с досадой:

– А вам ведь не смешно...

Она умолкла и сидела не закрыв рта.

Леночка видела, как дама захохотала, потом смолкла.

Пушкин встал и снова пошел по залу. И опять словно кого-то искал, высматривал...

Леночка следила за ним с болью. Вдруг ей показалось, что он направился к ней. Она вся сжалась, но он и не взглянул на нее, остановился возле Раевского, повернулся к нему спиной, стоял и грыз ноготь.

В зале началось движение. Все собиравались вокруг Туманского.

Он читал стихи, но Леночке не было слышно слов. Потом все зааплодировали, и сияющий Туманский подошел к Александру Сергеичу.

– Им понравилось, – сказал, довольный. – Я думал, что неудача, ан нет... Это то, что я вам читал...



Рисунок Н. Кузьмина

– А графиня разве не обещалась быть? – спросил Пушкин.

– Нет, – сказал Туманский обиженно. – Что это вы такой сегодня?

– И Вяземской не видно, – сказал Пушкин.

Опять заиграл оркестр. Танцующие казались Александру Сергеичу куклами. И Туманский проплыл в паре с кем-то, и счастливая улыбка блуждала на его лице.

К Александру Сергеичу подошел Марини. Леночка видела, как неохотно отвечает Пушкин. Вдруг перед ней расщелкался каблуками офицер,

но она печально покачала головой, и офицер, поклонившись, исчез в толпе гостей.

– ...а разве поэту повредит орден? Ну хотя бы такой? – улыбнулся Марини.

– Орден-то не повредит... железка, – сказал Александр Сергеич. – А вот милость дающего... – и помолчал: – А вы попросите у графа, попросите...

– Я и то, – удивленно сказал Марини, – я его уже почти склонил...

– Что это? – вдруг встрепенулся Александр Сергеич. – Никак карета остановилась?

Марини прислушался.

– Что вы, – сказал он с недоумением. – Никого и нет...

И вдруг Леночка увидела, как Пушкин встал и решительно направился в ее сторону. Она заметалась, прижалась к стене.

– Леночка, – сказал он тихо. – Я прочел ваше письмо.

– Нет, нет, – крикнула она едва слышно.

– Не отпирайтесь... Ваша искренность безгранична... Но я не тот человек, Леночка, которому вы могли бы довериться... Она не скрывала слез.

– Все равно, – сказала она.

– О, со мной никто еще не говорил так возвышенно, как это сделали вы... Но остерегайтесь... я привыкну и тотчас разлюблю. Вы ангел... Вы заслуживаете лучшей

участи... Но у меня иной путь... теперь... дальний...

– Все равно, – сказала она, глотая слезы.

– Вы слышите меня? – спросил он участливо.

– Все равно, – вздохнула она, отвернувшись.

Он медленно, на носках пошел прочь. Оглянулся. Она стояла лицом к окну. За окном была ночь.

В зале прилежно танцевали. Александр Сергеич оглядел танцующих и вдруг вздрогнул. Вместо танцевальной музыки ему по-

слышалась медленная глухая барабанная дробь. Капельмейстер взмахивал руками в такт ей. И все в зале маршировали под нее: дамы, нелепо подобрав платья, мужчины по-солдатски.

Вокруг Пушкина деревянно перемещались фигуры со знакомыми лицами. Он засмеялся злорадно. Видение исчезло.

В закускойной у стола толпились гости.

– Всех, всех, – сказал Казначеев Брунову. – Саранча может распространиться ужасно... Всех следует послать по уездам...

– Какая галиматья! – шепотом ответил Брунов.

– Не скажите, батюшка... – Казначеев засмеялся. – И потом его сиятельство хочет иметь в руках факты послушания и деятельности... для наград, голубчик...

– В этом что-то есть, – засмеялся Брунов.

Гурьев подмигнул им и приложился к бокалу.

– Как все-таки хорошо! – сказал он, отдуваясь. – И это вино, и музыка... Господи Боже мой... А вот идет Александр Сергеич, который по молодости лет этого не ценит...

Пушкин подошел к столу. Он слышал сказанное Гурьевым, но отвечать не хотелось...

Через стол перед ним – Амалия Ризнич выговаривала что-то Собаньскому. Увидев

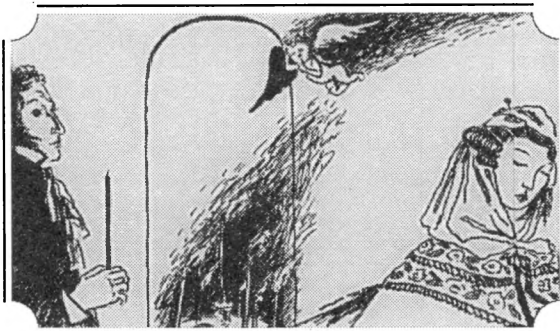


Рисунок Н. Потапоскино

том захлопнула шкатулку. А перстень положила в ящичек спальни тумбочки. Посмотрела на графа. Он писал. Она погасила свою свечу. Граф поднял голову. Улыбнулся ей устало. Она натянула одеяло до подбородка...

– Меня посылают бороться с саранчой, – сказал Александр Сергеевич совсем спокойно. – Я не понимаю смысла этой затеи, – он сказал это так спокойно, с такой легкой грустной усмешкой, что даже сам удивился, как это он может держать себя в руках. – Должен ли я воспринимать это всерьез?

Казначеев мял в пальцах бумажку. Собирался с духом.

– Александр Сергеевич, голубчик, – сказал, умоляюще сложив руки, – граф надеется отличить вас, к ордену представить... Он хочет вам добра...

– Но саранча-то при чем? – засмеялся Пушкин. – К ордену? – вдруг дошло до него. – А при чем саранча?..

– Так ведь нужно основание для представления, – вмешался Казначеев. Ему трудно было говорить.

– Безумие, – сказал Пушкин еще спокойнее... – Наградите меня за стихи, – и резко рассмеялся. – Граф унижить меня решил?..

– Господь с вами...

– Я не прощаю подобных насмешек, – сказал Александр Сергеевич. – Граф злоупотребляет моей безвыходностью...

Казначеев замахал на него руками.

– Я этого ничего не слышал, – сказал он тревожно.

Рассыпалась и смокла дробь.

Возок захлебывался в густой дорожной пыли. Александр Сергеевич поминутно отряхивался. Вокруг замерла степь. Был май, но свежей травы почти не видно было.

Старая лошадка тянулась из последних сил. Кучер дремал. Жаворонки переключались.

– Грех гонителям моим... – сказал Пушкин устало.

...Уже были поздние сумерки, когда возок остановился в степном селении, у постоялого двора.

– Распрягай, – сказал Александр Сергеевич и легко спрыгнул в пыль. – Заночуем... Спешить некуда.

Он огляделся. С возвышенности, где был расположен постоялый двор, виднелась тусклая полоска реки. Захотелось осветиться.

– Я в реку, – сказал Пушкин, – не поминай лихом...

И пошел.

– Господь с вами, – сказал кучер. – Куда на ночь-то глядя?

...Стало совсем темно. Пушкин проби-

рался почти на ощупь через кусты, изгороди... Он шел напролом и бубнил:

– Отличить!.. Ах, отличить?.. А чтобы отличить, надо заточить? Какая честь, подумать только!.. А вы, мои друзья, где же вы?.. Откликнитесь... Мне оказываются царские почести. И все-таки я готов променять их на радость свидания с вами... Где же вы? Где же вы?..

– Стой! – послышалось во тьме. – Кто идет?

– А черт! – сказал Александр Сергеевич споткнувшись и продолжил по-французски: – Какого черта от меня хотят?! Кто?.. Дайте, наконец, покоя!.. Я не обязан отчитываться перед всеми...

– Прошу прощения, – ответил голос по-французски. – Здесь расположены войска... Наступила пауза. Затрещали ветки. Чья-то тень качнулась навстречу.

– Прапорщик Щеглов, – сказал голос. – С кем имею честь, позвольте?

– Пушкин...

– Как Пушкин?.. – удивился прапорщик. – Что это, вы – Пушкин? Какой Пушкин?.. Александр Сергеевич? – добавил он тихо.



А. С. Пушкин

– Он, – сказал Пушкин.
– Позвольте, – сказал прапорщик, – да откуда же этому... Да как же так?..

– Отчего ж и не быть? – засмеялся Александр Сергеич. – Послушайте, окажите любезность, проводите до реки... Я с дороги... Весь в пыли...

– Позвольте, позвольте... – захлебываясь проговорил прапорщик и ринулся сквозь кусты куда-то прочь. – Минуточку, минуточку!..

– Братцы! – закричал он. – Господаааааа!

Потом стало тихо.

Вдруг неподалеку ахнула пушка, за ней – вторая, третья...

... *В*стреча затянулась. В большой бивачной палатке трубочный дым ходил волнами. Бутылка с вином, как часовой, вытянулась на шатком столике. Пили кто из чего. Офицеров набилось человек пятнадцать. Александр Сергеич без сюртука, в рубаше с распахнутым воротом сидел на почетном месте, на седле.

– И понесло же меня караулы проверять! – в который раз с восторгом проговорил прапорщик Щеглов.

– Ну, батюшка, – сказал Пушкину молодой майор, – выпейте винца еще... Вы нам праздник устроили...

– А Жаев все так и сидит в каталажке? – спросил Щеглов.

Пушкин кивнул.

– Не понимаю я этого, – сказал Щеглов. – Разжаловать в солдаты дворянина?

Все стали вдруг громко разговаривать. Тени заметались как безумные...

– Какая ужасная месть, – крикнул молоденький прапорщик. – Послать на саранчу!.. – Он поймал комара и засмеялся: – А вот мы ему саранчу! Верно, Александр Сергеич?

– Я знал Жаева, – раздалось из темного угла. Офицеры раздвинулись. Высокий капитан поднялся со своего места. Был он красив, угрюм, двигался резко. – Он был мужественный человек... Он знал, на что шел. Кто-то из своих предал его. Это уж точно. Каналья!.. – И он оглядел всех присутствующих, словно искал среди них предателя.

Прапорщик снова поймал комара:

– А вот мы вашему графу саранчу!

Все засмеялись невесело.

– Да пейте вы, батюшка, – ласково сказал майор Пушкину и строго остальным: – Пейте, черти, в честь гостя!

– Ура! – крикнул кто-то.

В распахнутую дверь врывался рассвет.

– Александр Сергеич, – сказал кто-то, – вы бы прочли нам чего-нибудь...

И сразу стало тихо. Пушкин замотал головой.

...Лемносский бог тебя сковал...

– раздалось в тишине. Все снова обернулись в угол. Красивый капитан читал "Кинжал". Лицо его исказилось, стало страшным. Каждое слово он произносил с неистовым и неприкрытым смыслом. Все замерли. У Александра Сергеича слеза бежала по щеке.

... *В*озок тащился по степи.

Вдруг за спиной своей Александр Сергеич услышал приближающуюся дробь лошадиных копыт.

Он обернулся. Такой же, как у него, возок, но запряженный парой сильных рысаков, стремительно приближался. Пыль летела клубами из-под копыт коней.

Александр Сергеич даже привстал от любопытства и вдруг обмер: в приближавшемся возке, между двумя жандармами, в солдатской шинели, наброшенной на плечи, в фуражке солдатской, сидел Жаев, бледный как смерть. Он вдруг поднял голову. Взгляды их встретились.

– Гони! – крикнул Александр Сергеич.

Кучер испуганно стегнул лошаденку. Она взбрыкнула и пошла рысью. Возки поравнялись. Жандармы напряглись. Жаев попытался встать, но ему не дали.

– Гони! Гони! – кричал Пушкин.

Жандарм погрозил ему пальцем. Лошаденка оборвала рысь.

Жаев нашел в себе силы кивнуть Пушкину и улыбнулся, и его возок пронесся мимо.

Жандарм обернулся и поглядел на Пушкина. Александр Сергеич погрозил ему палкой.

– Поворачивай, – задыхаясь приказал

кучеру. – Обрато поедем!.. В Одессу... Хватит саранчи...

Лошаденка медленно повернула.

Он шагал по улицам Одессы. Город казался вымершим. Лишь изредка попадающиеся навстречу люди, казалось, крались вдоль домов. Чиновник просеменил, согнувшись в три погибели, старуха прошаркала шлепанцами, снова чиновник... И все смотрят мимо.

Александр Сергеич повернулся, пошел обратно. И снова чиновник, разносчик овощей... Мимо, мимо...

Вдруг он явственно увидел северный пейзаж, поляну, окруженную елями... Онегин с пистолетом шагнул вперед. Выстрелил, слегка поморщившись... Кто-то упал, закутанный в черный плащ... Лежал, неудобно скрючившись. Незнакомое лицо, совсем юное... Онегин бросил пистолет, пожал плечами. Александр Сергеич снова присмотрелся к лежащему. Ба, да ведь это он сам... И не на поляне, а на прибрежной гальке... Одна рука в волне... А Онегин уходит. Не Онегин. Раевский... Вдруг он увидел опять себя, но стоящего с пистолетом. Выстрел. И он упал. И снова ходил вокруг себя самого, лежащего в нелепой позе.

Вдруг из-за поворота выкатился Букин и столкнулся с Александром Сергеичем. И оторопел.

– Ну что? – спросил Пушкин, наслаждаясь замешательством жандарма.

– Что?

– Не устали вы, сударь, по пятам за мной ходить?

– Да что вы, Александр Сергеич, – заторопился Букин, – я навстречу шел...

Пушкин покачал головой.

– Стреляться с вами? Стыдно. Засме-

ют. С вами стреляться – позор... Может, палкой огреть?

– Как можно, господин Пушкин... – Букин откатнулся на всякий случай.

Александр Сергеич опустил палку.

– Нет, не буду. Палку потом не отмыть...

Букин хохотнул облегченно.

– Да и что толку убивать? – сказал Пушкин. – Другого найдут, еще похуже, а?

– Найдут-с, – согласился Букин. – А как же-с...

Александр Сергеич прошел мимо него, словно Букина и не было.

Жандарм постоял немного, потом, вздохнув, нехотя отправился следом.

Александр Сергеич зашел в губернскую канцелярию. Чиновники отворачивались. Он вышел на улицу. Навстречу шел Раевский.

– Как я рад тебя видеть! – сказал Пушкин со слезами на глазах. – Город словно вымер...

– Я слышал, ты бежать собрался? – спросил Раевский с участием. – Печально, печально... Ну что ж, прощай... – Он наклонился к Пушкину и продолжал доверительно и воодушевленно: – Здесь скажу... глупость... Поеду и я, пожалуй... Может, в Петербурге развеюсь...

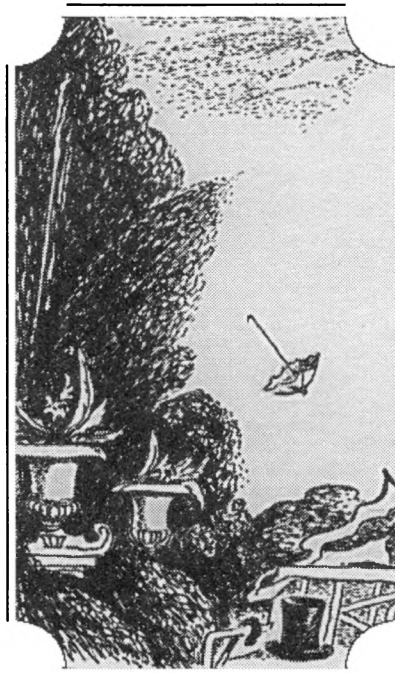


Рисунок Н. Парасюк.

Впустились сумерки.

Экипаж остановился над морем. Был он прекрасен. Не чета многим. Две лошади, серые в яблоках, били копытами.

Вера Федоровна торопливо выбралась из экипажа и глянула с обрыва. Маленькая фигурка Пушкина виднелась возле самого прибоя. Палка нетерпеливо расшвыривала гальку.

Вяземская устремилась вниз по тропинке. Сверху было видно, как она ступила на прибрежные камни.

Пушкин бросился ей навстречу.

– Завтра, – сказала она задыхаясь. – Завтра... Муж мне этого не простит... Но что я могу?

– Если он вдруг мне... – начал было Александр Сергеич, но она перебила его:

– Вас схватят! Это ужасно...

– Но вы же видите мое положение! – сказал он с отчаянием. – Я больше не принадлежу себе самому... Завтра! Он будет ждать меня, этот ваш капитаниска?

– Да, да... Завтра... – она увидела перстень на его руке.

– Завтра все общество отправляется...

– Я знаю, – сказал он.

– Вас не пригласили... Да теперь уж и все равно.

– Я знаю, – сказал он. – Теперь все кончено. Теперь только и остается, что распрощаться с этим постылым берегом!

Вдруг глаза его вспыхнули. Вяземская обернулась. Несколькo поодаль от них, прикрыв лицо темной вуалеткой, стояла графиня Елизавета Ксаверьевна.

– Прощайте, – сказала Вяземская. – Ну, прощайте, мой дорогой мальчик... Храни вас Бог.

Она поцеловала его в лоб и пошла по тропинке к экипажу.

Александр Сергеич шагнул к Воронцовой, и они медленно и молча отправились вдоль моря.

Яхта, белая как лебедь, скользила по зеленой воде на виду у Одессы. Все общество на палубе.

Елизавета Ксаверьевна стояла рядом с графом. Оба глядели на берег и молчали. Лицо графа было спокойно и прекрасно, и добрые складочки лежали возле глаз, и руки в белых перчатках неподвижно покоились на поручнях.

Вдруг голос Александра Сергеича явственно произнес: "Полумилорд... полукупец... полмудрец... полуневежда... полуподлец..."

Лицо графа не изменилось, только глаза слегка сузились...

Елизавета Ксаверьевна смотрела на горизонт... Там шевелился парус, теряясь в дымке...

И в сознании ее возникли голоса. Один

– Александра Сергеича, взволнованный и требовательный, другой – ее собственный, слабый и задыхающийся...

– Элиз, едемте со мной... Я буду вашим рабом.

– Рабом вы быть не сможете... Это не для вас... Не сможете... Даже после всего...

– Едемте со мной... Едемте со мной...

– Боже, вы в самом деле сумасшедший...

– Едемте со мной...

– Опомнитесь... Я же не маркитантка!

– Едемте со мной!..

– Он теперь далеко, – указала на парус Вяземская. – Он тоже в море... Может, это к счастью... Воронцова кивнула незаметно.

Вокруг Марини громко смеялись. Он чем-то смешил окруживших его дам, что-то рассказывал оживленно.

Пушкин лежал, уткнув лицо в подушку. Плечи его вздрагивали. В комнате был беспорядок: лежали узлы, баулы, большой кожаный портфель Александра Сергеича стоял на полу, прислоненный к ножке стола...



Рисунок Н. Потаповича



...В прихожей Никита сказал Лексу не очень приветливо:

– Барин не принимает... Он не в себе...

– Пошел прочь, – сказал Лекс сурово. – У меня поручение от его сиятельства.

И Никита отступил и распахнул дверь в комнату.

– Александр Сергеич, – позвал Лекс.

Пушкин поднял голову, узнал Лекса, утер слезы, подошел, обнял Михаила Ивановича.

– Ну будет, будет... Что это вы, как маленький, – сказал Лекс отворачиваясь.

– Все пропало, Михайло Иванович... Даже турки и те против меня...

Он посмотрел в окно. В квартире поляков окна были забиты.

– Какие турки?

– Морские, Михайло Иваныч... капитаны... Пройдохи!

– Да не пойму я, – сказал Лекс.

Пушкин махнул рукой.

– А у меня к вам поручение, – сказал Лекс. – От его сиятельства.

– Или мало ему саранчи? – спросил Пушкин зло.

– Надлежит вам к графу Гурьеву явиться, – сказал Лекс, не глядя на Пушкина. – Высочайшее повеление пришло на ваш счет...

Пушкин вскочил, сел, снова вскочил.

– Ага!.. Что ж они меня в солдаты хотят?!

– А может, вольная вам? – сказал Лекс, глядя в окно.

– Вольная? – Пушкин засмеялся презрительно. – Тогда сам Воронцов поторопился бы сообщить мне сие!.. Нет, Михайло Иваныч, дураков нет!

Пушкин шел по улице быстро. Бил палькой в пыль с неистовством. Лекс с трудом поспевал следом.

– Да ведь я иду с вами, голубчик... Не отказываюсь, не отказываюсь...

– Одному идти туда противно, – сказал Пушкин. – Уж вы меня там подождите, ладно? А то вдруг что-нибудь... Одному противно... Понимаете?

Александр Сергеич потоптался в прихожей Гурьева.

– Может, еще обойдется, – сказал Лекс, не глядя на него. – Увидит меня тут с вами – будет мне по первое число.

Пушкин сказал лакею, возникшему на пороге:

– Ступай, барину доложи.

Лакей был величественен, как лорд английский. И тощ. Ему у заплывшего жиром Гурьева служить – несоответствие. Но, словно опровергая это, губы его причмокивали, как у хозяина.

– Оне-с сейчас занятые, – прочмокал он.

– Иди, иди. Барин знает.

Лакей удалился торжественно.

Пушкин стал метаться по прихожей, словно раненая обезьяна.

– Обойдется, говорите?.. Да уж вот не обойдется... Я чувствую... Держи карман... Здешняя каторга слишком для меня хороша, Михайло Иваныч! Арестантов надо подальше... – и вдруг сник и сказал тихо: – Ах, грустно, Михайло Иваныч... Стар я становлюсь для экзекуций...

– Может, обойдется? – спросил Лекс, испуганно оглядываясь.

Вдруг снова выплыл лакей. Указал рукою на внутреннюю дверь:

– Их сиятельство на кухне-с... Просют туда пожаловать.

Александр Сергеич стремительно шел по коридору. Была не была!

В кухне было много солнца. Он даже зажмурился. После предчувствий горьких – вдруг столько солнца, и этот первобытный мир желудка! И окна, распахнутые в сад, в зелень...

Сам граф Гурьев в белом колпаке священнодействовал над чем-то. Огромный белый фартук располагался на его животе без единой складки. Лицо Гурьева было озарено улыбкой первооткрывателя.

Распаренная баба держала перед ним на блюде красивую убранный паштет. Мальчик, словно ординарец, застыл с поставцом в руках. В поставце были специи. Гурьев влюбленно прикасался к ним, посыпал ими паштет. Принюхивался... У бабы руки дрожали под блюдом. Мальчик облизывался украдкой.

“Слава Богу! – мелькнуло в голове у Александра Сергеича, – страхи были преувеличены...”

– А я тут крестника крещу, – прочмокал Гурьев с довольствием. – Простите, голубчик, ради Бога, руки подать не могу.

– Велено мне было к вам явиться, – сказал Александр Сергеич обескураженно.

– Ах, да успеется это... – запыхтел Гу-

рьев, – вы вот лучше мне скажите: отчего это прусские перцы так хороши? Ведь не чета нашим...

Угроза миновала. Стало легко.

– А вы, граф, вольнодумец...

Граф хмыкнул, погрозил пальцем:

– Вы, батенька, ступайте наверх пока...

А я сейчас и явлюсь.

– Кажется, и впрямь обойдется, – сказал Пушкин Лексу.

Лекс не ответил. Пушкин взлетел по лестнице.

Гурьев высился в кабинете за громадным своим столом и был похож на гору. Халат еще более усугублял его размеры. Фартук, правда, он успел снять.

– А вы садитесь, садитесь, – он переключив бумагу на столе, – разговор нам предстоит долгий...

Александр Сергеич погрузился в кресло и оттуда, внимательно вглядываясь в градоначальника, сказал:

– А кухарка у вас – баба живописная!

Гурьев порывался в бумагах, разложил их как-то там по-своему.

– Так вот, Александр Сергеич, предписанно вам покинуть Одессу... – и вздохнул.

Вдруг все оборвалось.

– Ах, вот как?... Значит, все-таки... – Оба долго молчали. – Ну что ж, в путь так в путь, – сказал Пушкин спокойно. – У меня ведь с детства охота к перемене мест... Страсть люблю новые места... А вы?

Гурьев видел, как у него исказилось лицо, как палка запрыгала в руке. Он, как кролик на удава, смотрел на эту палку. Вздыхнул снова:

– Да-с-с... То есть не совсем новые...

Предписано вам теперь в имение свое... в Михайловское...

– Что?!

Палка замерла. Гурьев слегка отклонился.

– Это невозможно... Там глушь... Это невозможно... За что же?

– Высочайшее повеление, Александр Сергеич, – сказал Гурьев. – Царская воля...

Он смотрел на Пушкина настороженно. Слава Богу, не вскочил. Даже улыбается. Это чтобы ваше сиятельство не рассказывали потом, как ему больно было!

– Ну ладно... К зиме, по первому снежку и тронусь, – сказал Пушкин крепясь.

Но граф приготовил удар:

– Предписано-то завтра, Александр Сергеич. Вот.

– То есть как завтра?! – но тут же взял себя в руки. – Они что, с ума посходили?! Я же не успею...

– Успеете, – отпарировал Гурьев. – До утра ведь день целый... А я вам человека могу прислать – чемоданы увязывать, то да се...

– Ну хорошо, – усмехнулся Александр Сергеич, – а документы?

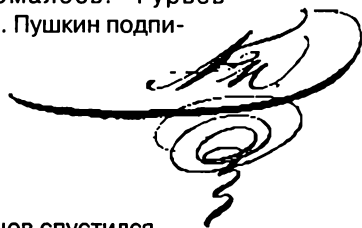
– А вот они, – и пухлая рука Гурьева протянула бумаги. – Все готово, чтобы не задерживать вас...

– Но ведь не бумагами же мне расплачиваться в дороге, ваше сиятельство... У меня ведь... – и похлопал себя по карманам.

Но Гурьев был опытным дуэлянтом. Он тотчас выложил из ящика на стол небольшую пачку ассигнаций и осторожно стал пододвигать к Пушкину, вместе с листом бумаги.

– А вот они... Вы мне только распишитесь вот тут...

Пушкин медленно поднес перо к бумаге. Перо сломалось. Гурьев протянул второе. Пушкин подписал. Швырнул перо. Встал. Гурьев слегка поклонился.



Граф Воронцов спустился на нижнюю палубу. Подальше от шума и суеты. Здесь было пустынно и тихо. Слышалось журчание воды за кормой. И вдруг голос Пушкина возник в сознании: “Полумилорд, полукупец...”

Незаметно подошел Марини. Воронцов нахмурился, но на поклон ответил.

– Устали, ваше сиятельство?

– Да, несколько...

– Ваше сиятельство... – и Марини, словно волшебник, извлек откуда-то из-за спины белый лист с представлением, – подпишите, ваше сиятельство.

Воронцов растерялся. Он даже не смог скрыть этого.

– Да чем же я тут подпишу? – огляделся беспомощно.

Марини подсунил ему чернильницу и перо.

– Осчастливьте, ваше сиятельство...

– Ну хорошо, хорошо, давайте, – сказал граф устало. Повертел перо в руках. – Да на чем же писать?.. Что это вы, сударь, все выдумываете...

– А вот, ваше сиятельство, – и Марини ловко нагнулся и подставил собственную спину. – Чем не походный столик?

Воронцов рассмеялся, поморщился. Провел пером по бумаге...

С верхней палубы доносилась музыка.

Пушкин сказал Гурьеву:

– Почему это я по своему вкусу жить не должен?

– А потому, Александр Сергеич, милушка, – облегченно пропыхтел Гурьев, – что уж больно вы с обществом не считаетесь... Это вам не так, да то не эдак... А ведь нельзя-с... Не справитесь...

– Грех гонителям моим, – сказал Пушкин от дверей. – А вы, граф, кстати, не так просты, как хотите казаться... Вы большой ловкач, ваше сиятельство...

Он сбежал по лестнице:

– Скрутили они меня!.. Скрутили!..

В прихожей никого не было.

– Михайло Иваныч! – позвал он. Никто не откликнулся. Он распахнул дверь. Солнце ударило в глаза. Шумел платан.

– Михайло Иваныч!

Перед домом никого не было.

Он двинулся за угол в растерянности. Вдруг перед ним возник Онегин. Такой же, как всегда. Почти реальный.

– Мне чертовски не везет, мсье, – сказал Пушкин. – Я проигрался, представьте... Не продолжить ли?

Онегин глядел без улыбки.

– А какой смысл? – вдруг сказал он, разведя руками, и исчез.

– Э-э, мсье, – засмеялся Пушкин горько, – я не могу иначе...

*В*озок тащился по пыльному тракту. Александр Сергеич забился в угол и глядел

оттуда на дорогу. Навстречу тяжело шагла колонна солдат...

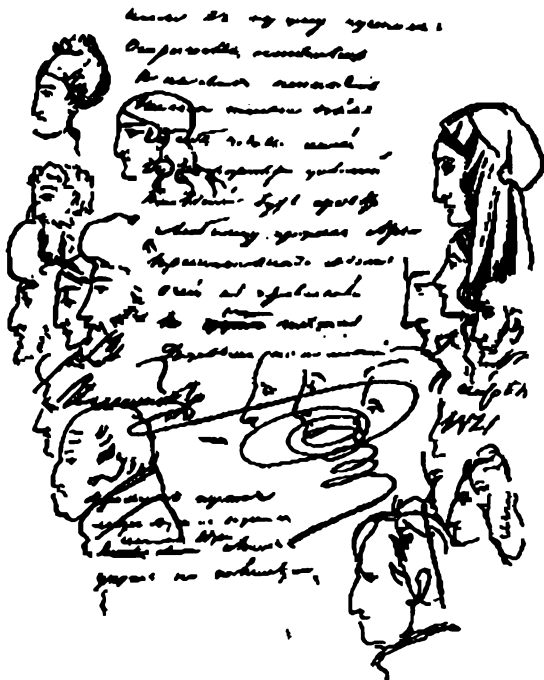
Никита покачивался на баулах и мельком взглядывал на барина: каков он?

Вдруг от колонны отделился офицер и неуклюже кинулся к возку. Он кричал что-то и размахивал руками. Возок остановился. И Александр Сергеич узнал пехотного капитана.

– В дальнюю дорогу? – спросил капитан дрогнувшим голосом. И заторопился вдруг: – Вы, Александр Сергеич, батюшка, на меня не злитесь... И у меня на вас обиды нет... Я ведь в литературе этой не очень... Но друзья-то ваши о вас много весьма лестного говорили... Наверное, думаю, есть резон... Уж если такие люди...

Александр Сергеич взволновался и ничего никак ответить не мог, все пытался, да не мог...

– Господина Жаева схватили... Вас гонют Бог весть за что... – сказал капитан. – Что же это такое?.. Прощайте, прощайте, – сказал он птясь. – Даст Бог свидимся... – и, поворотившись, медленно затрусил догонять колонну.



В оформлении использованы рисунки А.С.Пушкина, гравюры и портреты XIX века, рисунки Н.Кузьмина и Н.Пархоменко.



ПИТЕР КОНТРАКТ

Библиотека. День.

Музыка предыдущего эпизода продолжается под сурдинку. Эта сцена напоминает заключительный эпизод пролога.

Мистер Нэвилл (повторяя за ней).
...И исполнять все ее требования, которые могли бы доставить ей удовольствие.



В полумраке кабинета, освещенного единственной свечой, оставляющей стены комнаты в темноте, собрались миссис Тэлманн, мистер Ноиз, мистер Нэвилл, чтобы подписать контракт. Сумеречная атмосфера.

Миссис Тэлманн. ...И исполнять все ее требования, которые могли бы доставить ей удовольствие.

Вторая серия рисунков – с 7 до 9 часов утра. Седьмой рисунок. День.

На заднем плане – фасад дома. Справа – дорожка, посыпанная гравием, с обелисками по сторонам, ведущая через ров. Посередине дорожки – кресло с высокой спинкой и визирная рамка. Музыка.

Комментарий (за кадром). Для рисунка номер 7: от семи до девяти часов утра

Окончание. Начало см. №3, 1995 г.

ГРИНУЭЙ

РИСОВАЛЬЩИКА

весь участок перед домом должен быть свободен от членов семьи, прислуги, лошадей и экипажей.

С 9 до 11 часов утра. Восьмой рисунок. Купальня. День.

Здание купальни, скаты крыши, двери в тени. Справа, на зеленом газоне – визир и папка для рисунков на подставке. Музыка.

Комментарий (за кадром). Для рисунка номер 8: от девяти до одиннадцати часов утра участок парка перед зданием купальни должен быть свободен. Не должно разводиться огонь в печах, дым из коих выходит через трубу купальни.

С 11 до 13 часов. Девятый рисунок. Тисовая аллея. День.

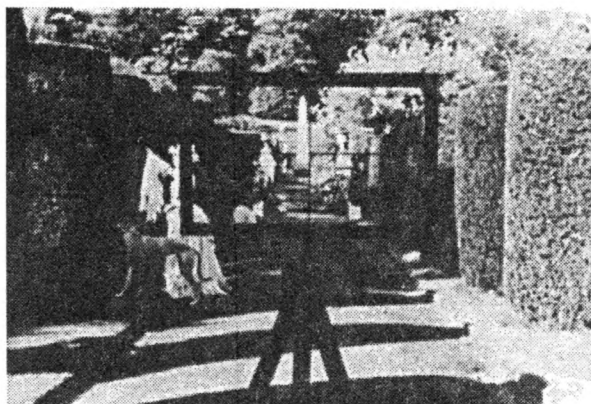
Зеленый газон, обсаженный с обеих сторон стриженными тисами, с обелиском вдали, по центру аллеи. На переднем плане визирная рамка. Слева, вдали, меж двух стриженных кустов появляется миссис Тэлманн с левреткой. Она пересекает аллею и исчезает за кустами, оставив с края на траве свой кружевной зонтик.

Нэвилл перед визирной рамкой наблюдает за разворачивающейся сценой.

Миссис Тэлманн с собакой на поводке появляется несколько ближе. Она небрежно роняет на газон пару белых предметов туалета.

Комментарий (за кадром). От одиннадцати часов утра до часу пополудни тисовая аллея в цент-

ре нижнего парка должна быть свободна от всех членов семьи мистера Герберта, домашней прислуги и животных.



Миссис Тэлманн исчезает меж двух кустов и появляется ближе, цепляет на куст свой длинный шарф и снова пересекает аллею.

Нэвилл следит за ней со все возрастающим интересом.

Едва начатый девятый рисунок: тисовая аллея.

Тисовая аллея, как на рисунке. Миссис



Тэлманн появляется еще ближе, волоча за собой свое платье. Она бросает его, глядя прямо на нас в визирную рамку.

Миссис Тэлманн. Пора, мистер Нэвилл.

С 2 до 4 часов пополудни. Десятый рисунок. Пастбище. День.

Вид через визирную рамку с домом вдалеке. Пение птиц.

Комментарий (за кадром). От двух до четырех часов пополудни участок за домом и пастбище с восточной стороны должны быть свободны от всех членов семьи, слуг и крестьян.

Музыка. Облака, проплывающие перед солнцем, бросают тени на изумрудно-зеленую траву; вот дом выходит из тени, за ним освещается лужайка, а вот и визир попадает на солнце. Конец музыки.

*Кабинет.
День.*

Комната погружена в полумрак; на полках – странные предметы, черепа, точеные деревянные фигурки, книги и т. п. На стенах – картины. Миссис Герберт сидит на стуле. Кружево убора свисает ей на лицо. Нэвилл снимает со стены картину Януария Зика

“Дань уважения Исааку Ньютону”. Лучи света, проникая сквозь закрытые жалюзи, полосами ложатся на стены

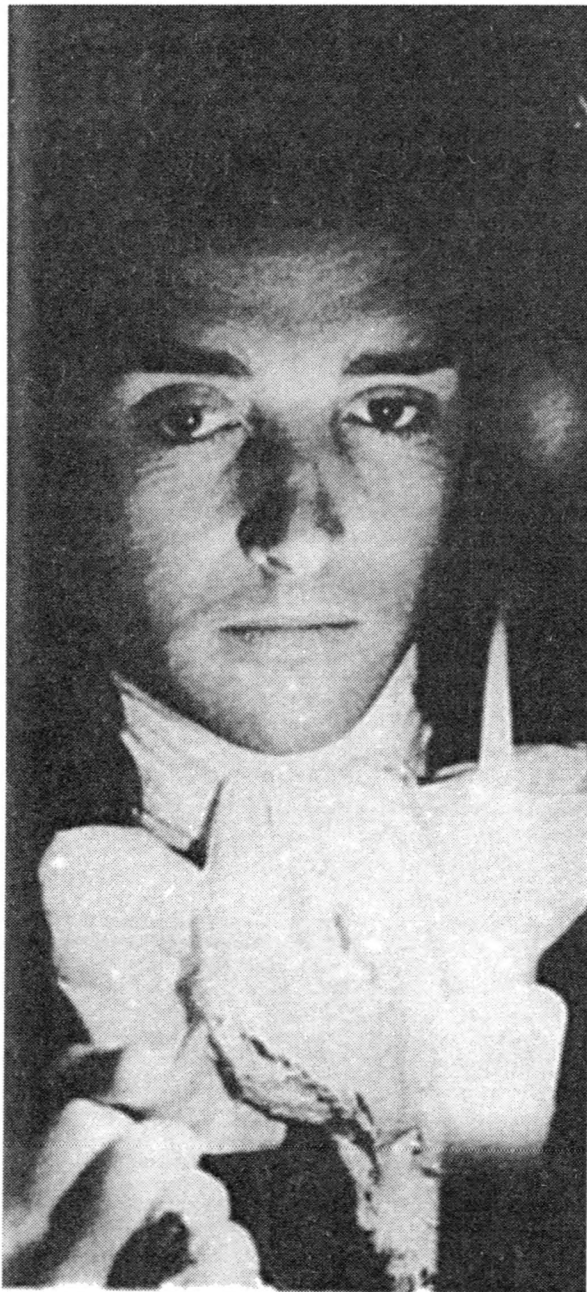
Мистер Нэвилл (в одной рубашке, держа картину). Пригласить вас сюда меня побудила вот эта картина, которую я нашел в доме. (Он ставит ее на стул.) Мадам, встаньте, пожалуйста. (Она оборачивается к нему. Он говорит шепотом.) Она вас не

интригует? (Он садится на канapé.)

Миссис Герберт (бесцветным голосом). Признаться, я не обращала на нее внимания.

Он хлопает по софе рядом с собой; она садится спиной к нам. Он начинает расшнуровывать лиф ее платья.

Мистер Нэвилл. У вашего супруга на удивление эксцентричный и эклектичный вкус. В то время как большинство его предков довольствовалось собиранием портретов, по большей части, своих достопочтенных родичей, мистер Герберт, видимо, собирает все что угодно. (Аллегорическое полотно; тихая музыка.) Возможно, у него есть своя оптическая теория. (Фрагмент картины – молодой человек ободдряющим жестом кладет руку на плечо девуш-



ки; оба одеты в духе классицизма.) Может быть, ему нравится наблюдать мучения любовников... (Другая деталь: солнечные часы.) ...или смотреть, как течет время. (Картина в целом. Сцена просто непонятна для непосвященных: старик уводит молодого человека в нижний правый угол; какой-то гном стоит в дверях в центре полотна, а в нижней половине молодой человек покоряет сатира, ставя ногу ему на живот с видом победителя.) Что вы думаете об этом? (Нэвилл и миссис Герберт на софе. Он берет ножницы и разрезает ее шнуровку.) Вероятно, мадам, он питает слабость – и тут я целиком на его стороне – к изысканности рисунка. Как вы думаете, почему ваш супруг решил купить ее?

Миссис Герберт. На ней изображен парк, очевидно, поэтому.

Мистер Нэвилл. Конечно, конечно, а что же события на картине? (Фрагмент картины: старик, уводящий юношу, и старый гном в дверях.) Давайте рассмотрим полотно вместе. Вы не видите, мадам... (Молодой человек ставит ногу на лежащего на траве сатира, гном стоит в проеме дверей.) ...связного сюжета в этих, на первый взгляд, разрозненных эпизодах? В этом перенаселенном парке разыгрывается какая-то драма. (Миссис Герберт, с обнаженной спиной, сидит опустив голову. Он заглядывает ей в лицо.) В чем здесь интрига? Вам не кажется, что персонажи хотят нам что-то сказать? Не знаете, мадам, ваша дочь... (Он начинает поглаживать ей спину.) ...не проявляла интереса к этому полотну? Мадам, (Деталь картины: солнечные часы.) ...вы могли бы определить время года? Мадам, у вас есть какое-нибудь мнение? (Тучный сатир держит в руке маску. Громкая ироническая музыка.) Какие измены здесь изображены? (Картина целиком.) Вы не думаете, что здесь скоро произойдет убийство?

Поля. День.

Туман. Слуга в ливрее ведет в поводу белую лошадь. Та же музыка.

Звуковая связка:

Миссис Тэлманн (за кадром). Вы не слышали: была найдена лошадь, недалеко от Страйда...

Купальня. День.

Интерьер купальни: помещение залито мягким прохладным голубоватым светом, затянуто белыми простынями. Миссис Тэлманн в белом платье поднимается на ступеньку, ведущую на возвышение, на котором стоит ванна, тоже затянутая белым полотном, которое кажется синеватым в этом скупом освещении. Нэвилл в черном парике и шляпе с широкими полями садится на переднем плане, спиной к нам.

Миссис Тэлманн (продолжая). ...В трех милях от дороги, ведущей в Саутгемптон. Я останусь в одежде, мистер Нэвилл, а вы – нет. Мистер Кларк говорит, что с лошадью жестоко обращались. (Она поднимается и отводит простыню, чтобы выглянуть наружу.)

Мистер Нэвилл. Можно сказать... (Крыша купальни. В окне башенки появляется миссис Тэлманн.) ...все дороги ведут в Саутгемптон, если путешествующий верхом изобретателен. Я слышал, одна лошадь самостоятельно добралась до Дувра и попала на корабль, везший сено в Кале. Французы, мадам, к лошадям относятся плохо. (Нэвилл снимает штаны и садится, чтобы расстегнуть их под коленом.) Они их едят. Вашу лошадь не пытались съесть, мадам? Можно мне остаться в шляпе?

Перед купальней: на первом плане – стул, папка с рисунками и другие принадлежности, на заднем плане – над изгородью видна крыша купальни с башенкой.

Миссис Тэлманн (за кадром). Ваше кресло отсюда кажется таким невзрачным, мистер Нэвилл.



Мистер Нэвилл (за кадром). Какие же важные выводы мы можем сделать, мадам... (Возврат в купальню.) ...из того, что раненая лошадь вашего батюшки оказалась на дороге в Саутгемптон?

Он встает, расстегивает подштаники, снова садится, чтобы снять белые чулки, и снова поднимается и стягивает с себя подштаники.

Миссис Тэлманн (все еще глядя наружу). Первый вывод заключается в том, что ей нечего там делать без батюшки, и вообще почему она ранена и что означает это для батюшки?

Мистер Нэвилл. А второй вывод, без сомнения, имеет отношение ко мне, ибо неоседланная лошадь оказалась сегодня на моем рисунке. (С голой задницей, но в парике и шляпе, он забирается в ванну, обложенную белыми простынями, и садится на край.) Миссис Тэлманн, почему бы вам не отойти от окна и не залезть в ванну? Не беспокойтесь, ваше превосходство не будет нарушено. (Соскальзывает в ванну.) Мне все равно придется смотреть на вас снизу вверх. (Она смотрит на него, присев на ступеньках возвышения.) Раз уж я потратил драгоценное время, чтобы налить в эту ванну немного воды...

слуга прогуливает на поводу лошадь перед домом, трое других, среди которых Филип, находятся вдалеке.

Мистер Нэвилл. У вас любопытная родинка, миссис Герберт, черная, как крот, и в идеальном месте.

Нэвилл сидит, наклонившись вперед. За ним окно с белыми шторами. На окне с частым переплетом висит клетка с птицей. Ставни окна открыты. На подоконнике стоит букет цветов.

Мистер Нэвилл (продолжая). Ваш садовник не истребляет кротов?

Миссис Герберт. Нет, он говорит, что кроты приносят удачу и победу над врагом.

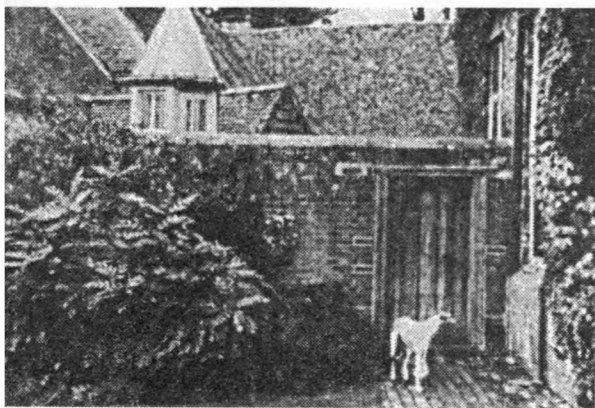
Мистер Нэвилл. Но ведь они повреждают ноги лошадям.

Миссис Герберт. Мистера Порринджера невозможно заставить ловить кротов.

Мистер Нэвилл. Интересный человек и идеально подходит для этого.

Миссис Герберт. Для чего?

Мистер Нэвилл. Ну, для того, чтобы заставить хромать... (Он поднимает ее обнаженную ногу и склоняется над ней.) ...прекрасную белую лошадь из Саутгемптона.



Купальня с башенкой на крыше; дверь купальни в стене, увитой диким виноградом, открывается. Наружу выставляется левретка. Музыка. Собака скулит под дверью.

Мистер Нэвилл (продолжая). ...быть может, вы разделите ее со мной?

Комната миссис Герберт. День.

Вид из окна комнаты миссис Герберт:



Вид из окна комнаты миссис Герберт: человек в красных штанах – мистер Порринджер – подошел к слуге, держащему лошадь, и смотрит на нее. Филип стоит рядом с барьером вместе с двумя сборщиками колосьев.

Миссис Герберт (за кадром). Вам нечего бояться мистера Порринджера, мистер Нэвилл.

Комната. Нэвилл склонился над бедром миссис Герберт.

Миссис Герберт (продолжая). Он наблюдает за вами для собственного удовольствия.

Мистер Нэвилл (выпрямляясь и сбрасывая ногу миссис Герберт, закинутую ему на плечо). Так же, как и я за вами, мадам. Тем не менее вы на удивление рьяно защищаете своего садовника. Но не вы, мадам...

Вид из окна. Два человека уводят лошадей. Они исчезают за углом здания.

Мистер Нэвилл (продолжая за кадром). ...А его штаны служат ему лучшей защитой. Человека в красных штанах вряд ли можно принять за коварного заговорщика, мадам. В отличие от того, другого глупца, который притворяется статуей, когда этого меньше всего ожидаешь.

Второй день – с 7 до 9 часов утра. Седьмой рисунок. Перед домом. День.

Фасад дома, перед ним аллея обелисков, на переднем плане – кресло и визирная рамка. Нэвилл стоит слева в большой шляпе на черном парике. Он хлопывает себя по ноге длинной тростью.



С 2 до 4 часов пополудни. Десятый рисунок. Пастбище. День.

Миссис Тэлманн и Нэвилл сидят на скамье с подлокотниками под деревом, на краю пастбища. Нэвилл воткнул трость в траву рядом с визирной рамкой. Тихая музыка.

Миссис Тэлманн. Вдали от дома, ми-

стер Нэвилл, я... я чувствую, что начинаю меньше значить.

Мистер Нэвилл. Мадам, по-моему, то, что имеет значение, не может уменьшиться.

Миссис Тэлманн. Вашу значимость, мистер Нэвилл, можно приписать в равной степени и наивности, и самонадеянности.

Мистер Нэвилл. Хм, вы-то можете безнаказанно пользоваться и тем, и другим, миссис Тэлманн. (Они сидят рядом, он машинально поигрывает ножом из слоновой кости.) Но эти качества не симметричны и весят по-разному. Как вы думаете, что тяжелее, миссис Тэлманн?

Миссис Тэлманн. От вашей наивности, мистер Нэвилл, всегда становится жутко, поэтому я выбираю... (Пастбище, вдали строения, слева огромное дерево.) ...правую чашу весов.

Мистер Нэвилл. Мадам, ваша приверженность правоте достойна восхищения. Конец музыки.

Спальня Тэлманнов. День.

Миссис и мистер Тэлманн сидят на краю кровати.

Мистер Тэлманн (смахивая пылинку со своего белого костюма тыльной стороной

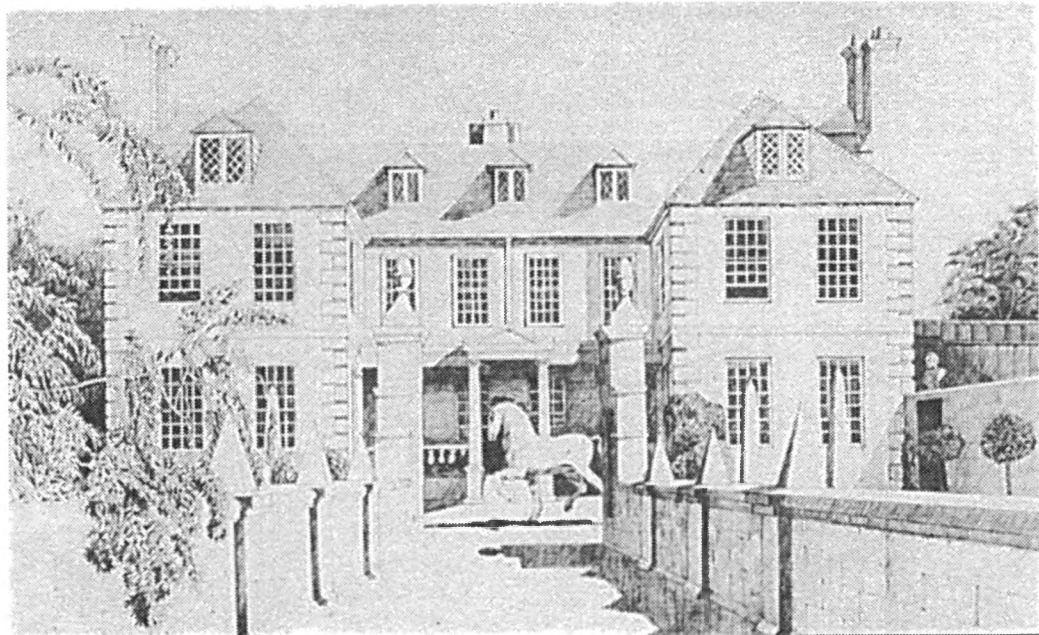


руки). Вы проводите слишком много времени с мистером Нэвиллом.

Миссис Тэлманн (играя кольцами). Ну и что же?

Мистер Тэлманн. Этот человек – плебей. Он ест, как бродяга, и одевается, как цирюльник.

Миссис Тэлманн. Вот так комплименты! Думаю, они бы его позабавили.



Мистер Тэлманн (подтягивая манжеты). А что до его слуги – то он похож на ходячую кудель с большими ногами.

Миссис Тэлманн (со смехом). Разве вы не считаете мистера Нэвилла человеком искусным?

Мистер Тэлманн. В чем? В чем, мадам? (Молчание.) Мадам, я расцениваю ваше молчание как издевательство.

Миссис Тэлманн (глядя на него). А с чего бы, сэр, мне над вами издеваться?

Мистер Тэлманн (возмущенно). Чтобы разозлить меня и заставить думать, что в ваших словах кроется нечто большее, чем просто похвала искусству мистера Нэвилла.

Миссис Тэлманн (не глядя на него, но непринужденно). Изошренность речи делает вам честь, Луи, но вы сильно преувеличиваете характер моих отношений, которые могли бы быть у меня с мистером Нэвиллом, а они на самом деле очень просты – он всего лишь матушкин наемный слуга, связанный контрактом. И все. Матушка просила меня проследить за исполнением условий контракта.

Мистер Тэлманн. Неужели ваше участие так необходимо?

Миссис Тэлманн. Хотя мистер Нэвилл не лишен способностей, он не столь умен, да и не столь талантлив, как ему кажется.

Вы это заметили с самого начала, Луи, правда, скорее благодаря своей неприязни к нему, нежели наблюдательности.

Перед домом – 7 часов вечера.

Рисунок купальни. Музыка.

Рисунок парадного парка.

Рисунок сохнущих перед прачечной простыней.

Рисунок – вид с холма с фигурой “мистера Герберта”.

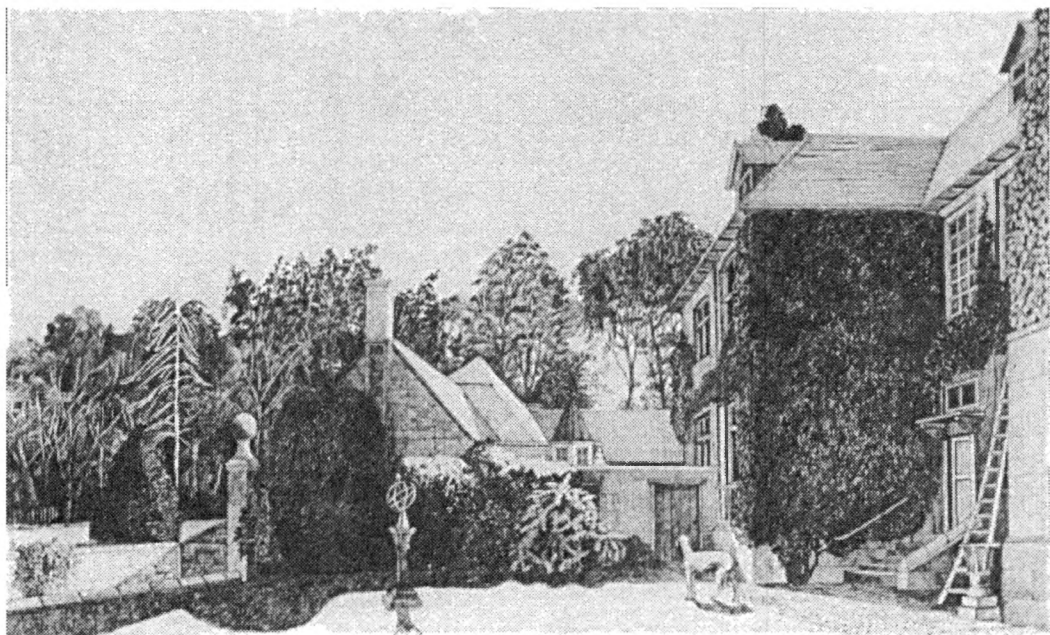
Рисунок со статуей Гермеса.

Терраса перед домом; все в сборе в ожидании возвращения мистера Герберта. Женщины сидят на канапе. Мужчины беседуют. Нэвилл разговаривает с мистером Сеймуром и мистером Тэлманном. На заднем плане двое слуг.

Миссис Тэлманн. Насколько я понимаю, вы сегодня покидаете нас, мистер Нэвилл.

Мистер Нэвилл (оборачиваясь к ней). С позволения миссис Герберт, я уеду после возвращения мистера Герберта и после того, как он выскажет свое мнение о рисунках. Если мой слуга достанет экипаж, я уеду завтра утром.

Мистер Тэлманн (стоя слева). И должен сказать, мистер Нэвилл, чем скорее, тем лучше, что вы, несомненно, и ожидали услышать от меня.



Сидящая справа миссис Герберт подносит к губам миниатюрную рюмочку с ликером.

Мистер Нэвилл. Я, сэр, уже имел честь узнать ваше суждение о рисовании, садоводстве... (Он поворачивается влево, как бы приглашая весь парк в свидетели. Открытые въездные ворота; живая статуя в плаще такого же бронзового цвета, как и ее тело, перелезает через парапет над рвом, перепрыгивает через небольшую пирамиду.) ...римско-католической церкви, деторождении, месте женщин в жизни английского общества, истории и политике Любека, дрессировке собак. (Нэвилл заходит за канапе и опирается на его спинку между сидящими дамами.) Поэтому я вполне мог предугадать ваше мнение о моем отъезде.

Мистер Тэлманн. В Рэдстоке вы ожидаете встретить такой же радушный прием?

Мистер Нэвилл. Мистер Тэлманн... ("Статуя" карабкается на правый столб ворот.) ...сэр, в доме миссис Герберт меня принимали с радушием, о котором я мог только мечтать.

Рисунок конной статуи перед фасадом дома; с обеих сторон столбы ворот. Музыкальное крещендо.

Рисунок купальни с левреткой под дверью.

Рисунок тисовой аллеи со скомканным платьем миссис Тэлманн на земле, ее шарфом и зонтиком.

Рисунок пастбища с огромным деревом слева.

Новый рисунок: справа – дом, слева – деревья.

Рисунок фасада дома со стороны рвов.

Мистер Сеймур (за кадром). Ваши рисунки полны неожиданных наблюдений, мистер Нэвилл... (На террасе: мистер Сеймур, стоя, указывает сидящему слева Нэвиллу концом трости на рисунок. Тэлманн стоит к ним спиной. Рядом стул, украшенный цветами.) ...и когда смотришь на них, кажется, будто в них заключена какая-то сложная аллегория. Вы уверены, что эта лестница была там?

Мистер Нэвилл. Абсолютно.

Мистер Сеймур. А это что? Похоже... (Склоняется над рисунком.)

Мистер Нэвилл. Что бы это ни было, оно было там. Миссис Тэлманн может подтвердить.

Мистер Тэлманн (слегка оборачиваясь к ним). Как моя жена может это подтвердить?

Миссис Тэлманн. Мне думается, мистер Нэвилл слишком обобщает. (Голова живой статуи, подслушивающей беседу.) Однако я могу подтвердить, что лестница

действительно стоит под окном батюшкиного кабинета.

Мистер Сеймур (указывая на рисунок пальцем). Совершенно верно, мадам. Вы это знаете наверное.

Мистер Нэвилл (плоско). Как будто, мадам, вы сами ее туда поставили. Вы это хотите сказать?

Оба смотрят на него.

Решетка ворот, на правом столбе сидит живая статуя. Подходит Кларк, слуга мистера Герберта.

Миссис Тэлманн. Мистер Нэвилл, если бы у меня и возникло такое желание, я бы все равно не смогла бы ее поднять. Для этого потребовались бы усилия двух мужчин.

Мистер Кларк больно шлепает зажатой в руке шляпой сидящего на столбе чело-века-статую; тот испускает крик.

Группа смотрит...

...как мистер Кларк прогоняет "статую", которая соскакивает на землю.

Мистер Кларк. Стой! Прочь отсюда!

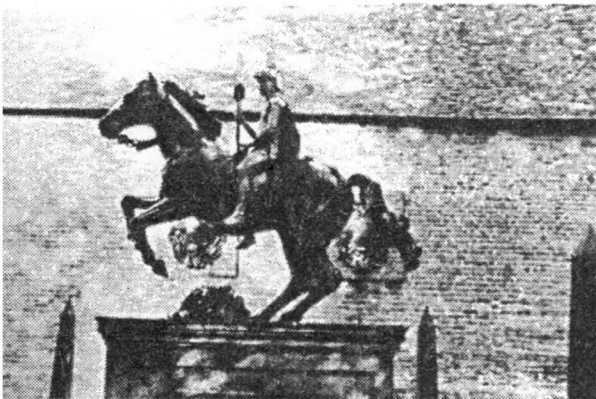
"Статуя" со всех ног улететьвает.

Мистер Тэлманн (громко, чтобы быть услышанным Кларком). Что вам угодно, мистер Кларк?

Мистер Кларк. Прошу вас пойти со мной, сэр. Это важно.

Ров. День.

Двое слуг вытаскивают из воды тело, покрытое водорослями и ряской. На траве у берега валяется лестница. Музыка.



На конной статуе теперь... сидит всадник! За ней стена дома, по бокам деревья. Слуги вытаскивают тело из рва. Появляются Тэлманн и Ноиз – в белом – и Нэвилл – в

черном – и останавливаются рядом со слугами. Тэлманн жестикулирует рукой и тростью. Тело кладут на лестницу, как на носилки, и уносят туда, куда указывает Тэлманн. Все медленно расходятся, кроме Нэвилла, который остается перед конной статуей. У ее цоколя горит огонь. Нэвилл следит глазами за группой, затем...

Задумчивое лицо Нэвилла... Он не верит своим глазам!

Всадник на каменном коне – это живая статуя в плаще, шлеме и с алебардой! Музыка обрывается.

Комната миссис Герберт. День.

Комната погружена в полумрак. Одетая в черное миссис Герберт, в высоком черном уборе на голове, стоит у закрытого ставнями окна. Дверь открывается, она закрывает глаза рукой от падающего прямо на нее света. В этом уголке мало мебели: стул у окна, люстра на потолке. Зажженные свечи, настенные бра. Входит мистер Ноиз.

Мистер Ноиз. Мадам, мне необходимо поговорить с вами.

Миссис Герберт (оборачиваясь, печально). Я сейчас не могу, Томас.

Мистер Ноиз. Я вынужден настаивать.

Миссис Герберт. Томас, после того что случилось, я отказываюсь говорить с вами сейчас. (Она прячется за раскрытым черным веером.) Вы должны сами принимать решения или, в крайнем случае, обратиться к мистеру Тэлманну.

Мистер Ноиз (в черном, приближаясь к ней). Обращение к мистеру Тэлманну вряд ли пойдет вам на пользу.

Миссис Герберт. Что это значит?

Мистер Ноиз. Это значит, мадам, что очень скоро меня наверняка обвинят в убийстве вашего супруга. И я намерен встретить это обвинение во всеоружии.

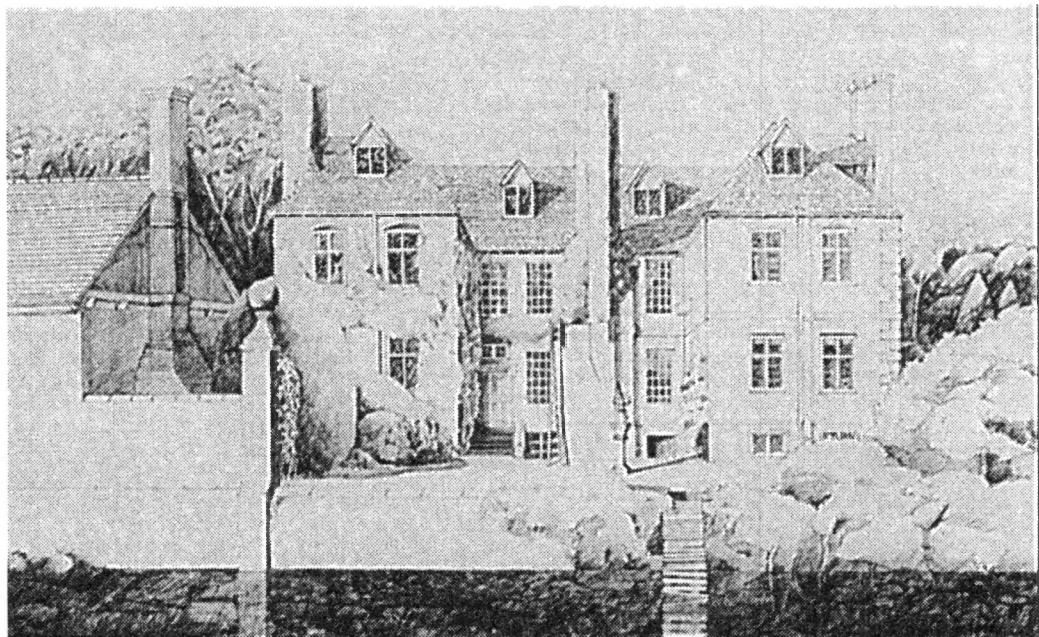
Миссис Герберт (опуская веер). Кто же собирается обвинить вас?

Мистер Ноиз. В первую очередь, как мне кажется, ваш зять. Очевидно, среди его слуг найдутся свидетели.

Миссис Герберт. Как это возможно?

Мистер Ноиз. Мне нужна ваша помощь.

Миссис Герберт. В чем же? Если мой зять считает вас виновным в убийстве мистера Герберта... (Вздыхает.) Оставьте меня. (Зовет.) Мария!



Мистер Ноиз. Бесплезно звать при-
слугу.

Миссис Герберт. О чем вы говорите?
Мария!

Мистер Ноиз. Я говорю о контракте
рисовальщика, мадам. (Дверь открывается;
миссис Герберт защищает глаза от света
правой рукой.)

Миссис Герберт. А что с ним такое?
Мария, позови мистера Тэлманна.

Входит Мария, одетая во все черное.
Все домашние, ходившие до сих пор по-
стоянно в белом, отныне одеты в черное.

Мистер Ноиз. Я имею в виду ваши
обязательства перед мистером Нэвиллом.

Миссис Герберт. А в чем дело?

Мистер Ноиз. Мадам, слов нет, до чего
вы изворотливы. (Он поворачивается и
делает два шага в сторону.)

Миссис Герберт. Мария, не надо звать
мистера Тэлманна, лучше принеси мне...
(Она ходит взад и вперед, обмахиваясь ве-
ером, наконец, останавливается в пятне
света, падающего из открытой двери.) ...а,
ничего не надо, я не хочу пить. (Подавляет
рыдание. Дверь закрывается; в комнате
снова воцаряется полумрак.) Итак, мистер
Ноиз, как вас понимать?

Мистер Ноиз. Меня собираются не-
справедливо и бесовестно обвинить в
убийстве вашего супруга.

Миссис Герберт (повернувшись к
нему). На каком основании?

Мистер Ноиз. На таком, что я больше
всех подхожу на эту роль. Я был единст-
венным, кто знал о том, что мистер Гер-
берт вернулся в пятницу. Всем также из-
вестно мое отношение к вашему супругу.

Миссис Герберт. Но это смешно... Это
было...

Мистер Ноиз. И, мадам, я – единст-
венный из людей, о ком вы можете ска-
зать, что его не было дома, когда все жда-
ли приезда мистера Герберта. Далее, ма-
дам, все знают о моих чувствах к вам. (Она
приближается к камере, затем поворачи-
вается и возвращается к закрытому окну.)

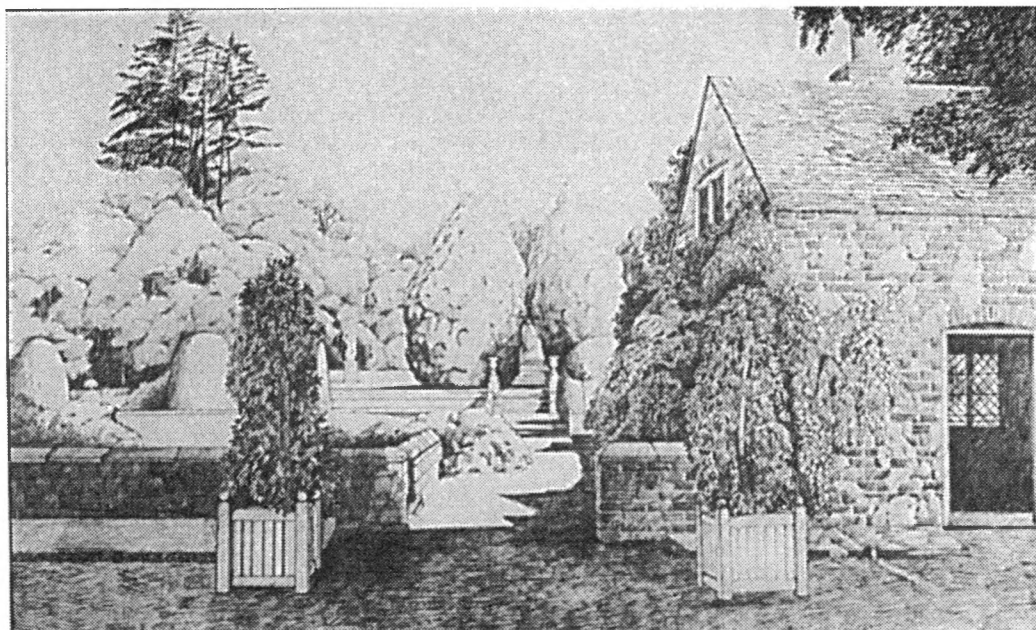
Миссис Герберт. Разве всего этого до-
статочно?

Мистер Ноиз. Это еще не все.

Снаружи, у рва, садовник смотрит в
покрытую ряской воду. Музыка. Концом
шеста он выуживает пучок травы и кладет
свой "улов" на лужайку.

Мистер Ноиз (за кадром). Кабинет ми-
стера Герберта весь завален невесть от-
куда взявшимися бумагами, и там мои пер-
чатки. Мне нужна ваша защита против за-
говора и еще кое-что.

Миссис Герберт (за кадром). Если вы
виновны, Томас, вы не получите ни того,
ни другого.



Мистер Ноиз. Имея контракт мистера Нэвилла, мадам, я получу всё: за ваше покровительство и семьсот гиней я продам вам контракт, свидетельство вашей неверности.

Но на этот раз миссис Герберт сидит у окна на стуле с высокой спинкой, а Ноиз стоит справа.

Миссис Герберт. У меня нет денег. Семьсот гиней – крупная сумма.

Конец музыки.

Мистер Ноиз (поворачиваясь в профиль). Я отдам вам контракт в обмен на рисунки. У вас есть рисунки, у мистера Нэвилла есть репутация.

Миссис Герберт. Что? За двенадцать рисунков, выполненных по частному заказу?

Мистер Ноиз. Подумайте, мадам. Рисунки могут быть истолкованы не самым приятным образом. (Прохаживается перед ней.) А первоначальный смысл рисунков как подарка вашему супругу утрачен. (Они смотрят друг на друга.)

Миссис Герберт (шепотом). Эти рисунки, мистер Ноиз, мне и так уже дорого обошлись.

Мистер Ноиз (поворачиваясь к ней спиной). Они могут обойтись вам намного дороже, мадам. Они могут стоить вам всего. Неверность покойному мужу – не лучшая репутация.

Миссис Герберт. А мистер Нэвилл? (Ее почти не видно за ним.)

Мистер Ноиз. А что мистер Нэвилл? Он отбыл в Рэдсток. (Он оборачивается к ней.)

Миссис Герберт. Какова его роль в этой затее?

Мистер Ноиз (отрицательно качая головой). В моей – никакой.

Миссис Герберт. Но в будущем вы могли бы его использовать для этой же цели.

Мистер Ноиз (пылко глядя на нее). Вы заплатили ему гонорар, мадам, предоставили кров и стол в вашем доме на время исполнения заказа. (Он останавливается у окна и кладет руку на спинку стула миссис Герберт.) В этом нет ничего необычного. (Не спеша.) Если вы получите контракт и уничтожите его, откуда люди узнают, что вы предложили мистеру Нэвиллу что-то еще?

Миссис Герберт. Где сейчас этот контракт?

Мистер Ноиз (поднося руку к груди). Он у меня, мадам. А где рисунки?

Миссис Герберт (отворачиваясь и глубоко вздыхая). Как я объясню, почему у меня больше нет рисунков?

Мистер Ноиз. Вы уничтожили их, ибо после смерти супруга для вас они утратили свою ценность.

Миссис Герберт. А как быть, если их выставят на продажу? Ваш план неудачен.

Мистер Ноиз. Вы скажете, что продали их, чтобы построить памятник супругу, или, наоборот, что продали их, чтобы избавиться от того, что вызывает у вас горестные воспоминания.

Лестничная площадка. День.

Украшенная лепниной лестница; сверху, из окна падает квадратами свет на стены и перила. Ироническая музыка. Появляется мистер Ноиз с папкой рисунков под мышкой в сопровождении миссис Пирпойнт.

Мистер Ноиз. Вы как-то спрашивали, миссис Пирпойнт, нет ли у меня для вас пикантной новости.

Миссис Пирпойнт. И я помню ваш дружеский жест.

Мистер Ноиз (поправляя ей на плечах черные кружева ее головного убора; со смехом). Ах, мадам, вы, католики, умеете быть снисходительными. (Берет ее за талию и целует в шею.) Я могу предложить вам нечто получше. Я хотел бы попросить вас помочь мне создать такую новость – и презабавную к тому же. Нам не придется слишком усердствовать – главное уже сделано.

Миссис Пирпойнт (снимая руку с перил и кладя ее на папку, которую держит Ноиз). А какую выгоду я, по-вашему, смогу извлечь из подобного занятия?

Мистер Ноиз. Вы получите удовольствие, и некоторую удовлетворенность стройностью интриги, и радость от того, что людям, стоящим выше нас, придется понастоящему туго... и, как знать, может быть, две клумбы и аллею апельсиновых деревьев... (Она смеется.) ...если миссис Герберт расщедрится.

Миссис Пирпойнт. А почему миссис Герберт?

Мистер Ноиз. Потому что она – душа этого плана... (Ноиз и миссис Пирпойнт перед картиной: молодая женщина, отрезающая себе прядь волос, чтобы подарить ее своему суженому, отправляющемуся на войну. Они обмениваются понимающими улыбками.) ...и если вы не получите их непосредственно от нее, я думаю, подождав несколько лет, вы получите их от меня как знак моего уважения к вам.



Миссис Пирпойнт (опуская глаза). Из того же источника? (Она спускается по ступенькам и уходит.)

Мистер Ноиз. Мадам, вижу, вы не поняли.

Он тоже уходит. В кадре остается одна картина.

Мистер Сеймур (за кадром). Для памятника нужен проект.

Комната. День.

В центре комнаты сидит мистер Сеймур. Рядом с ним слуга занимается его длинным париком, в глубине – миссис Клемент и миссис Пирпойнт, справа – мистер Ноиз. Слуга одет в белое, остальные – в черное, кроме Сеймура, чей туалет еще не окончен. Комната погружена в полумрак, разрываемый только светом свечи.

Мистер Сеймур (продолжая). Уж не хочет ли некий наемный рисовальщик подписать еще один контракт?

Мистер Ноиз. Насколько мне известно, сэр, идея принадлежит миссис Герберт – хотя нельзя исключить участия мистера Нэвилла.

Мистер Сеймур. ...Неожиданный поворот.

Мистер Ноиз. Продаются только его рисунки, но не талант. При высокой репутации мистера Нэвилла, двенадцать рисунков можно выгодно продать и построить более солидный и долговечный памятник. Говорят, мистера Нэвилла скоро пригласят в Гаагу.

Миссис Пирпойнт (дама справа, брюнетка в черном уборе). Ага. Располагай я необходимой суммой – я бы сразу выложила миссис Герберт сто гиней – за уме-

ние держать себя, за стойкость перед лицом несчастья.

Миссис Клемент (слева, рыжая; лицемерно теребя платок). Мистер Герберт не стоит подобной щедрости, но в какой степени этот жест рассчитан на публику? Как могут потомки усомниться в ее привязанности к мужу?

Сеймур раздраженно забирает свой парик из рук слуги, который никак не расчешет кончик пряди. Слуга тут же берет две громадные пуховки для пудры с мелкой тарелочки, стоящей справа.

Миссис Пирпойнт. Вот именно.

Миссис Клемент. Я предлагаю триста гиней – не моих, конечно. Моего свекра – он может себе это позволить. Он коллекционер, но не обладает ни интуицией, ни знаниями. Я скажу ему, что это итальянские рисунки, Гвидо Рени или Модеста. (Все смеются, особенно мистер Сеймур, которому идея кажется неотразимой.) Он повесит их где-нибудь в чулане и больше их никто никогда не увидит.

Мистер Ноиз. Очень жаль, ибо они полны красноречивых деталей.

Мистер Сеймур. Мистер Нэвилл шаг за шагом нащупывает дорожку к сердцу миссис Герберт, как будто это стало делом его жизни. Может быть, он вынашивает план некоего контракта, который бы увенчал его усилия? (Поворачивается к Ноизу.)

Оранжерея. День.



Близнецы Пуленки в салоне, украшенном картинами и лепниной. В кадрах перед окнами – апельсиновые деревья. Спра-

ва, в профиль – мистер Ноиз. Рядом с ним – еще одно апельсиновое дерево. Пуленки строят проекты – каким будет надгробный памятник мистеру Герберту.

Пуленк II (принимая героико-комическую позу; Ноиз идет налево к окну). ...Верхом на лошади, этаким Георгием Победоносцем, похожий на якобита с... хи...

Пуленк I. ...С палитрой вместо щита, колчаном, полным кистей, и пером в зубах.

Ноиз проходит в обратную сторону.

Пуленк II. ...С чернилами на пальцах...

Пуленк I. Что это у него в руке?

Пуленк II. ...Невероятно... еще одно перо?

Пуленк I. Похоже на перо...

Пуленк II. Неужели перо?

Пуленк I. Маленькое перышко...

Пуленк II. "...Перо опаснее меча..."

Ноиз в третий раз пересекает помещение. На этот раз он жует плод.

Пуленк I. Мы готовы внести четыреста гиней на этот забавный памятник перу...

Пуленк II. ...И взамен получить рисунок мистера Нэвилла, изображающий купальню...

Пуленк I. ...Тот, с собачкой...

Пуленк II. ...Виляющей хвостиком...

Парк. Ночь.

Ноиз и Тэлманн с фонарями в руках прогуливаются ночью по парку. Силуэты деревьев, как в театре теней, на секунду скрывают беседующих мужчин.

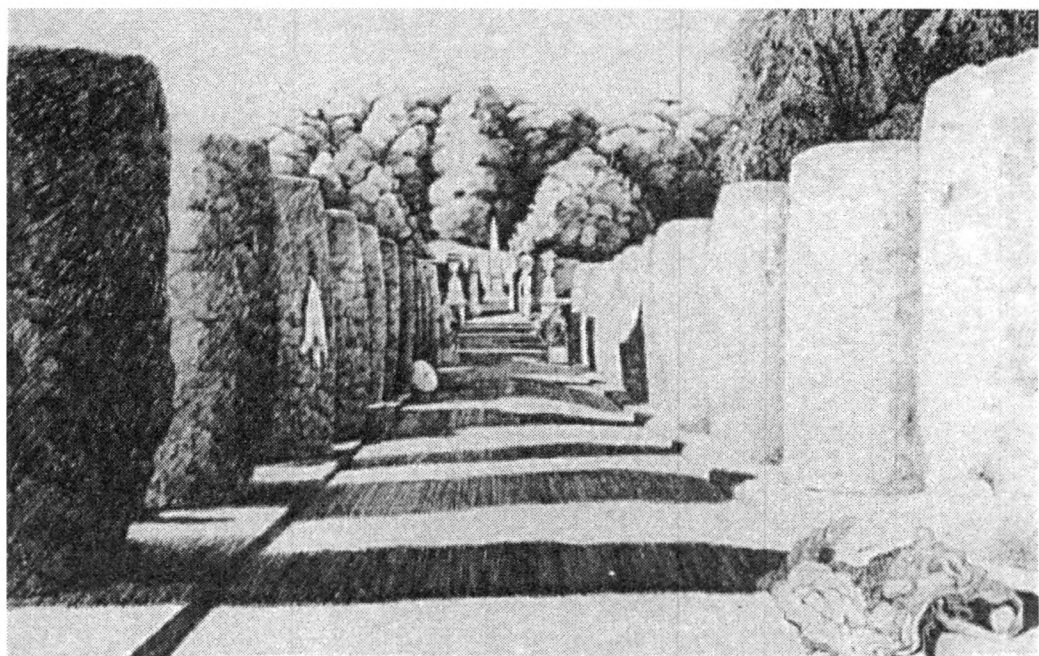
Мистер Тэлманн (идя на шаг впереди). Миссис Герберт правильно делает, что продает их. Сколько они могут принести?

Мистер Ноиз (слегка отставая). Столько, сколько пожелают заплатить покупатели. (Они поворачивают и идут налево.) Мистер Сеймур готов, например, выложить четыреста гиней.

Мистер Тэлманн. Ха! (Они проходят за деревьями.)

Мистер Ноиз. Я даже склонен думать, что он сделал миссис Герберт такое щедрое предложение, чтобы побудить ее продать что-нибудь более существенное.

Мистер Тэлманн. Что именно?



Мистер Ноиз. Дом, разумеется.

Мистер Тэлманн. Ну это мы еще посмотрим.

Мистер Ноиз. Я проверил его намерения, предложив ему купить серию знаменитых рисунков дома. Я готов на все, дабы помочь миссис Герберт повысить стоимость рисунков, ведь чем больше сумма... (Они поворачиваются и идут обратно.) ...тем более грандиозным будет памятник. Так или иначе, мистер Герберт наверняка выиграет от усердия мистера Нэвилла – так же, как и все мы, сэр.

Мистер Тэлманн. Начнем с того, что я не вижу никакой пользы для себя, да и для вас тоже.

Мистер Ноиз. Ха, мистер Тэлманн, лукавите. Вы, сэр, в качестве – с вашего позволения – будущего опекуна своего будущего сына находитесь в завидном положении, и подумайте, как все удачно обернулось. Поместье приобретет нетленный памятник, который станет частью пейзажа, вместо двенадцати недолговечных рисунков, только изображавших этот пейзаж.

Мистер Тэлманн. Не понимаю, почему наглость мистера Сеймура должна доставить ему часть наследства моего сына?

Мистер Ноиз. Быть может, и в этом мистер Сеймур оказывает вам услугу, сэр. (Они снова поворачивают.)

Мистер Тэлманн. Как прикажете это понимать?

Мистер Ноиз. Лишив вашего сына возможности увидеть рисунки – а у вас обязательно будет сын.

Мистер Тэлманн. Почему он не должен их видеть?

Мистер Ноиз. Потому, сэр, что он сможет разглядеть аллегорические намеки, которые вы, сэр, по своему упрямству, откажитесь замечать.

Мистер Тэлманн. Мистер Нэвилл не силен в аллегориях, а я не хочу упустить того, что, возможно, оценит мой сын.

Мистер Ноиз. ...Аллегорический смысл, сэр, очевидно, связанный с его матерью.

Они внезапно останавливаются. Начинает звучать легкая, ироничная беспокойная музыка, "музыка подозрения".

Мистер Тэлманн. Что? С моей женой? Каким образом?

Мистер Ноиз. Ходят слухи, сэр, что мистер Нэвилл видел в вас обманутого супруга.

Мистер Тэлманн (через мгновение, изменившимися голосом). Как я был обманут?

Ноиз и Тэлманн некоторое время стоят друг против друга, держа фонари перед собой.

Комната Тэлманнов. День.

В полутьме; прикрытые ставни окна пропускают немного света. На паркете и деревянных панелях лежит тень от оконного переплета; холодные блики света, как на полотнах Рембрандта. Слева – кровать под балдахином; еще одно окно. На потолке люстра со свечами. Справа – анфилада дверей. На переднем плане – миссис Тэлманн, вся в черном. Через анфиладу дверей тяжелыми шагами приближается взбешенный мистер Тэлманн. Он тоже в черном. “Уши” его длинного парика и белые манжеты болтаются в такт шагам. Миссис Тэлманн с досадой отворачивается. Мистер Тэлманн останавливается у нее за спиной.

Мистер Тэлманн (кричит фальцетом, довольно забавно). Я знаю, Сара, что вы обманываете меня.

Миссис Тэлманн (оборачиваясь). Что у вас с голосом?

Мистер Тэлманн.
К черту мой голос!

Миссис Тэлманн (очень спокойно, но высоким, звенящим голосом). Коли так, тогда не страшно. Что у вас с лицом? Ваше лицо, Луи, сильно покраснело.

Она стоит, повернув к нему голову, а он выходит из себя.

Мистер Тэлманн.
Не больше, чем ваш зад, мадам, после того как мистер Нэвилл использовал его.

Миссис Тэлманн (обходя кровать слева, в то время, как он заходит с другой стороны. Повышая тон). Хотя ваша речь так же груба, как и ваше лицо, Луи, ваши слова днем столь же беспомощны, сколь ваши действия ночью.

Мистер Тэлманн (на самых высоких нотах, простирая руки в ее сторону под балдахином кровати). И ночью, и днем, мадам, ваше поведение вульгарно, а теперь оно запечатлено черным по белому, чтобы все могли любоваться, и когда светит солн-

це, и когда дует ветер, в жару и в холод... (Отворачивается от нее.)

Миссис Тэлманн (поворачиваясь, чтобы взглянуть в окно; скорее грустно, нежели гневно). Ваша речь, Луи, становится чересчур метеорологической. Вы должны объяснить свои домыслы.

Мистер Тэлманн. Это не домыслы, мадам, а рисунки мистера Нэвилла.

Миссис Тэлманн. Я полагаю, что вы всегда отказывали мистеру Нэвиллу в способности передавать сложные мысли. Что же он натворил на этот раз?

Мистер Тэлманн (продолжая кричать). Дело скорее в том, что он обнажил. (Он бросается на кровать, которая вздрагивает под ним.) Кажется, это была ваша персона.

Миссис Тэлманн (в гневе она бросает веер на подлокотник и возвращается к изножью кровати). Я не имею власти над рисунками мистера Нэвилла. Он рисует, что хочет.

Мистер Тэлманн (приближаясь к ней, все так же вне себя). Ему платят не за то, чтобы он рисовал для своего удовольствия –

или для вашего, мадам.

Миссис Тэлманн. Почему вы думаете, что он это делает?

Мистер Тэлманн. Это бросается в глаза!

Миссис Тэлманн. И что же бросается в глаза?

Мистер Тэлманн. То, что видно всему свету.

Миссис Тэлманн. Всему свету! Неужели столько людей знакомы с рисунками? Кто же представляет для вас весь свет?

Мистер Тэлманн. Сеймур, Ноиз, Пуленки.



Миссис Тэлманн. А-а, и что же они видят?

Мистер Тэлманн. Достаточно, мадам, чтобы привести их в восторг: возможность поупражняться в остроумии, поговорить о будущем наследнике... (Он отходит к правому окну.)

Миссис Тэлманн (идя за ним). Или о его отсутствии. Они видят то, что так давно искали, разве не так?

Мистер Тэлманн (поворачиваясь к ней, гневно). А именно?

Миссис Тэлманн (спокойным голосом, неторопливо). Возможность упрекнуть вас за неспособность произвести наследника...

Мистер Тэлманн. Женщина, для этого нужны двое.

Миссис Тэлманн. Именно, сэр. Вы удивляете меня. И при чем здесь мистер Нэвилл?

Мистер Тэлманн. Я мог бы задать этот вопрос вам, мадам.

Миссис Тэлманн. Но вы его задали мистеру Ноизу.

Мистер Тэлманн. Он сам указал мне на это.

Миссис Тэлманн. Своим длинным носом он может указать вам, что пожелает.

Она возвращается к кровати. Он за ней. Они садятся на край кровати.

Мистер Тэлманн.

Мадам, вам придется посмотреть на рисунок и объяснить, почему приставная лестница так удобно расположена под вашим окном, и почему ваша отвратительная собачонка слоняется у дверей купальни, и почему детали вашего туалета украшают кусты в тисовой аллее.

Миссис Тэлманн (отворачиваясь с отвращением и усталостью, тоном, полным ненависти). Ваш список бесконечен, Луи, как и ваши длинные, чистые, белоснежные бриджи, — но ни в том, ни в другом нет ничего существенного. (Он отходит, как бы пристыженный этими упреками, и садится

на стул между окнами. Но она еще не кончила разделяться с ним.) Позвольте спросить вас, может быть, вы объясните, что делали ваши сапоги на пастбище?

Мистер Тэлманн (с лицом, погруженным в тень, хмуро). Это не мои сапоги.

Миссис Тэлманн (на свету). И почему ваша сорочка болтается на живой изгородди около статуи Гермеса?

Мистер Тэлманн. Это не моя сорочка.

Миссис Тэлманн (теперь ее очередь нападать). Неужели вы не видите, куда может завести это домашнее расследование? Вы отвечаете мне так, как я могла бы ответить вам.

Мистер Тэлманн. Но вы не можете отрицать, что это ваша собака...

Миссис Тэлманн (поднимается и снова смело нападает на него). ...И если вы в своем последнем обвинении указываете на двусмысленность оброненного зонтика, то вы, сэр, присутствуете на бумаге полностью, в чужой шляпе, в чужом камзоле и уж конечно, с чужой тенью. Вы позируете, втянув колени и выпятив зад, с лицом, напоминающим голландскую фигу, с надменно поджатыми губами и презрительным свистом...

Кстати, Луи, вы всегда говорили, что у мистера Нэвилла нет воображения — он рисует то, что видит. Чей же облик вы тогда копировали? Уж не батюшкин ли? (Она поворачивается и отходит от него; грустно, очень сдержанно.) А свет знает, что он мертв, и еще неизвестно, кто его убил. Свет может усмотреть некий сговор между вами и мистером Нэвиллом, касающийся наследства.

Мистер Тэлманн. Какой позор, мадам, что вы обманываете своего мужа с сыном фермера.

Он поднимается и, опираясь о косяк окна, смотрит в окно.



Миссис Тэлманн (тихо). Вы ведь женились на внучке армейского провиантмейстера. Кроме того, я не сказала ничего такого, что могло бы свидетельствовать о том, что я обманываю вас с мистером Нэвиллом. (Поправляя черные кружевные манжеты; обретая самообладание). Хотя, надеюсь, вы понимаете, что он был нам полезен. Как вы поступили с рисунками?

Мистер Тэлманн. Я купил их за шестьсот гиней и собираюсь уничтожить.

Миссис Тэлманн. О, было бы жаль уничтожать их.

Мистер Тэлманн (мечется туда-сюда, выкрикивая). Ба, вам непременно нужно, чтобы потомки узнали о вашей измене.

Миссис Тэлманн. Луи, они содержат свидетельства другого рода. Более ценные, чем те, что раздуваются людьми, жаждущими опорочить ваше имя. Свидетельства того, что, возможно, мистер Нэвилл знает кое-что об убийстве моего отца.

Через неделю. Парк. День.

Парк в дымке после дождливого утра, на исходе лета. Музыка. Садовник сгребает опавшие листья, чтобы их сжечь. В глу-

бине, в розовом тумане – изгородь. Слева – ветви дерева, еще с листьями. Дымок от костра садовника сливается с туманом. К калитке в изгороди приближается всадник в белом на гнедой лошади. Лошадь останавливается. На ней сидит Нэвилл.

За деревьями мелькает белокурый парик Филипа, слуги Нэвилла. Он тоже верховом на лошади.

Нэвилл соскочил с коня и треплет его по шее.

От костра поднимается дымок. Музыка.

Два садовника подкладывают в огонь сухие листья и траву.

Мистер Нэвилл. Доброе утро, мадам. Миссис Тэлманн стоит рядом с человеком в черном парике. Оба они одеты в черное. Нэвилл, весь в белом с головы до ног, подходит к ним и низко кланяется.

Миссис Тэлманн. Мистер Нэвилл.

Мистер Нэвилл (приближаясь к ним). Доброе утро, сэр.

Человек в черном молча кланяется.

Миссис Тэлманн. Доброе утро – хотя, кажется, что лето вдруг кончилось и погода оставляет желать лучшего. Что, мистер



Нэвилл, заставило вас так скоро вернуться в Энсти? Я думала, наши скромные владения больше не увидят вас.

Филип глядит на костер, садовник продолжает сгребать листья. Нэвилл стоит напротив миссис Тэлманн и человека в черном.

Мистер Нэвилл. Мадам, я живу в Рэдстоке, у лорда Лодердейла, и приехал по приглашению мистера Сеймура. Однако, к моему удивлению, его нет и большая часть дома заперта.

Миссис Тэлманн. Насколько я знаю, мистер Сеймур сейчас в Саутгемптоне вместе с моим мужем. Погребение состоялось три дня назад, и они улаживают имущественные дела.

Мистер Нэвилл. Кажется, я выбрал неудачное время для визита. Мадам, позвольте осведомиться о здоровье вашей матушки.

Те же трое, но ближе.

Миссис Тэлманн. Хотя матушка, естественно, огорчена кончиной батюшки, сейчас она, зная, что ее привязанность никогда уже не будет взаимной, успокоилась.

Мистер Нэвилл. А как вы сами, мадам?

Миссис Тэлманн. Прекрасно, мистер Нэвилл. Мы процветаем. Мистер Ван Хойтен... (Указывая на человека в черном, на которого Нэвилл смотрит с интересом.) ...должен помочь нам переустроить поместье на совершенно новый лад. Мы пригласили его сгладить геометрию, столь любимую батюшкой, и придать парку больше непринужденности и изящества. Мистер Ван Хойтен работал в

Гааге и ознакомил мистера Тэлманна с новшествами, которые он собирается ввести будущей весной. Он тоже рисовальщик.

Лицо Нэвилла невозмутимо, он лишь поводит бровями.

Ван Хойтен смотрит на миссис Тэлманн и произносит по-голландски несколько

фраз, которые она, кажется, понимает. Снова музыка.

Пастбище. День.

Через поле приближаются Ван Хойтен и миссис Тэлманн, в черном, и Нэвилл, в белом, с деревянной шкатулкой в левой руке. Погода разгулялась: небо теперь голубое, с редкими облачками, отбрасывающими тень на яркую зеленую траву. Музыка. Слева появляется миссис Герберт с левреткой. Нэвилл приветствует миссис Герберт, широким жестом снимая шляпу. Мимо проходит служанка.

Миссис Тэлманн. Матушка, приехал мистер Нэвилл, как мы и предполагали, и привез нам редкостный подарок... (Нэвилл перекладывает шкатулку из левой руки в правую.) ...из Рэдстока от садовника Лодердейлов – три гранатовых плода... (Он открывает шкатулку: в ней три граната.) ...выращенных на английской земле под английским солнцем.

Миссис Герберт гладит левретку; в глубине Филип здоровается с прошедшей мимо служанкой.

Мистер Нэвилл (медленно подходя к



миссис Герберт и показывая ей свой презент) ...Но при помощи сотни стеклянных рам и искусственного тепла, которого хватило бы на полгода.

Миссис Герберт. Хм, благодарю вас, мистер Нэвилл. Посмотрим, чем мы сможем отблагодарить вас.

Миссис Тэлманн (Нэвилл оборачивается, чтобы посмотреть на нее). Я собиралась пойти с мистером Ван Хойтеном к реке – он хочет построить дамбу и затопить нижние луга. (Небо хмурится.) Мы еще обязательно увидимся, мистер Нэвилл. (Она берет Ван Хойтена под руку, и они уходят.)

Мистер Нэвилл (глядя на миссис Герберт; очень громко). Затопить луга, мадам? (Пастбище, в глубине – дом, слева – большое дерево.) Вы что, намереваетесь соединить Энсти с морем?

Миссис Герберт (со смешком). У нас будет декоративный пруд. Мой зять ни в чем не хочет отставать от своих соотечественников. Быть может, это вы открыли ему глаза на возможности здешнего ландшафта.

Миссис Герберт и Нэвилл; он провожает глазами удаляющихся миссис Тэлманн и Ван Хойтена, который жестикулирует на ходу.

Мистер Нэвилл (держа закрытую шапку на руке). Почему этот голландец так размахивает руками? Он что, скучает по мельницам? (Солнце то и дело закрывается облаками.)

Миссис Герберт (поворачиваясь к Нэвиллу; со смехом). Должно быть. Он полон новых идей... наверное, новые идеи требуют новых методов. Ну а как вам Рэдсток? Ван Хойтен и миссис Тэлманн

удаляются. Нэвилл поворачивает лицо к миссис Герберт, устало выглядящей под черной шляпой.

Мистер Нэвилл. Неплохо, но скучновато после всех тревог, переживаемых в Энсти.

Миссис Герберт. Ах, значит вы явились сюда, чтобы вновь пережить эти тревоги?

Мистер Нэвилл. О, мадам, это было бы самонадеянностью.

Миссис Герберт. Несомненно, сэр. Ведь все контракты выполнены, и тело погребено.

Мистер Нэвилл. Мадам, сказано не слишком вежливо.

Миссис Герберт. Вы тоже были не слишком вежливы в общении со мной.

Мистер Нэвилл. Я был рад повидать миссис Тэлманн и, сказать по правде, приложил все старания, дабы встретиться с вами. Признаюсь, мне хотелось вновь увидеть дом и парк. Посмотреть, что с ними случилось за эту неделю плохой погоды, но, каюсь, мадам, именно оттого ... (Небо снова темнеет. Миссис Тэлманн и Ван Хойтен исчезают на горизонте.) ...что мне любопытно увидеть вас, я и добивался приглашения в дом Сеймуров.

Снова появляется солнце.

Миссис Герберт. Любопытство – не самая достойная причина для посещения



дамы, даже если она дарила вам удовольствие. И неужели я, а не моя дочь, являюсь объектом вашего интереса?

Мистер Нэвилл. Да, мадам.

Миссис Герберт. Как это возможно?

Мистер Нэвилл. Условия контракта поставили меня в более выгодное положение перед вами, а теперь, после кончины вашего супруга, я вновь выиграл, а вы проиграла.

Миссис Герберт. Вы так уверены в этом, мистер Нэвилл?

Мистер Нэвилл. Должен признаться, что, проиграв, вы еще сильнее возбудили мое любопытство.

Миссис Герберт (со вздохом). В чем же, по-вашему, состоит проигрыш, мистер Нэвилл?

Мистер Нэвилл. В унижениях, мадам, причем каждое следующее превосходит предыдущее.

Миссис Герберт. Разве унижительно потерять мужа, мистер Нэвилл?

Она чмокает губами и свистит, подзывая собаку, затем поворачивается спиной и уходит. Нэвилл провожает ее глазами, затем направляется следом. Небо снова хмурится.

Гостиная. Салон. День.

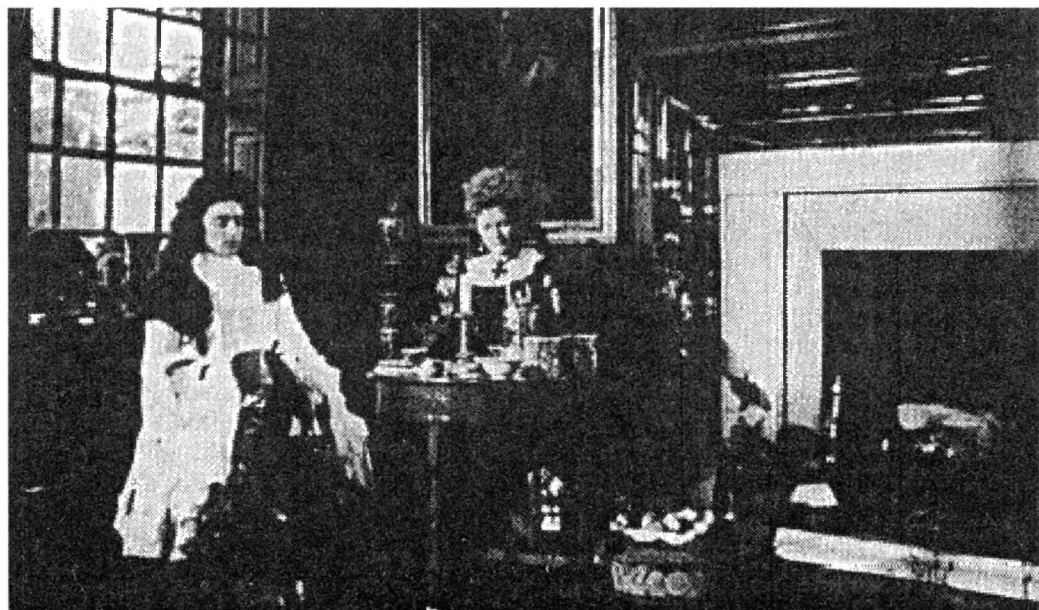
Беломраморный камин с зеленой отделкой. В углу комнаты на круглом столе на-

крыт чай. На полу рядом со столом стоит корзина фруктов. В камине горит огонь. Опираясь о каминную доску, стоит Нэвилл. У окна с открытыми ставнями – миссис Герберт. Два пустых стула как бы приглашают их сесть.

Мистер Нэвилл. Мадам, при заключении договора мы решили, что я выберу тринадцать пейзажей, один из которых должен быть впоследствии отвергнут, чтобы число рисунков соответствовало заказу. Отвергнутый пейзаж, если вы помните, находился к югу от дома, там, где стоит скульптура лошади... Это именно то место, где было найдено тело вашего супруга.

Миссис Герберт. Как раз эта странность, мистер Нэвилл, в первую очередь бросилась в глаза, когда было найдено тело мистера Герберта.

Мистер Нэвилл. Тринадцатый пейзаж был отвергнут по непонятной причине. Правда, там не было видно дома, но на некоторых других рисунках его тоже нет. (Она садится справа, за круглым столиком.) Возможно, он был наименее характерным из парковых ландшафтов и его очарование проявлялось в самое неподходящее время дня. И вот поэтому, мадам, с вашего позволения ... (Отбросив шляпу, Нэвилл садится слева от миссис Герберт.) ...мне бы хотелось, если можно, попытаться заполнить этот рисунок сегодня – конечно,



если у вас нет возражений. (Он снимает перчатки.)

Миссис Герберт. Мистер Нэвилл, вы обращаетесь ко мне в каком-то нерешительно-шутливом тоне.

Мистер Нэвилл. Мадам, это оттого, что я все еще не в силах судить о том, как вы относитесь к происшедшему.

Входит Мария, одетая в черное, с фарфоровым сине-белым китайским чайником. Она ставит его на стол и уходит с пустым подносом. Минутное молчание.

Миссис Герберт. Мистер Нэвилл, довольно будет сказать, что теперь смысл моей жизни стал иным. Раньше я была женой, а теперь стала вдовой. Хотя можно сказать, что я была вдовой и тогда, когда была женой. Я только сменила ложное положение, делавшее меня несчастной, на истинное, не вызывающее никаких чувств. Мистер Нэвилл, я собиралась перекусить и приглашаю вас откусать вместе со мной, а после этого я покажу вам – вместе с садовником, мистером Порринджером, – что нам здесь, в Энсти, удалось вырастить. Это будет в некотором смысле ответный подарок, и, как сказать, быть может, нам удастся возобновить нашу связь еще один раз, не предусмотренный контрактом ... (Стол с китайским чайным сервизом, погасшая свеча, стоящая прямо перед Нэвиллом.) ...к обоюдному удовольствию, а затем вы делаете свой тринадцатый рисунок. Вас это устраивает? (Она разливает чай в две чашки.)

Мистер Нэвилл. Мадам, похоже, вы все спланировали заранее. Я удивлен, восхищен. (Смех.) Мадам, я потрясен.

Миссис Герберт (ставя чайник и встряхивая рукой от упавшей на нее капли). Мистер Нэвилл, я приму во внимание все три стадии вашей удовлетворенности. Теперь по закону я свободна... (Подает ему чашку, он берет ее кончиками пальцев, а она не сразу отпускает.) ... и могу воспользоваться этой свободой вместе с вами... учитывая то, что было между нами в прошлом.

Пьют чай, обмениваясь долгими многозначительными взглядами.

Оранжевая. День.

На низкой кровати, накрытой ковром, в рассчитанной позе, позволяющей показать

обнаженные ножки из-под искусно задрапированного дезабилье, лежит миссис Герберт. Валетом с ней лежит Нэвилл в задремавшей на животе рубашке. По комнате раскидано белое белье. На полу, возле кровати – три граната в низкой вазе. Стараясь не разбудить отдыхающего Нэвилла, миссис Герберт запахивает пеньюар на груди, подпирает ладонью голову и берет из вазы гранат. Взглянув на Нэвилла, она кладет гранат ему на живот. Он поднимает голову.

Миссис Герберт. Гранат, мистер Нэвилл, – дар Гадеса Персефоне. (Она забирает плод, смотрит на него.)

Мистер Нэвилл. Мадам, мои знания не столь глубоки.

Миссис Герберт (приподнимаясь, чтобы лучше его видеть). Странно, что вы, мистер Нэвилл, признаётесь в незнании предмета, который раньше – уж вы постарались бы нас в этом уверить – составлял неотъемлемую часть лексикона художника.

Мистер Нэвилл. Вероятно, мадам, мне страшно признать непреднамеренную аллюзию.

Миссис Герберт (разглядывая гранат). Плутон заставил Персефону съесть плод граната и тем самым удержал ее в царстве мертвых. (Протягивает ему гранат, он поглаживает его кончиками пальцев.)

Мистер Нэвилл. О, какой символический плод, миссис Герберт.

Миссис Герберт. Вы привезли мне три штуки.

Мистер Нэвилл. Это все, мадам, что смог уделить мне мистер Клэнси.

Миссис Герберт. Быть может, этот мистер Клэнси – мастер придумывать аллюзии.

Мистер Нэвилл (приподнимаясь на локте). Что, что, мадам, вы знакомы с ним?

Нэвилл опирается на локти, миссис Герберт держит перед ним гранат; на заднем плане можно узнать помещение, в котором паясничали Пуленки: картины на стенах, апельсиновые деревья в кадках, слева окно...

Миссис Герберт. Съев плод граната, мистер Нэвилл, Персефона была принуждена проводить часть года в подземном царстве – и все это время, мистер Порринджер подтвердит, мать Персефоны,



богиня полей и садов, пребывала в тоске, горевала... Она гневается и отказывается, упрямо отказывается одаривать землю плодородием. Ну а мой мистер Порринджер и ваш мистер Клэнси очень стараются противостоять власти граната, строя подобные сооружения, вы не согласны? Но построив и оборудовав их, усердно работая, что же выращивают люди? Подумать только: гранаты. И круг замыкается.

Мистер Нэвилл. Весьма поучительная история для садовников, миссис Герберт.

Миссис Герберт. А также для матерей, имеющих дочерей, мистер Нэвилл.

Мистер Нэвилл. Но, может быть, мадам ... (Он откидывается назад.) ...гранаты, выращенные в Англии, лишены такого зловещего аллегорического смысла.

В глубине открывается дверь, входит миссис Тэлманн и захлопывает ее за собой со стуком. Удивленный Нэвилл рывком поднимается, пытаясь застегнуть штаны.

Миссис Тэлманн. ...Тепличные растения, по утверждению мистера Порринджера, плохо плодоносят.

Мистер Нэвилл (украдкой поправляя костюм). Достаточно хорошо, мадам, чтобы породить подходящие аллюзии... если не потомство.

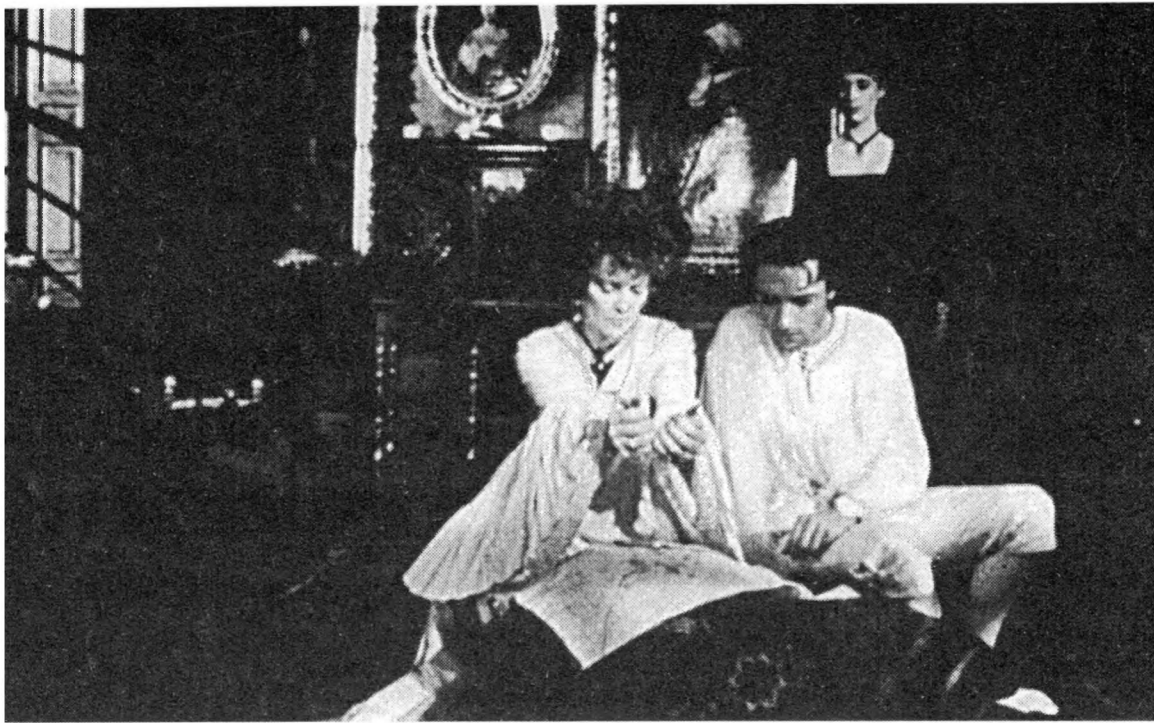
Миссис Герберт расстилает на краю постели тряпку и разрезает ножом гранат надвое.

Миссис Герберт. Но это еще не все...

Мистер Нэвилл. Не все, мадам?

Миссис Герберт (глядя на него). Мистер Нэвилл, нам хорошо известно, что вы любите причудливые образы. Сок граната можно принять за... кровь... (Разрезав плод, она берет в каждую ладонь по половинке и сжимает их. Сок течет на тряпку.) ...в особенности за кровь родовых мук – и убийства.

Мистер Нэвилл. Тогда, при ваших познаниях в ботанике, вы, наверное, усмот-



рели жестокою предопределенность в том, что меня уговорили привезти вам именно этот плод.

Миссис Герберт. О, мистер Нэвилл, я всегда считала вас невинным младенцем, лишенным пронизательности, как, впрочем, и многого другого.

Мистер Нэвилл. Невинным младенцем, мадам? А я-то был убежден, что вы считаете меня виновным наверняка в авантюризме и, возможно, в убийстве.

Миссис Герберт (давая соку стечь с пальцев). В том, в чем вы действительно виновны, я нисколько не упрекаю вас. Поскольку нам был необходим наследник, мы скорее должны быть вам благодарны. (Они обмениваются напряженными взглядами.)

Мистер Нэвилл. Мадам?

Миссис Герберт вытирает руки тряпкой.

Миссис Тэлманн. Мы заключили контракт, не правда ли? Неужели вы думаете, что я подписала его только ради удовольствия?

Мистер Нэвилл (глядя на миссис Герберт; со вздохом). Мадам, просто великолепно.

Миссис Тэлманн (останавливаясь рядом с Нэвиллом). С каких это пор адюль-

тер стал считаться великолепным? Не смешите меня, мистер Нэвилл. (Она отходит, миссис Герберт надевает на ногу туфлю, кошачьим движением облизывает палец, затем встает и отходит к окну. Озадаченный Нэвилл сидит один.) Да и для чего вам убивать мистера Герберта? По какой причине?

Мистер Нэвилл (поднимается на кровати на колени). Мистер Тэлманн считает, что у меня была причина.

Миссис Тэлманн. Да, мистер Тэлманн сейчас в Саутгемптоне, все еще пытается найти или измыслить способ обвинить вас.

Миссис Герберт. Он не простит вам нескромности в отношении Сары. Он не может развестись с женой, ибо тогда он потеряет Энсти.

Мистер Нэвилл (поднимая указательный палец). Я знаю наверняка, что мистер Тэлманн сейчас не в Саутгемптоне, так как не его ли я видел на каретном дворе после полудня?

Миссис Тэлманн. Думаю, это был не он. Он в Саутгемптоне с мистером Сеймуром.

Нэвилл на коленях, на кровати, среди подушек с кашмирским узором. В глубине

– два окна с частым переплетом. Перед ними стоят миссис Герберт и миссис Тэлманн. Между ними – картина в скругленной раме. Апельсиновые деревья в кадках. На потолке люстра с хрустальными подвесками. Мягкий свет. Повсюду – на подносах, на подоконниках – апельсины.

Мистер Нэвилл. Мистер Сеймур тоже не может быть в Саутгемптоне, ибо сегодня утром он встретил моего слугу в Рэдстоке и спрашивал про меня. А когда узнал, что я питаю надежду увидеть вас, он, по словам слуги, был более чем доволен. Мы сегодня его непременно еще увидим.

Миссис Тэлманн. Признаться, я удивлена, мистер Нэвилл, если это действительно так. Я узнаю. (Она направляется к нему.)

Миссис Герберт. Сара, попроси мистера Порринджера принести стул мистеру Нэвиллу. Он намеревается сделать для меня рисунок в парке, около той лошади. (В свою очередь медленно идет к нему, а миссис Тэлманн отступает влево.) И, Сара, попроси мистера Порринджера принести мистеру Нэвиллу ананас – маленький, они слаще. (Сара идет к выходу.) Хотите попробовать ананас, мистер Нэвилл? (Стук двери.)

Мистер Нэвилл. С удовольствием, мадам.

Конная статуя. Ночь.

На скудно освещенном желто-голубыми отблесками огня серебряном блюде лежит разрезанный надвое ананас. Колокол отбивает одиннадцать ударов.

Через визирную рамку видна конная статуя с всадником. У самого пьедестала горит огонь, но уже слишком темно для работы.

Впрочем... Под высокой стеной, наверху которой горит единственное окно, сидит одетый в белое Нэвилл. Он сидит перед визиром, но даже не смотрит в него на статую. Из темноты появляется человек в маске, в темном костюме, белых чулках и парике. В руке у него зажженный фонарь.

Мистер Тэлманн (хоть он и в маске, его легко узнать по акценту). Добрый вечер, мистер Нэвилл.

Мистер Нэвилл (удивленно, но не испуганно). Добрый вечер, сэр.

Мистер Тэлманн. Позвольте узнать,

мистер Нэвилл, что вы делаете здесь в столь поздний час? Ведь сейчас слишком мало света и ничего не видно.

Мистер Нэвилл. Вы правы. Я закончил.

Мистер Тэлманн. Хорошо. Позвольте взглянуть.

Мистер Нэвилл. Если есть свет, то пожалуйста.

Мистер Тэлманн. За светом дело не станет. (Он поднимает фонарь. Появляются еще двое в масках, за ними еще двое. У каждого в руках фонарь или факел. Они окружают Нэвилла. Нэвилл откладывает карандаш, протягивает рисунок Тэлманну. Рисунок конной статуи без всадника в свете факелов. Музыкальное крещендо.) Но он не закончен, мистер Нэвилл.

Нэвилл, окруженный людьми в масках, убирает рисунок в папку.

Мистер Нэвилл. Да, мистер Тэлманн. Вы можете сколько угодно прятать лицо в темноте, но, по крайней мере, в Англии, сэр, вам вряд ли удастся... (Передразнивая акцент Тэлманна.) ...скрыть свой акцент.

Мистер Тэлманн. Я и не намеревался долго маскироваться, хотя даже в глазах англичан в моем лице нет ничего особенно преступного по сравнению с той личиной, которую вы с такой легкостью носите.

Мистер Нэвилл. О чем вы говорите, мистер Тэлманн?

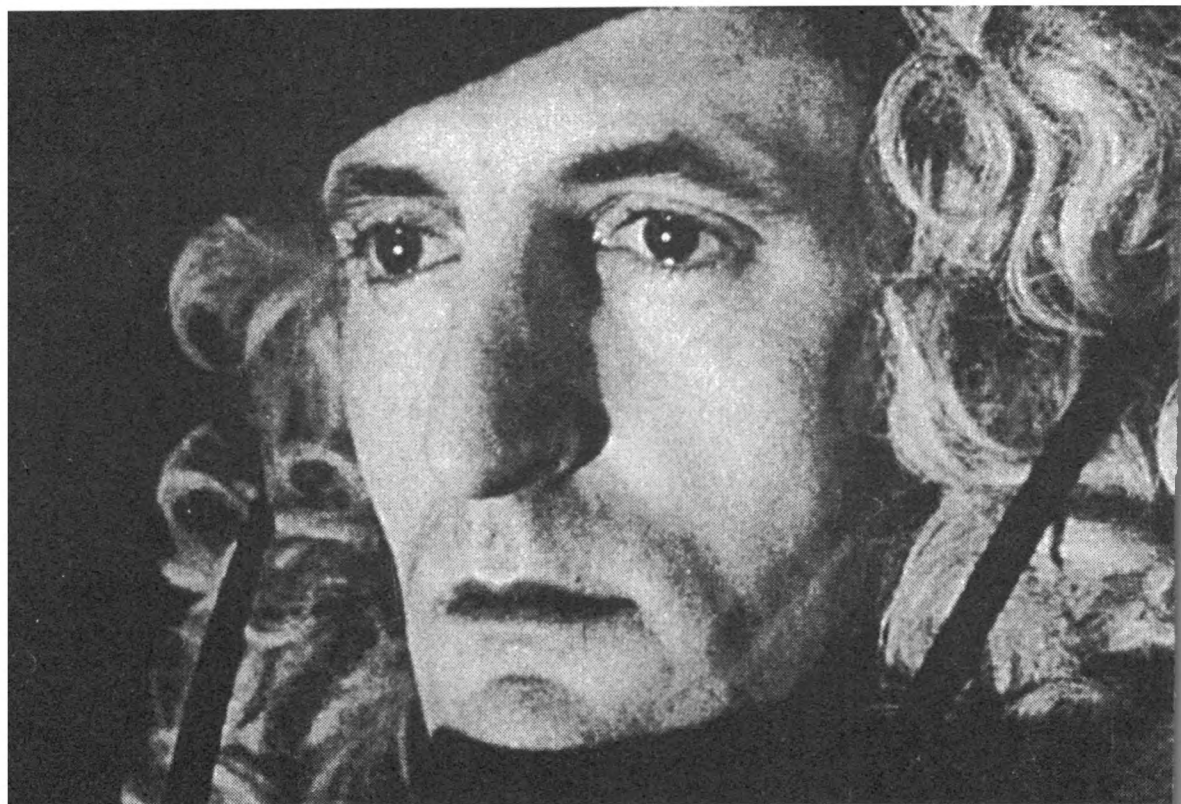
Мистер Тэлманн. О человеке весьма скромных способностей ... (Нэвилл раздражается смехом.) ...сомнительной честности, искусственного в составлении контрактов. Недостойном человеке, любимое занятие коего – опорочивание честного имени других.

Мистер Нэвилл. Мистер Тэлманн, вы изъясняетесь как человек, который за границей выучился говорить устаревшим языком, вышедшим в Англии из моды еще во времена юности моего дедушки.

Мистер Тэлманн. Моя речь ни в коей мере не зависит от ваших взглядов на моду, мистер Нэвилл. Нам всем известны и ваши новомодные способности, и ваши новомодные поступки.

Мистер Нэвилл. Вы, наверное, хотели польстить мне, мистер Тэлманн. Ваши спутники тоже явились сюда для этого?

Мистер Сеймур (слева). Мы всего



лишь заинтересованные зрители, мистер Нэвилл. Мы пришли полюбопытствовать, зачем, после всего что случилось, вы вновь собираетесь запечатлеть на бумаге собственность мистера Герберта и почему вы выбрали именно это место.

Мистер Нэвилл (оборачиваясь, чтобы ответить Сеймуру). Быть может, я бы и ответил на эти вопросы, мистер Сеймур, если бы не чувствовал, что правда вас вовсе не интересует.

Мистер Тэлманн. На наш взгляд, мистер Нэвилл, вы вернулись сюда в надежде заключить новый контракт – и на более постоянной основе – долгосрочный контракт с вдовой.

Мистер Нэвилл. Вы говорите, мистер Тэлманн, как человек, лишенный наследства, равнодушный к живописи и рисованию, равнодушный даже к этому уголку поместья, которое вы так жаждете заполучить. (Глядя на Пуленков позади себя.) А ведь прекрасное место для памятника, правда? (Смотрит на Сеймура.)

Мистер Сеймур. Вы думаете, мистеру Герберту понравилось бы это место?

Мистер Нэвилл. Предоставляю вам самому судить об этом, мистер Сеймур, как землевладельцу. (Смотрит назад, на вид, открывающийся за спинами Пуленков.) Для настоящего хозяина это, наверное, лакомый кусочек. (Выпрямляется, глядя на Сеймура.) Однако вы ошибаетесь, приписывая мне подобные корыстные мысли. (Сеймур и Тэлманн с ярко-красными губами на белых напудренных лицах, один с факелом, другой с фонарем.) Скорее их следовало бы приписать моему другу, мистеру Ноизу, который, по-моему, стоит рядом со мной. (Нэвилл поворачивается к Ноизу, за его спиной – четверо в масках.) Доверенное лицо при составлении контрактов, человек, посвященный в тайны частных договоров, написанных черным по белому.

Мистер Ноиз. А как, по-вашему, мистер Нэвилл, отнесся бы мистер Герберт к этим контрактам, написанным черным по белому?

Мистер Нэвилл. Будучи его поверенным, стряпчим, нотариусом и даже другом, а также близким, хотя и недостаточно близким, доверенным его супруги, вы лучше

других можете ответить на этот вопрос. (Он оборачивается к остальным.) Странно, господа, вы так настойчиво задаете мне вопросы, ответы на которые вы знаете лучше меня. Мне, конечно, приходило в голову... (Снова оборачиваясь к мистеру Ноизу.) ...что вы, мистер Ноиз, могли сообщить мистеру Герберту сведения, так недвусмысленно закрепленные на бумаге черным по белому. Другое дело, что бы он об этом подумал. Он многого не замечал – и уж конечно, не ведал, сколько несчастья приносил другим.

Мистер Тэлманн. Ваше сочувствие несчастьям миссис Герберт нельзя никоим образом считать ни искренним, ни уместным.

Близко – Нэвилл в белой шляпе со страсовым пером.

Мистер Нэвилл. Я имел возможность довольно долго наблюдать ее душевное состояние. И не забывайте, сэр, что в этом мне помогала ее дочь, ваша супруга, сэр. Кстати, обе дамы уговаривали меня, и весьма настойчиво, взяться за этот заказ. (Он поворачивает голову направо, потом прямо.)

Мистер Сеймур. Они уговаривали вас, в надежде что вы поможете сгладить противоречия, сэр, а не злоупотребите ими.

Мистер Нэвилл. Я ни в коей мере не виноват в смерти мистера Герберта. Эта история – загадка для меня, хотя у меня есть сильные подозрения, мистер Тэлманн, мистер Сеймур, мистер Ноиз. То же самое я мог бы сказать о самой миссис Герберт и ее дочери, будь они здесь, этих двух дамах, так охотно подписавших свои контракты.

Мистер Сеймур. И поэтому, мистер Нэвилл, вы еще раз соблазнили миссис Герберт?

Мистер Нэвилл (удар попал в цель). Ах (заминка), какая жалость – (качая головой, тихо) как я сразу не догадался!

В кадре вся группа.

Мистер Тэлманн. Сейчас мы заключаем с вами контракт, мистер Нэвилл, на наших условиях.

Мистер Ноиз. Контракт, составленный... (Обвинители стоят лицом к Нэвиллу.) ...для нашего удовольствия, мистер Нэвилл, содержит три условия. Будет лучше, сэр, если вы снимете свой наряд.

Нэвилл поворачивается налево.

Мистер Сеймур. Шляпу долой, сэр.

Мистер Нэвилл. Ха – у моей шляпы, господа, нет обязательств ни перед кем.

Несмотря на это, он обнажает голову и отвешивает низкий поклон. В это время он получает удар сзади по голове и падает. Музыка.

Люди в масках обступают упавшего Нэвилла.

Мистер Ноиз. Первое условие контракта, мистер Нэвилл, – и нет необходимости записывать его, ибо вы никогда не увидите – выколоть вам глаза.

Один из людей передает факел Ноизу, тот наклоняется над Нэвиллом и выжигает ему глаза. Нэвилл кричит.

Мистер Тэлманн. Поскольку мы лишили вас возможности... (Нэвилл лежит на земле, вокруг него – ноги в белых чулках и фонари. Люди в масках устремляются к Нэвиллу.) ...зарабатывать на жизнь, эта рубашка не будет иметь для вас никакой ценности.

Все стараются сорвать с Нэвилла одежду. Слышны его сдавленные крики. Музыка.

Мистер Ноиз. Она может болтаться на пугале и разгонять ворон.

Мистер Сеймур. Или валяться где-нибудь на земле как свидетельство... (Крупно – перекошенный рот Сеймура.) ...некоей туманной аллегории.

Пуленки I и II (одновременно). А третье условие контракта, сопутствующее двум другим...

Пуленк I (тот, что справа с фонарем). ...и обязательное по закону...

Пуленк II (тот, что слева с факелом). ...и одновременно выполненное...

Пуленк I. ...в отношении человека, лишённого собственности...

Пуленк II.и дальновидности...

Пуленки I и II (вместе). ...это ваша смерть.

Пуленк I первым обрушивает палочный удар на распростертого на земле Нэвилла, а за ним Пуленк II, и снова они бьют по очереди.

Рисунок 6: нижняя лужайка со статуей Гермеса перед фасадом дома... Рисунок горит.

Сеймур снимает маску с лица. Органная музыка.



Горит рисунок с приставной лестницей.
Пуленки снимают маски.
Горит рисунок парадного парка.
Тэлманн снимает маску.
Горит рисунок с рубашкой, висящей на ветках дерева.

Растерзанное тело Нэвилла на земле, освещаемое лишь пламенем горящих рисунков.

Конная статуя под стеной, в темноте; люди проносят тело Нэвилла и бросают его в воду напротив монумента. Наверху все так же горит одно окно. Музыка. Люди медленно уходят.

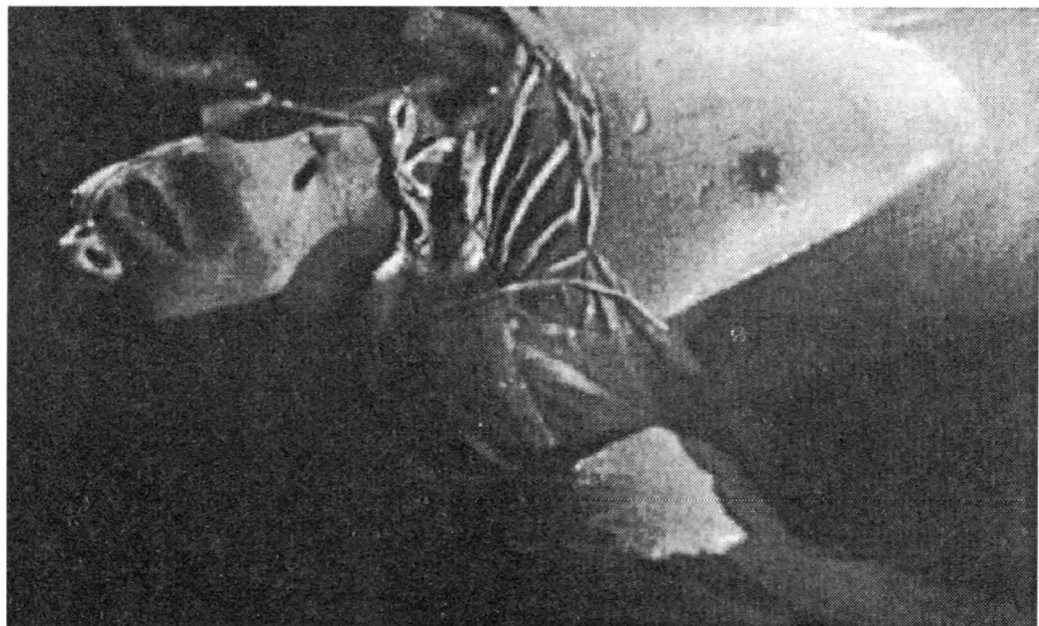
Конная статуя; у подножия постамента в чаше горит свет. Музыка. Вдруг всадник начинает шевелиться. Разминая затекшие от долгой неподвижности члены, он медленно слезает с лошади. Конец музыки.

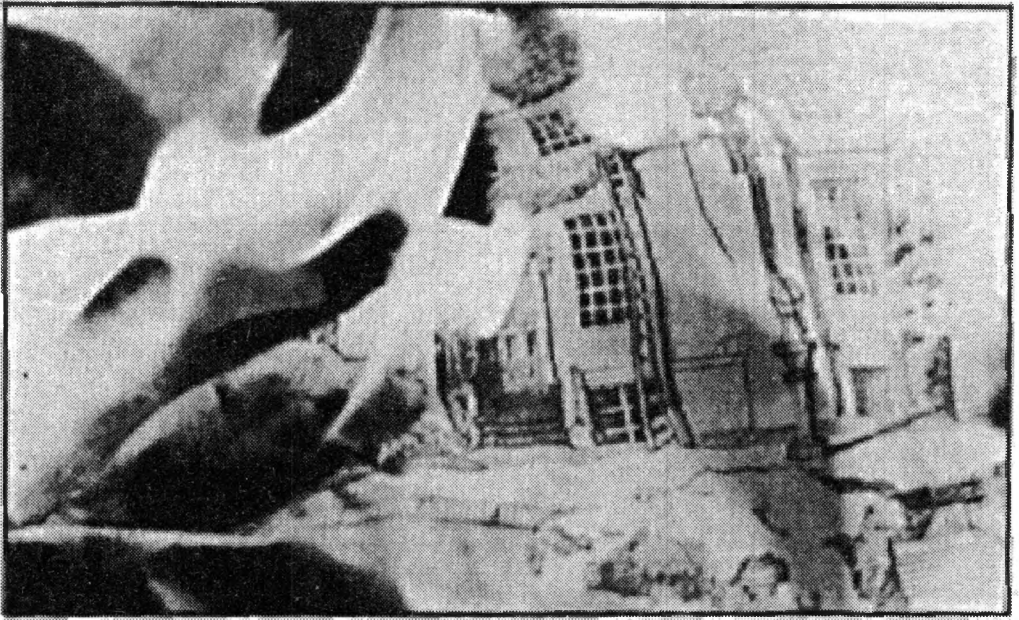
Горит рисунок N9 с тисовой аллеей. Именно в этой аллее миссис Тэлманн раздалась среди кустов... Треск огня.

Живая статуя слезает с лошади.

Теперь очередь гореть рисунку N3 с простынями на изгороди. Деталь: редингот, висящий среди простыней.

Живая статуя спускается с постамента в воду. Плеск воды.





Неподвижные голова и плечи Нэвилла в воде. На них следы побоев... Брызги крови.

Горит следующий рисунок с окнами на фасаде дома...

Живая статуя вылезает из рва. Справа одежда Нэвилла.

Ананас.

Горит последний рисунок Нэвилла: конная статуя.

Живая статуя подносит половинку ана-

наса ко рту и жадно впивается в нее зубами. Чавканье. Она закрывает глаза от удовольствия. Когда она отнимает ананас от лица, рот и кончик носа оказываются розовыми. Грим остался на ананасе.

Горящий рисунок с конем...

Голова живой статуи с отвращением выплевывает откушенное. Громкая музыка; финальные титры белыми буквами на черном фоне.



Мишель Бюжо

ПИТЕР ГРИНУЭЙ: ВДОХНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ ЖИЛИЩЕ

От фильма к фильму Гринуэй – архитектор грез, энтомолог воображаемого и мастер кадра – выскивает знаки иной реальности и составляет их описание. Человек фанатичного, энциклопедического ума, он ловит логику в ловушку всевозможных обманок и зеркал. Он доводит до головокружительных пределов свою манию классификации, статистики и каталогизации с тем, чтобы выразить свое почтение тайне.

– Моя страсть к статистике, дух коллекционирования? Это у меня прежде всего от Борхеса, которого я открыл для себя в 16 лет. Я помню, как смотрел "Седьмую печать" Бергмана в маленьком зальчике. Я не думал, что кино существует для того, чтобы проводить какие-то идеи, в чем заключается роль литературы. Но я по-прежнему думаю о живописи. Я считаю, что 90% моих фильмов так или иначе отсылают к картинам. "Контракт" – вполне открыто к Караваджо, Жоржу де ла Туру и другим французским и итальянским художникам.

– *Вам наверняка известно, что "Контракт рисовальщика" вызвал во Франции настоящий культурный шок. Эффект НЛО!*

– Я очень рад, что смог произвести впечатление на французов, потому что для меня Франция – царство кино. Возможно, вы заметили, что в "Контракте" мистер Тэлманн считает английскую живопись антиномией? Это аллюзия на высказывание Трюффо, говорившего то же самое об английском кино! Перед съемками я не объяснял съемочной группе, чего я хочу, а показал им 5 европейских фильмов: "Казанову" Феллини, "Последнее танго в Париже" Бертолуччи, "Маркизу О" Ромера, "Хронику Анны Магдалены Бах" Штрауба и, главное, "Прошлым летом в Мариенбаде" Рене – это по-прежнему основополагающий для меня фильм.

– *Что увлекательно в "Контракте", так это то, что там несколько уровней "чтения": то, что видит художник, то, что видит камера, и то, что вижу я, зритель.*

– Именно различие между этими видениями и рождает интригу. Это похоже на метафору, но так часто и бывает в истории. Все вертится вокруг различий в зрительном восприятии.



Питер Гринуэй (Peter Greenaway) родился в Англии в 1942 году. Начиная как художник, впервые выставившись в Lord's Gallery в 1964. С 1965 в течение одиннадцати лет работал монтажником в документальном кино и считает этот период необычайно для себя важным. С 1966 снимает собственные фильмы, не оставляя занятий живописью. Музыка и живопись всегда были в его фильмах необычайно важны. Любовь российского зрителя к Гринуэю возникла несколько лет назад с показом в Москве одной из самых знаменитых его картин – **"Повар, вор, его жена и ее любовник"** (1989). **"Отсчет утопленников"** (1988) получил премию Каннского фестиваля за вклад в развитие киноискусства. **"Контракт рисовальщика"** (1982), финансируемый Британским киноинститутом при поддержке IV канала британского телевидения, стал одним из ключевых произведений нового английского кино.

– Герой "Контракта" мистер Нэвилл в каком-то смысле кинорежиссер. Он инсценирует реальность. Он ее организует.

– Прототипом мистера Нэвилла послужил художник, который зарабатывал на жизнь рисуя жилища богатых людей году так в 1690-м. Назначением таких картин было дать владельцам доказательство их богатства... Если Нэвилл в самом деле ведет себя как режиссер, объясняя людям, чего он от них ждет, то миссис Герберт – "продюсерша". Фильм можно воспринимать как размышление об отношениях между режиссером и продюсером... Используемый в фильме оптический аппарат воспроизводит пропорции золотого сечения, как их определяли Пуссен или Клод Лоррен. Такие ссылки не всегда очевидны для широкой публики, но мне доставляют определенное удовлетворение...

– Там ведется целый разговор о роли плодов и их символике...

– Весь фильм посвящен теме плодovitости и бесплодия. Фильм начинается с того, что мы видим крупным планом человека, поедающего на черном фоне фрукт, и кончается другим крупным планом человека, поедающего плод в темноте. Но только первый плод – слива, символ похотливости, а второй плод – ананас, символ гостеприимства. Там есть и гранат – плод райского сада, похищенный Персефоной, чья история рассказана в фильме дважды. Есть и постоянные ссылки на оранжерею и апельсиновые деревья, через Вильгельма III Оранского...

– Ваш метод письма очень необычен: вы начали с того, что написали значительное количество диалогов еще до того, как писать сцены...

– "Контракт" в каком-то смысле – этюд, череда соображений в 13-ти рисунках; такова его структура: 12 + 1. Вы, наверное, читали, что идея фильма возникла в 1976 году. Я был на западе Англии, в Уилтшире, где жил Уильям Бекфорд, автор первого английского готического романа "Ватек". Я жил у друга в скромном викторианском жилище, служившем обителью для французских монахинь, и упражнялся в зарисовке теней, скользивших по дому. Но мне все время мешали дети и стадо соседских баранов. Так родился замысел фильма. Но поскольку в 1976 году дом, скорее, запечатлели на фотографии, чем нарисовали, пришлось перенести действие в дофотографическую эпоху, во времена Георга III, короля, помешанного на садоводстве, который больше интересовался архитектурой, чем монархией. И мы перенесли действие в 1694 год: в эту эпоху католикам и Стюартам пришлось протянуть руку немцам и голландцам-протестантам. Это год основания Банка Англии; примерно в эту эпоху англичане начали интересоваться живописью и рисунком, а до тех пор английскими художниками были иностранцы – Гольбейн, Ван Дейк, Рубенс и т.д. Разговоры становятся возвышенными, изысканными, литературными, поведение – очень жеманным.

– Нас весьма заинтриговала живая статуя...

– Вначале она была призвана играть в сюжете гораздо более важную роль. Наша гениальная гримерша тратила часы на превращение актера в статую, кладя ему на уши пену, на тело – улиток... По сути это повод для разрядки, английская традиция "Зеленого человека" и Киплинга, развлечение посреди напряженной драмы. Это символическое существо, олицетворяющее природу и парки; в английской литературе ему родствен персонаж шута. В эту эпоху английские протестанты путешествуют на юг Европы, привозят оттуда статуи и ставят их в своих садах как свидетельство того, что человек состоятелен. И мистер Герберт, то ли по незнанию, то ли потому, что он хочет показать своим друзьям, что побывал в Средиземноморье, нанимает человека, который должен играть роль статуи. А этот слуга, немножко сумасшедший простачок, перегибает палку!

– Устраивает ли вас французское название вашего фильма – "Убийство в английском парке"?

– Оно слишком определенное. Английское слово "draughtsman" – "рисовальщик" имеет множество других значений, позволяющих играть смыслами: сквозняк, глоток, закидывание невода, улов, доза лекарства, игра в шашки и т.д. Точно так же, "contract" может означать и брачный договор, и торговую сделку... В моем фильме все доведено

до крайностей: и язык, и слишком зеленый цвет пейзажа (мы использовали специальные зеленые фильтры), и костюмы, совсем не соответствующие исторической реальности, и непомерно высокие прически дам. Я хотел сделать очень искусственный фильм. Соответствие исторической правде меня не волновало. Нам повезло с костюмершей, которая при смехотворном бюджете творила чудеса.

– К "Контракту", как и к большинству ваших предыдущих фильмов, музыку написал Майкл Найман. Считаете ли вы, что это музыкант, больше всех прочих способный содействовать воплощению ваших замыслов?

– Мы знакомы с Майклом давно и, по-моему, очарованы нашим сотрудничеством! В данном случае я хотел, чтобы музыка задавала структуру изображения, а не наоборот. Обычно в кино равновесие между изображением и музыкой бывает нарушено.

– Какое положение занимаете вы в английском кино?

– Весьма изолированное, особенно среди режиссеров. Даже успех – и финансовый, и у критики – "Контракта рисовальщика" не слишком помог мне в финансировании других моих планов. Сейчас я занят как никогда – много работаю для телевидения, снимаю документальные фильмы, но идеальная для моего воображения длительность – это все-таки полнометражные фильмы.

"L'Avant-Scène Cinéma", № 333, октябрь 1984



ИЗ БЕСЕДЫ АНЬЕС БЕРТЭН-СКАЙЕ С ПИТЕРОМ ГРИНУЭМ

...В большинстве моих фильмов есть несколько смысловых уровней. Так, в "Контракте" было желание раскрыть символику плодов, фруктов, изучить связи между высшими слоями общества и низшими, между миром господ и миром слуг. Большая часть тем исчезла, остались только жалкие следы, способные, я надеюсь, вызвать интерес, стимулировать воображение, будить чувства.

– Притерпела ли ваша режиссерская манера эволюцию в смысле большей подвижности камеры?

– Камера стала намного больше двигаться. У меня есть очень длинные планы, они могут длиться до пяти минут, как в "Контракте рисовальщика". Моя точка зрения субъективна, но я никогда не следую за персонажем в его передвижениях на площадке. Актеры, с которыми я работаю, это знают, большинство*из них имеют большой опыт работы в театре. В условиях голливудского кино камера – рабыня актера, актер – король, перед которым камера постоянно делает реверансы. Моя манера связана с традицией английского театра. Я питаю интерес к положению человеческого тела на фоне ландшафта, к тому, насколько оно соответствует живописной традиции...

– Как по-вашему, кино есть нечто ненастоящее по определению, а обман – его нетъемлиемое качество?

– Это искусство иллюзий, высшая степень обмана. Я хочу, чтобы зрители знали, что пока они смотрят картину, они включены в игру зрителя и режиссера, и правила этой игры весьма необычны. В моем представлении кино – это обширная область, в пределах которой я могу раскрывать различные идеи, и мне не нужно, чтобы оно было реальным и верно отражало мир. Напротив, это идеальное средство выражения.

– Многие моменты в ваших фильмах явно оправдывают сравнение с Набоковым: это и вкус к игре, и любовь к фотографии, и увлечение насекомыми...

– Мой отец был орнитологом, и мне хотелось пойти по его стопам, но найти в этой же области такой уголок, который был бы только моим. Отец страстно любил птиц, а я обратился к тому, что птицы ели. Так я заинтересовался энтомологией... И я больше люблю монтировать фильм, чем снимать, испытывая удовольствие, подобное тому, которое испытывает человек, когда рассматривает склянку с насекомыми и пытается определить их место в природе, чтобы выяснить, нет ли среди них нового вида.

– *Как вы миритесь с тем, что вас сравнительно мало ценят в Англии?*

– Действительно, странно, что люди по-настоящему интересующиеся моим творчеством, не говорят по-английски. Мое кино вызывает несравненно больший энтузиазм за рубежом.

– *Вы однажды сказали, что жестокость, насилие обязательно предполагает чувство ответственности.*

– Практически всегда насилие в кино – насилие, характерное для рисованной мультипликации об утенке Дональде, когда вопрос об ответственности вообще не стоит. На мой взгляд, стиль моих фильмов, с его особым набором приемов, с повторами, с театральными эффектами и оперными ассоциациями, ясно показывает, что я пытаюсь внимательно посмотреть на проблемы насилия, чтобы показать, что в каждом случае у них есть причины и следствия...

"L'Avant-Scène Cinéma", № 417–418, Decembre 1992/Janvier 1993

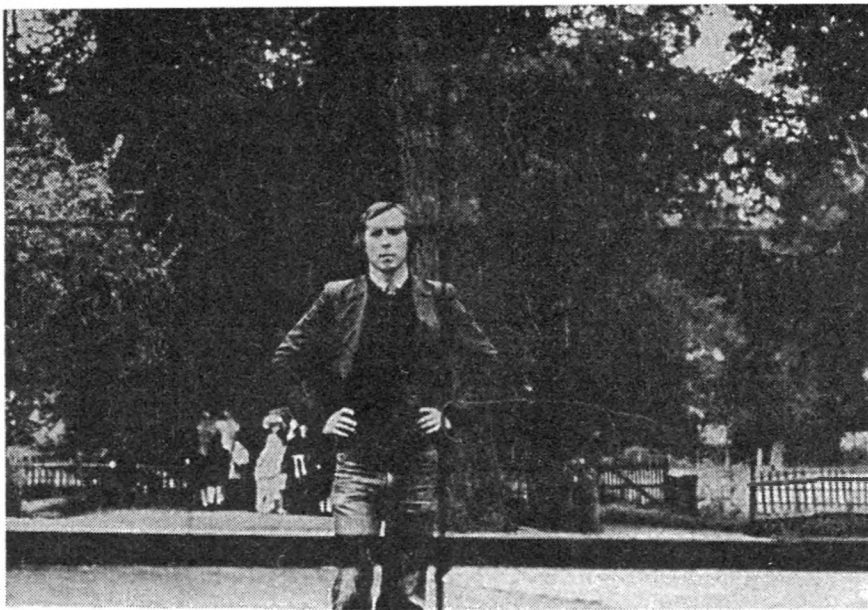


Питер Гринуэй – один из тех современных режиссеров, которые больше всего верят во взрывную силу изображения. Повествование и персонажи улетачиваются: режиссура производит короткое замыкание живописных средств и темы. Если включиться в эту игру, результат нельзя не счесть ослепительным.

– Из восьми ваших полнометражных фильмов действие трех происходит в прошлом, в XVII веке – в его начале в "Книгах Просперо", в середине в "Дитя Макона", в конце – в "Контракте рисовальщика". Вас явно привлекает этот период.

– Исторические фильмы кажутся мне похожими на научную фантастику, они дают свободу воображению. Так как я снимаю картины метафорические, сказочные, символические, мне вольготнее, когда я удаляюсь от современности, от мимикрии окружающей действительности. Диалоги у меня – намеренно декламационные, искусственные, они не похожи на нормальную беседу, я лучше чувствую себя с литературой, которая начинается с Шекспира, заканчивается театром Реставрации и тяготеет к тирадам, игре слов, загадкам, аллегориям. В этом, несомненно, еще одна причина моей зачарованности этим веком. И, конечно же, барокко и все с ним связанное. Конец нашего века кажется мне барочным с двух точек зрения: во-первых, избыток деталей, масса информации; во-вторых, идея иллюзии и ее следствия: обман и сопутствующая ему пропаганда – политическая или рекламная. ...Проблемы стиля доставляют мне острое наслаждение, так же, как изучение Истории. Можно сказать, что истории не существовало, что были только историки. В этом смысле я хотел бы быть историком. ...Кино – идеальная барочная форма, оно играет тенями и иллюзией, оно сочетает разные способы выражения.

"Positive", № 395, январь 1994



Питер Гринуэй. 1981 г. На съемочной площадке "Контракта рисовальщика".

Б. Бенольель

ПИТЕР ГРИНУЭЙ. "КОМИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ"

...Главный герой "Контракта рисовальщика" – мистер Нэвилл (актер Энтони Хиггинз), самоуверенный и циничный, принуждает людей и вещи выполнять то, что ему угодно, и наслаждается своей властью. Вооруженный оптическим видеоискателем и расчерченным на квадраты белым листом бумаги, он заключает в эти клетки мир и становится хозяином сцены. Не пейзажист служит своему сюжету, а наоборот: его искусство (или техника?) – апология порядка и строгости, которые должны править миром. Вся эстетика этой картины может быть сведена к комбинациям горизонтальных и вертикальных прямых.

Мистер Нэвилл распоряжается и временем ("Для выполнения рисунка № 1 с 7 до 9 утра..." и т. д.) и пространством ("У мистера Нэвилла почти чудесная способность опустошать пейзаж"). Кажется, еще немного – и он повернет летящих птиц и изменит направление ветра. Границами своей рамки Нэвилл свел природу к границам своего мира. Все что за пределами – не существует. Впрочем, персонажи, кажется, принимают эти правила: приближаясь из глубины кадра, они движутся в пределах визирной рамки и в них, за редким исключением, остаются надолго.

Одержимость перечнями, столь характерная для Гринуэя, эта "таксономическая мания" (Филипп Пиляр), есть не что иное, как материализация попытки овладеть реальностью благодаря технике. Его фильмы полны ботаников, энтомологов, садоводов, зоологов, судебно-медицинских экспертов, поваров, иконописцев, секретарей суда, которые прикрепляют ярлыки, делят на квадраты, подсчитывают, производят перепись и т.д. Но эта сеть перечислений оказывается неоперативной, когда речь заходит о причинах смерти выбросившегося из окна или утопленника. Так, мистер Нэвилл не способен обнаружить убийцу мистера Герберта, строя предположения и догадки. На самом деле достаточно ввести понятие причинности – и уверенность уступает место гипотезам. Откуда в конечном счете следует, что умножение примеров ничему не учит. Таксономия, этот принцип упорядоченности, возможностей овладеть действительностью не дает. И тогда обнаруживается, что одержимость Гринуэя классификацией и переписью – просто самоцель, то есть игра. С этой точки зрения, стремление Нэвилла все резюмировать предвещает

нарциссическую манию французских энциклопедистов собрать всю информацию о мире в одном месте, образе универсального вместилища – будь то книга или полотно. А фильм? Гринуэй не отрицает, что такое пари его увлекает. Одновременно он сознает искусственность такого проекта: "Нам хорошо известно, что попытки энциклопедизации всегда более или менее обречены".

Беспрерывно смотреть на мир еще не означает проникнуть в его тайну. Реальность остается непрозрачной, и живопись (как и фотография) не способны сделать ее таковой. За первой открывшейся глазу картиной всегда оказывается другая, более верная реальности, за ней еще и еще. "И так – до подлинного отображения реальности – абсолютной, таинственной, уловить которую не может никто" (М. Антониони). Художник Нэвилл, преисполненный мастерства и обманутый собственными глазами, захотел вписать реальность в предел, исчерпать ее избыток, чтобы лучше ею овладеть. Он не учел, что природа может взбунтоваться. Олицетворяемая загадочным фавном, живая статуя появляется на экране, переставляя колонны, поднимаясь на крыши и пьедесталы. Он старается внести беспорядок в английский парк, берет реванш за живую природу, заключенную в разграфленное пространство. В последней сцене статуя в центре кадра символизирует триумф того, что "за кадром". Когда все герои фильма перемещаются из клетки в клетку, соблюдая границы, прочерченные на листе рисовальщиком, фавн, как шахматный слон, смеется над этой глупой логикой, прогуливаясь по диагонали. Адепт непредсказуемого движения, он гуляет по полотну художника и в мире режиссера – неконтролируемый, иконоборческий элемент. Как на картинах Пуссена или Лоррена, природа утверждает, что она столь же, если не более важна, чем персонажи, для которых она – фон и задний план.

Если бы мистер Нэвилл не спутал пронизательность со слепотой (слепой в переносном смысле на протяжении всего фильма, Нэвилл в финале будет лишен зрения в прямом смысле), он расшифровал возникающие в его рамке знаки-предвестники: лестница, сапоги, рубашка, жакет, накидка... и стадо баранов (изгнанные Нэвиллом из одного кадра, они в следующем вновь оказываются в решетке рисовальщика), туман, в котором растворяется пейзаж и, наконец, огонь, пожирающий набросок. Не означают ли все эти вторжения еще и то, что власть рисовальщика ничтожна и он быстро достиг ее пределов? Когда считаешь себя Богом, рано или поздно приходится сделать печальное открытие, что ты человек. Имеет ли этот точно определенный переход эквивалент в фильме Гринуэя? Сцена между мистером Нэвиллом и миссис Тэлманн, дочерью миссис Герберт, которой художник, согласно контракту, пользовался как женщиной, построена по этой схеме. Расположенная точно в середине фильма (6 картин уже выполнены, еще 6 остается), сцена эта – момент резкой перемены, когда реальность начинает от художника ускользать. Он сидит, она стоит. Он впервые начинает видеть, что другие так же играли им, как он играл ими. Этому внезапному осознанию сопутствует кинематографический катарсис: камера занимает место, которое обычно занимал Нэвилл, – за его визирной рамкой-сеткой, в то время как он находится перед ней и полностью перемещается в ее пределы. Он уже не снаружи, в позиции судьи, он – объект реального мира.

Гринуэя волнует философская иллюзия и, более прозаически, – женщина, истинно "познающее существо" всех его полнометражных фильмов. Во всех без исключения картинах Гринуэя мужчина становится жертвой заговора и синдромом поражения. Его убивают или он кончает с собой. Зато женщина – настолько же позитивное существо, насколько мужчина – негативное. Вначале зависимая, она понемногу освобождается от мужского ига. Нэвилл становится не нужен после того, как забеременела миссис Тэлманн. В конце концов реальность от Нэвилла ускользает. Полная беспомощность. Истинная реальность неуловима. Доведенное до предела желание получить информацию и понять не позволяет открыть мир таким, каков он есть, но может оказаться весьма забавной игрой ума. Гринуэй не только интеллеktуал и эстет конца века, он британский юморист, смеющийся над нашим стремлением к интеллектуализации. Хотя его сюжеты глубоки, он не принимает их всерьез, и эпилоги его фильмов показывают меру отстраненности его взгляда.

"La revue du cinéma" № 475, октябрь 1991 г.

"ЗЕРКАЛО" "ЗЕРКАЛО"

14 июня 1995 года в редакции журнала "К и н о с ц е н а р и и" были объявлены результаты первого тура российского негосударственного конкурса на лучший сценарий среди профессионалов, работающих в кино

"ЗЕРКАЛО"

"Зеркало" – это не только фильм Тарковского, ставший этапом в отечественной кинематографии, это - своего рода точка отсчета;

"Зеркало" – это способ отображения окружающей нас действительности;

"Зеркало" – это возможность пристально взглянуть в себя, в нас;

"Зеркало" – это способ увидеть прошлое и будущее России, ибо одно без другого невозможно.

СОСТАВ ЖЮРИ:	КОНКУРС ПОДДЕРЖИВАЮТ
Марк ЗАХАРОВ (председатель)	коммерческие структуры,
Кшиштоф ЗАНУССИ	банки и общественные деятели:
Алексей GERMAN	Владислав СУРКОВ
Григорий ГОРИН	(банк "МЕНАТЕП")
Юрий АРАБОВ	Андрей ВАВИЛОВ
Вадим АБДРАШИТОВ	(зам.мин. финансов)
Валерий ФРИД	Ирина ХАКАМАДА
Резо ГАБРИАДЗЕ	(депутат Госдумы)
Наталья РЮРИКОВА	Дмитрий СУХИНЕНКО
(гл. ред. журнала "Киносценарии")	(президент "РИНАКО")

В первом туре приняли участие более 300 кинодраматургов, прислав на конкурс 420 заявок, зашифрованных под девизами. 10 победителей получили по 1000\$, пять заявок, набравшие высокий балл, награждены поощрительными премиями и их авторы смогут участвовать во втором туре конкурса – на лучший сценарий полнометражного фильма.

II тур будет проходить с 1 июня по 15 октября 1995 года.

Победители II-го этапа получают 5 премий

I премия	– \$ 15000
II премия	– \$ 10000
III премия	– \$ 7000
IV премия	– \$ 3000
V премия	– \$ 3000

Организаторы конкурса выражают благодарность лично СУРКОВУ ВЛАДИСЛАВУ ЮРЬЕВИЧУ, члену совета директоров банка "МЕНАТЕП", и ХОДОРКОВСКОМУ МИХАИЛУ БОРИСОВИЧУ, председателю правления банка "МЕНАТЕП"

"ЗЕРКАЛО" "ЗЕРКАЛО"

ЗЕРКАЛО "ЗЕРКАЛО"

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ТУРА

Тимм Алексей Валентинович

"Дни радости, или след предыдущей жизни" (девиз "СТРЕЛЕЦ")

Александр Миндадзе

"Время танцора" (девиз "ПУТЕШЕСТВИЕ")

Буравский Александр Миронович

"Песня о Родине" (девиз "КОНЧАЙ КУРИТЬ")

Гоноровский Александр Александрович

Ямалеев Рамиль Кимович

"Первые на Луне" (девиз "ПЕШКА")

Сурина(Криницина) Алла Евгеньевна

"Импровизация" (девиз "БРОМ")

Васильева Ирина Борисовна

"Посредник" (девиз "РА")

Усов Анатолий Николаевич

"Русский" (девиз "ТОТ, КТО ПОСЛЕДНИЙ")

Митько Евгений Николаевич

"Лицо кавказской национальности" (девиз "ЧУЖАЯ БОЛЬ")

Черных Валентин Константинович

"Женщин обижать не рекомендуется" (девиз "КРОКОДИЛ")

Добродеев Борис Тихонович

"Проклятый" (девиз "ЧАРА")

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Гельман Александр Исаакович

"Баллада о животах" (девиз "ОБЛАКА")

Зверева (Кожина) Мария Изольдовна

Квирикадзе Ираклий Михайлович

"Кабан" (девиз "ЕВРОПА")

Фридберг Исаак Шаевич

"Гимназистка" (девиз "СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ")

Луцик Петр Николаевич

Саморядов Алексей Алексеевич

"Сказка о том, что мы можем ..." (девиз "ВЕТЕР")

Миндадзе Александр Анатольевич

"Маскировка" (девиз "СВИДАНИЕ")

Кто бы мог подумать, что история поручика Кижэ, сотворенная творческой фантазией Ю. Тынянова, повторится и в жизни, но только в совершенно противоположном варианте. И не в павловские, а в советские времена.

Этот новый "Кижэ" – уже не мифический герой, а абсолютно реальная фигура. Однако многие десятилетия у нас в стране делали вид, что такого человека на свете вообще не существует. Нет и не было, даже если его кто-то знал, видел, встречался с ним в жизни.

Всякое упоминание имени этого человека было под строжайшим запретом. Его фотографии нигде не публиковались.

В чем же причина этой таинственности, в чем провинился этот загадочный "неизвестный" перед Советской властью? Тем, что стоял по другую сторону баррикад в годы революции и гражданской войны? Что на дух не выносил большевиков? Но таких было великое множество. Нет, не в этом главная причина сокрытия его имени – имени Зиновия Пешкова. Все гораздо проще и анекдотичнее – этот человек в глазах Советской власти был позорной фигурой, кошмарно компрометирующей дух великих людей. Он был, увы, родным братом ближайшего соратника Ленина, председателя ВЦИК Якова Свердлова и, к несчастью, приемным сыном буревестника революции Максима Горького, ставшим впоследствии "политическим отщепенцем", "изменником Родины", "ренегатом".

Я и сам, признаться, когда-то сомневался – существует ли вообще такой человек? Особенно укрепили меня в этих сомнениях беседы с родным сыном Якова Свердлова – Андреем Яковлевичем, с которым несколько раз меня сводили кинематографические дела. Буквально с пеной у рта он утверждал, что никакого дяди у него за границей нет, что все это фантазии западной прессы и выдумки наших зловерных обывателей.

К тому времени сын Свердлова уже оставил работу в славных органах (где он был следователем) и стал почтенным научным сотрудником в достопамятном институте марксизма-ленинизма. Так что ему вроде нельзя было не верить...

Но в 60-е годы, работая с режиссером С. Арановичем над двумя документальными фильмами "Друг Горького – Андреева" и "Горький. Последние годы" (этот второй фильм пролежал под запретом 20 лет), я вдруг набрел в архиве музея писателя на отпечатки старых негативов, еще начала века. На них рядом с Алексеем Максимовичем, а иногда в обнимку с ним стоял один и тот же смуглый молодой человек. Сотрудники музея под большим секретом поведали мне великую тайну – это и был загадочный НИКТО – Зиновий Свердлов, взявший фамилию своего приемного отца – Пешков. На одной из фотографий он был даже запечатлен за спиной самого Ленина, играющего в шахматы на Капри. Так "поручик Кижэ" обрел на моих глазах плоть и кровь, перестал быть невидимкой...

И вот много лет спустя захотелось рассказать о причудливой судьбе этого человека, достойной большого приключенческого романа. Пора, наконец, "расшифровать" эту личность на экране.

Проклятый

хроника неизвестной жизни

В светлой парижской квартире с окнами на площадь Лафайет благородная старуха княгиня Саломея Андронникова перечитывала рукопись. Когда гостиную наполнил голос юной праправнучки Жаннет, княгиня вздохнула: "... и рукопись окончена моя!" Жаннет ответила, что готова помчаться к машинистке хоть сейчас. Девуш-

ка взмахнула мотоциклетным шлемом, и от его стекла скользнул по стене солнечный зайчик.

Жаннет мчалась на легком мотоцикле по парижским улицам. На перекрестках с Жаннет заигрывают водители. Зеленый свет – и мотоцикл с ревом вырывается из автотолпы. Но вот водители стали ей что-

то кричать, указывая на что-то позади нее. Небрежно укрепленную на багажнике рукопись растрепал ветер, он выдувал из нее листок за листком, и они кружились за мотоциклом Жаннет, опадая на асфальт и тротуар.

С повинной возвратилась Жаннет к своей пра-пра, ждала старушечьих упреков, причитаний, слез. Но княгиня Андронникова – уже на пороге своего девяностолетия, привыкшая не к таким потерям, – сказала со странной улыбкой, что даже книгу о нем преследует проклятье.

Стали складывать оставшиеся страницы.

Страница 8

... недолюбливали друг друга. Младший брат был фанатиком революции, писал прокламации. В их окружении была гимназистка Рива. Она считала себя социалисткой и поэтому вела свободный образ жизни. Младший брат относился к ней романтично-восторженно, и когда она однажды запустила в него снежком, он берег этот снежок в погребу до весны, опускался в погреб, прикладывал ее снежок к губам... Когда младший брат узнал, что Рива влюбилась в Старшего и тот ее соблазнил, младший брат ударил Старшего. В жестокой драке Старший избил младшего в кровь. Младший пожаловался в полицию. В полночь Старший возвращался домой. Заглянул в окно – отец братьев, благообразный еврей в ермолке Мовша Израилевич, указал глазами на поджидавшего его городского.

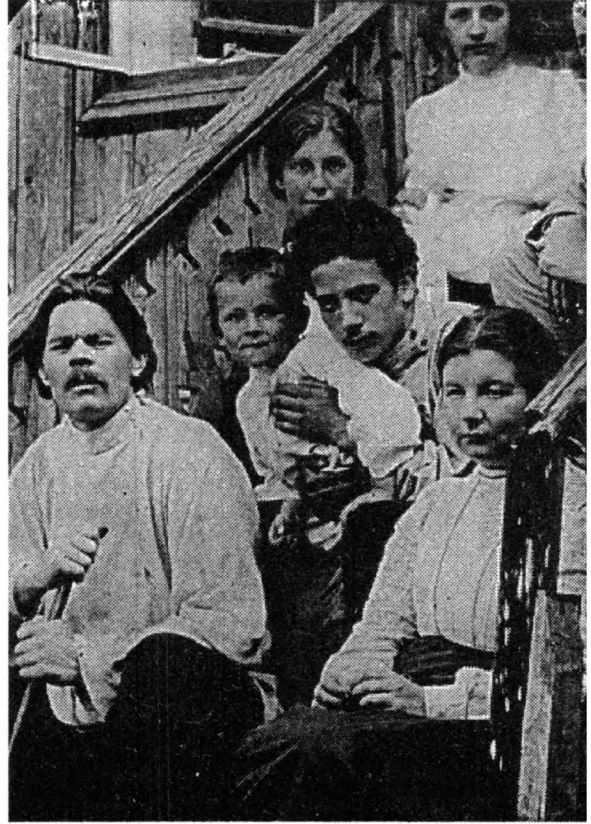
На станции на тормозной площадке последнего вагона чадил за красным стеклом керосиновый фонарь. Поезд тронулся. Старший брат вскочил на подножку.

Он приехал в Арзамас. Там отбывал ссылку их сосед по Нижнему Алексей Пешков. Горький только что закончил пьесу "На дне" и пожелал, чтобы читка была на разные голоса. Старшему брату досталась роль Васьки Пепла. Немирович-Данченко его похвалил: из парня может получиться актер. Но возникло препятствие: еврей не мог проживать в Москве. Тогда Горький предложил: "А давайте я усыновлю Зину, чтобы он смог учиться в студии Художественного". Зиной Горький называл Зиновия, старшего брата.

Страница 12

...и запись в метрической книге Троицкой церкви в Арзамасе:

"По чину православной Восточной церкви через таинство крещения и миропомазания присоединен к православию полоцкий мещанин Ешуа Зиновий Мовшев Свердлов 18-ти лет от рождения с присвоением согласно его желанию отчества и фамилии приемника Алексея Пешкова".



М.Горький с семьей и близкими в период его ссылки в Арзамас. В центре – З.Пешков, у него на руках Максим – сын Горького.

Страница 18

...с вывеской на бревенчатой стене – "ТИПОГРАФИЯ СВЕРДЛОВА".

Отец Мовша Израилевич тыкал в Зиновия пальцем: "Ты нарушил святую заповедь: не предади отца своего", а ты предал, взял другую фамилию и отчество..." Зина возражал: "Я стану актером Художественного. Только ради этого я – Пешков". "Ты опричник! – кричал Мовша Израилевич. –

Только опричники отрекались от отца-матери. Так будь ты проклят! Чтоб лестница твоей судьбы оказалась трухлявой! Чтоб каждый раз, ступая на свои жизненные ступени, они под тобой подламывались и ты ломал бы себе шею о твердую землю! Будь проклят, проклят, проклят!"

Яков Свердлов люто ненавидел старшего брата, поэтому не вмешивался.

Страница 27

...сердился Немирович-Данченко: "Скованно двигаетесь, Пешков! Не узнаю вас! Что с вами произошло? Ноги будто чугунные!"

Зина заметил, что в ближней ложе юная княжна Андронникова что-то шепчет спутнице, указывая глазами на Зину, и вдруг пошел прочь со сцены. "Вы куда, Пешков?" – крикнул Немирович-Данченко. "В Америку", – ответил Зина.

Подойдя к ложе, Зина сказал княжне: "Разрешите, барышня, пригласить вас в Америку? Мы найдем там золотой самородок и купим этот театр с потрохами". Княжна Андронникова рассмеялась в лицо.

Страница 31

...копал в "городе желтого дьявола" канавы, лушил кукурузу. Ему не давали покая лавры Мартина Идена; Зина писал, писал... Знаменитый американский издатель заплатил за повесть двести долларов, после чего вышвырнул рукопись в окно 24-го этажа. Разъяренный Зина вывалил сытое тело издателя за подоконник и, держа за щиколотки вниз головой, потребовал, чтобы тот сбегал вниз и собрал листки... Но издатель вопил, что из уважения к его отцу – великому Горькому – он никогда не издаст графоманскую галиматью господина Зиновия Пешкова.

В кабинет вбежала дочь издателя Лиз, умоляла Зину отпустить отца...

Страница 45

Марии Федоровна Андреевой Зина представил Лиз как невесту. Неожиданно на Капри нагрянула парижская пассия Мария, секретарь писателя Амфитеатрова. Двусмысленное положение Зина разрядил за завтраком, обратившись к Лиз и Марии: "Если бы я был персидским шахом, я бы

женился на вас обеих". "И еще на трех", – шепнула Мария Федоровна Горькому. "Но женишься на мне", – твердо заявила Мария.

– Это почему же? – спросил Зина.

– Потому что я беременна, – ответила Мария. А Лиз заплакала.



М.Горький в кругу американских друзей во время посещения США в 1906 г. Позади М.Горького – М.Андреева, справа от нее – З.Пешков.

Страница 55

В черных шелках на белом лакированном фаэтоне приехала княжна Андронникова. В тот вечер Зиновий Пешков забыл, что он на своей свадьбе, забыл о беременной невесте, забыл о приличиях – он танцевал с гостьей, только с ней, и на следующее утро после скандала, рассорившись с Марией Федоровной и Горьким, Зиновий уехал с Капри вслед за княжной Андронниковой в Рим*.

*Отношения Зиновия Пешкова с А. М. Горьким – сложная линия, требующая подробной сценарной разработки. Суть ее в следующем: с Горьким Зиновий все же разошелся. Горький уговаривал себя, что, несмотря на все ошибки и издержки, большевики благотворны для России. Зиновий большевиков не принял. Так он потерял и второго отца – и тоже, считал Зина, из-за того отцовского проклятья.

Страницы 64-65

Сюда, в Рим, доносились из России самые фантастические слухи: большевики сажают на кол аристократов, а их жен и дочерей распределяют по революционным казармам, где женщин насилуют эскадроны казаков.

Саломея Андронникова решает отправиться в Россию, чтобы вывезти за границу отца. Провожая любимую женщину до Парижа, Зина пытается удержать ее, доказывая, что вряд ли ей удастся спасти отца, но сама она – княжна древнего рода – погибнет... Поссорились. Саломея упрекает Зину: если он бросил родного отца, то она бросать своего не станет.

Расстались... В отчаянии, в порыве безрассудства Зиновий записывается добровольцем во французскую армию. Что ж, не стал актером, не стал писателем – станет военным, офицером. Шел 17-й год...

Страница 71

...вскинул руку, увлекая солдат в атаку, – пулеметная очередь прошла кисть в предплечье. На истекшего кровью Зину лишь к вечеру набрали санитары, но решили не брать: все равно помрет по дороге... Долговязый француз-лейтенант приказал везти раненого в госпиталь, пообещал, что проверит. Искал солдатский медальон, чтобы узнать фамилию, – наткнулся на карманные золотые часы и забрал их себе.

Врач предложил ампутировать руку. Зина вынужден был согласиться.

Ночью, мучаясь от боли, Зина вдруг попросил медсестру лечь рядом с ним, потому что для мужчин счастье умереть, обнимая женщину. Молодая француженка исполнила его просьбу, согрела своим телом, и в нем закипели жизненные соки настолько, что уже под утро он смог любить эту женщину.

В палату пришел тот самый долговязый лейтенант. Он обрадовался, что его подопечному стало легче, представился:

– Лейтенант де Голль. А вы – Пешков? – Де Голль возвратил Зине золотые часы с гравировкой на крышке: “С ЗИНУ ЗИНЕ ПЕШКОВУ ОТ ОТЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО”. – Только почему у вас с отцом разные фамилии?

– Мой отец – известный писатель. Горький – это псевдоним.

– Жаль, что я его не читал, – ответил лейтенант де Голль.

Страница 99

Вывеску “ТИПОГРАФИЯ СВЕРДЛОВА” сменил красный флаг, а отец братьев Свердловых теперь проживал в Москве в квартире расстрелянного буржуя. Мовша Израилевич сидел перед книгой “Плач Иеремии”. Когда Зиновий, лейтенант французской армии, поведал о своих несчастьях, отец отвел глаза от пустого рукава сына и удовлетворенно вздохнул:

– Мое еврейское проклятие – это услышанное Богом проклятие, оно страшнее газа иприт, страшнее вселенской чумы, оно найдет тебя, Зиновий, везде, настигнет и накажет.

– Не стал актером... не стал писателем... Освободи, отец, от своего проклятья... освободи! – Зиновий упал перед отцом на колени. – Хочу жить! Хочу счастья! Хочу, чтобы меня любила Саломея Андронникова! – Зиновий вдруг нервно засмеялся: – Освободи, отец, от своего проклятья, вдруг у меня новая рука вырастет!..

– Хорошо, сниму с тебя, сын, свое проклятье, – смягчился Мовша Израилевич, отец братьев Свердловых. – Но для этого ты должен помириться с Яковом – таково мое отцовское условие.

За китайской ширмой украдкой плакала Елизавета Соломоновна, мама.

Страница 97

...встреча проходила на высоком правительственном уровне. Среди членов делегации находился помощник военного атташе, лейтенант Зиновий Пешков. Первый президент Республики Советов Яков Михайлович Свердлов вдруг увидел своего старшего брата в форме офицера французской армии. Зина улыбнулся брату и протянул ему единственную свою руку. Но Яков Свердлов пожать ее отказался и прошел мимо. И Зиновий понял, что презирает и ненавидит фанатиков.

Страница 104

О миссии французского правительства в Москву писали газеты. Зину нашел красавец-грузин, сообщил, что его сестра...

да-да, двоюродная сестра Саломея в Харьковской тюрьме ЧК, а ее отец, князь, расстрелян.

Зина окунулся в кровавый кошмар гражданской войны. Для белых он представлялся советником французской военной миссии, для красных – сыном “буревестника революции”, показывал золотые часы с гравировкой “СЫНУ ЗИНЕ ПЕШКОВУ ОТ ОТЦА ГОРЬКОГО” и совал под нос фотокарточку, на которой стояли в обнимку улыбающийся Горький в шляпе и Зина.

Но в Харькове ни часы, ни фотография не помогли. Революционный трибунал приговорил Саломею Андронникову к расстрелу.

Тогда Зина отбил телеграмму Горькому: “ОТЕЦ, ЗВОНИ ЛЕНИНУ, ТРОЦКОМУ, КАРЛУ МАРКСУ, ЧЕРТУ-ДЬЯВОЛУ, ТОЛЬКО СПАСИ ИЗ ХАРЬКОВСКОЙ ТЮРЬМЫ САЛОМЕЮ АНДРОНИКОВУ”.



В. Ленин на Капри играет в шахматы с А. Богдановым. Справа от М. Горького – З. Пешков.

Страница 123

В Париже они зажили в любви и счастье. Только вот со свадьбой Саломея тянула, отговаривалась, что по грузинскому обычаю должна год держать траур по убитенному большевиками отцу. Зина сочувствовал ее горю и сердился, что траур затягивается непонятно-надолго.

Страница 134

В Военном министерстве Франции Зиновия Пешкова ценили, иначе бы не держали на службе его, однорукого... Капитан Пешков возвратился из Марокко, где уча-

ствовал в инспектировании французского Легиона. Открыл дверь – в квартире тот самый красавец грузин, который нашел тогда его в Москве. “Мой брат”, – прошептала смущенная Саломея. Грузин вдруг сказал: “Зачем обманывать хорошего солдата? Я – муж Саломеи, нас еще родители помолвили, а потом согрели на солнышке воду в корыте и искупали нас совсем-совсем маленьких...”

Не дослушав, Зина швырнул под ноги Саломеи ключи от квартиры – от своей квартиры – и ушел прочь.

Страница 198

Он решил вернуться в семью, решил быть рядом с дочкой Ниночкой. Но маленькая девочка, завидев его, закричала, забившись в угол: “Папочка, прогони этого страшного дядьку, ой, у него только одна рука!”

Из соседней комнаты вышел мужчина с намыленным для бритья лицом – новый муж Марии, и Зина откланялся.

Страница 198

...сидела девушка лет семнадцати, и Зина говорил: “Отец мой – твой дедушка Михаил Израилевич – считал, что я его предал, взяв фамилию Пешков. Теперь ты, дочь моя, меня... Я не имею в виду, что ты маленькой кричала: “Папка, убери этого однорукого!...” Сейчас я о твоём решении выйти замуж за совдипломата. Разве ты, Ниночка, не знаешь, что у меня от большевиков изжога?” “Но у меня – нет”, – улыбнулась дочь. “Выйдешь замуж за большевика – проклянута”, – пошутил Зина.

“А я не боюсь твоего проклятья, отец”, – серьезно ответила дочь.

Страница 203

Мужчина лет тридцати, изящный, с добрыми глазами, обедал в ресторане с молодой женой Ниной – дочерью Зиновия Пешкова.

Зина вошел в ресторан, увидел их, повернулся, чтоб уйти, но передумал, сел в отдалении за столик, не замечая дочь.

Мужчина сказал: “Ниночка, подойди к отцу”. “Пусть сам подойдет, – ответила Нина, – ведь это он меня бросил, когда я еще не родилась”.

Мужчина улыбнулся Зине – тот опустил глаза.

Официант протянул счет, Зина расплатился и пошел к выходу.

"Ниночка, но мы же завтра уезжаем. Может, уже никогда больше не вернемся во Францию. Пойдем!" – мужчина вскочил, увлекая за собой жену. Выскочили из ресторана – Зины на улице уже не было.

Страницы 270-271

В 1943 году подполковник французской армии Зиновий Пешков служил в Африке. Его бесило преклонение командира корпуса – приятеля коллаборациониста маршала Петена – перед Гитлером. Когда Пешков отказался выполнить подлый приказ командира, военно-полевой трибунал приговорил его к расстрелу.

Приговор должен был быть приведен в исполнение утром. Зина не спал, ходил взад-вперед по тигровой клетке и вдруг разоткровенничался с часовым: дескать, надоело всю жизнь как бы карабкаться по лестнице, у которой все время подламываются под ним ступени... Может, эти удары судьбы оттого, что он слишком верил в отцовское проклятье и не боролся? И вот он решил хоть напоследок переломить свою жизнь. Зина предложил часовому выгодный обмен: свои золотые часы с гравировкой на его гранату.

Командир корпуса, ненавидевший "русского большевика Пешкова", пожелал сам командовать расстрелом. Для этого он специально прикатил на пикапе в этот глухой уголок пустыни. Когда Зину вывели из тигровой клетки, он выхватил гранату. Единственной своей рукой он прижал гранату к груди, зубами выдернул чеку. Взяв в заложники командира корпуса, Зина затолкал его в пикап и приказал мчаться через пустыню к аэродрому.

На аэродроме он то же самое проделал с пилотом, самолет взлетел. Зина приказал взять курс на Гибралтар.

Страница 278

В Гибралтаре в те дни находился Комитет Национального Спасения – правительство Франции в изгнании. Прилетевший из Африки подполковник Пешков был

представлен де Голлю, и тот, услышав его фамилию, улыбнулся:

– О, Пешков, сын Горького. "Фома Гордеев", "Клим Самгин" – как же, читал! А вы меня помните, полковник Пешков?" Так Зина узнал, что ему присвоен чин полковника. Де Голль назначил Зиновия Пешкова послом по особым поручениям при Комитете Национального Спасения.

Страница 340

...Считал себя неудачником, проклятым, шел, рвался навстречу смерти, а смерть почему-то его обходила, и это тоже он считал одним из доказательств отцовского проклятья. Люди же видели в нем героя, и когда он об этом слышал, то смеялся от души.

Страница 345

В послевоенные годы генерал Пешков был известен в Париже. Однажды полицейский привел к нему молодую женщину, которая попросила во Франции политического убежища. Женщина рассказала Зиновию Михайловичу, что у подруги ее мамы сын-офицер служит в охране лагеря под Свердловском. Там среди жен "врагов народа" сидит дочь Зиновия Пешкова Нина, ее мужа дипломата Радина расстреляли сразу же после возвращения из Франции. "Надо же, в городе имени моего брата сидит в тюрьме моя дочь", – горько усмехнулся генерал Пешков. Лариса – так звали гостью – вспомнила слова офицера-охранника, что заключенная Пешкова плачет по ночам и казнит себя за то, что тогда в ресторане на бульваре Шапель не кинулась отцу на шею...

Страница 369

...генерал де Голль пошутил: "Если бы мы с вами, генерал Пешков, встретились бы на улице, я бы первый отдал вам честь". – "Но ведь вы – президент Франции". – "А у вас, генерал Пешков, на погоне на одну звезду больше. Теперь расскажите о цели вашего визита".

Зина признался, что в последнее время тоскует по России, его тянет туда. Так как посол Франции в Москве собирается на пенсию, Зина готов занять его место. Ну, а если нельзя послом, то хоть дворником.

Де Голль ответил, что марионеточный президент России Калинин по указанию Сталина не примет верительные грамоты посла Пешкова.

Страница 405

...и княгиня Андронникова сама пришла к Зине. Отвергала, выходила на его глазах замуж, ни во что его не ставила – и вдруг пришла. Вместе с молчаливым внуком пяти лет. Открыл ей слуга, потом вышел Зина. Княгиня прошептала: “Вчера поняла, что он, – кивнула на внука, – похож на тебя. Не

и поцеловать ручку... Почему он не приглашает ее в комнаты? Пожал плечами, пригласил. А там – жена молодая, Лариса.

“Вот и ответ на твои слова, – сказал он княгине и обратился к жене: – Лариса, как по-твоему, этот очаровательный мальчик похож на меня?” Лариса ответила мудро: “Это зависит от того, хочешь ты этого или нет...”

Судя по всему, Андронникова была искренна в своем запоздалом признании, не торопилась уходить, искала повод еще для одной встречи... и попросила разрешения показать рукопись о нем, о Зине.

Страница 412

Княгиня Андронникова принесла рукопись книги и еще на улице удивилась, что так много народу входит в подъезд его дома. Люди шли прощаться с прославленным генералом, послом Франции в Японии и Китае, кавалером почти всех французских орденов, Зина умер накануне. Сквозь слезы княгиня спросила: “А фотокарточку вы ему положили?” “Какую фотокарточку?” – не поняла Лариса, жена Зины. “Фотокарточку его отца, Максима Горького. У меня есть письма, где Зина об этом просил”. Княгиня сама выбрала фотографию, на которой Зина и Горький стоят в обнимку и смеются, сама, своими руками вложила Зине в нагрудный карман генеральского мундира, почти на сердце, и поцеловала Зину в губы. А пришедший с нею молчаливый внук Миша стоял и смотрел на бабушку и умершего генерала, не догадываясь, что тот, возможно, его прадедушка.

ТЕТР.

ДОЛГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКАЯ ЦЕНЗУРА ВЫЧЕРКИВАЛА КАКОЕ-ЛИБО УПОМИНАНИЕ О ЗИНОВИИ ПЕШКОВЕ. ТО, ЧТО ФРАНЦУЗСКИЙ ГЕНЕРАЛ ЗИНОВИЙ ПЕШКОВ – РОДНОЙ БРАТ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ СОВЕТОВ ЯКОВА СВЕРДЛОВА, ЯВЛЯЛОСЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ СССР.

Редакция благодарит Музей-квартиру А.М.Горького за предоставленные фотоматериалы.



М.Горький с Зиновием Пешковым на Капри в начале века.

спала ночь, думала, сколько же я натворила ошибок, и пришла к выводу: ты – лучший из всех, кого я встретила в своей жизни”.

После такого позднего признания ему только и оставалось, что поблагодарить ее

Алексей Тимм

Они
 РАДОСТИ,
 или
 следы
 предыдущей жизни



**Сценарный проект немножко печальной
 комедии, а возможно, и светлой драмы
 по мотивам наших будней**

Глава первая
 О том, как

похмельный сон нарушил привычное течение жизни

Юра Каблуков, человек очень небритый и очень затертый, как отмененный рубль образца 1961 года – спал на продавленной голой раскладушке в одетом виде. Отсюда и происходило беспокойство сна.

Юре Каблукову, давно безработному филологу, приснился фрагмент из его предыдущей жизни, когда он был известным доктором-гинекологом и прятал от большевиков-чекистов нажитое на гинекологической практике золото. Юре отчетливо

приснился доходный дом, в котором он жил в предыдущей жизни – тот самый дом, где он и припрятал увесистую кубышку. Очевидно, такие сны могут случаться только с глубокого похмелья...

Было прохладно, потому что была ранняя осень и было раннее утро. Старый центральный район Москвы, спрятанный за парадными фасадами и порядком обветшалый, медленно, но верно оживал, наполнялся реальными звуками.

Нелепая распахнутая дверь из кухни на

шестом этаже вела на крышу примыкающего и более низкого здания. И этой крышей пользовались как безразмерным балконом. Именно на крыше стояла продавленная раскладушка, на которой спал одетый Юрик Каблуков, которому приснился сон с кладом из предыдущей жизни... Где-то внизу, на бульваре с троллейбусами, разразился скандал в стае воробьев. Каблуков вздрогнул, приоткрыл глаза и послешно, со стоном захлопнул их.

– Мон дье! – хриплым чужим голосом прошептал он, попробовал “размять” пересохшие губы. – За что такая пытка? – И снова открыл глаза... Осторожно ступая по железу покатою крыши, он понес себя к кухонной двери и забрался к себе в квартиру по грубо сколоченной деревянной лесенке из трех перекладин.

Оказавшись на кухне, Юра Каблуков напялил на нос “ленноновские” круглые очки, с тоской оглядел постагульный бедлам, исследовал несколько бутылок, оказавшихся безнадежно пустыми.

– Мерзавцы! – обреченно констатировал Каблуков.

Он вышел в подъезд, опустил на площадку две авоськи, нашпигованные стеклотарой, и принялся запирать дверь на замок с поганым характером.

Между тем из лифта, который останавливался между этажами, вышел гладенький юноша с “зафиксированной” прической и дорогой папочкой в руке.

– Юрий Николаевич? – опытно, еще снизу определил юноша.

– Ну? – скосился на него Каблуков.

– Вы – из сорок седьмой квартиры?

Юра для верности посмотрел на номер своей квартиры, потом – на юношу.

– Ну, – согласился он и подхватил авоськи. – Из сорок седьмой.

– Я по поводу вашего заказа, – лучезарно сообщил юноша.

– Да? – Каблуков был озадачен. – Интересно, что же такое я заказал?



– Оценить и оформить в один день продажу вашей квартиры вы заказали.

– Это я такое заказал? – искренне подивился Юра.

– Вы! – Юноша вжикнул молнией на папочке. – Вчера в девятнадцать часов поступила заявка в наше риэлтовое агентство...

– Пардон, я был пьян! – Юра, позвякивая бутылками, двинулся вниз.

– Риэлты привыкли работать с подобным контингентом, – торопливо успокоил юноша. – Это наше основное поле деятельности.

– Тогда, молодой человек, идите в жопу со своим полем и своими ри...этими, – вяло попросил Каблуков. – Кстати, нам по пути.

– Но вчера вы решили продать квартиру! – Агент заспешил следом.

На площадке этажом ниже около рас-

пахнутой двери ремонтируемой квартиры громоздилась куча кирпичей. Юра Каблуков бережно опустил одну авоську, схватил переженный кирпич и замахнулся им.

– Уйди отсюда, сказано! – гаркнул он.

– Псих!.. – Юноша слетел вниз на целый марш. – Когда ж вы все – динозавры из ансамблей вокально-инструментальных – вымрете!.. Алкашня!..

Его убегающие шаги, наконец, стихли. А Юра краем пиджака протер очки.

В это время из квартиры выглянул рабочий в испачканной спецовке.

– Тебе чего, мужик? – спросил рабочий. – Кирпичи воруюшь?

– Не... У вас телефон отключен? – Юра поднял свою авоську.

– Угу. Проводку новую тянем Звягину, хозяину. А чего?

– А то, что Звягин мне с дачи сейчас звонил, – серьезно произнес Каблуков, возобновляя движение вниз. – Велел передать: надо дверь в сорок седьмую заложить. И чтоб со штукатуркой и покраской.

– Так ведь кладка такая сметой не предусмотрена! – крикнул рабочий.

– Мне сосед поручил, я передал... Кладите, – отозвался, закинув голову, Каблуков. – Что Звягину, жулику этому, смета? Тьфу!..

– А он крупный жулик?

– Ого-го!

– Тогда заложим, конечно, – успокоился рабочий. – Будет ему кладка...

На улице Каблуков закончил просовывать в амбразуру торговой палатки пустые бутылки, отряхнул ладонь о ладонь.

– На все, пожалуйста, – важно, по-барски объявил он.

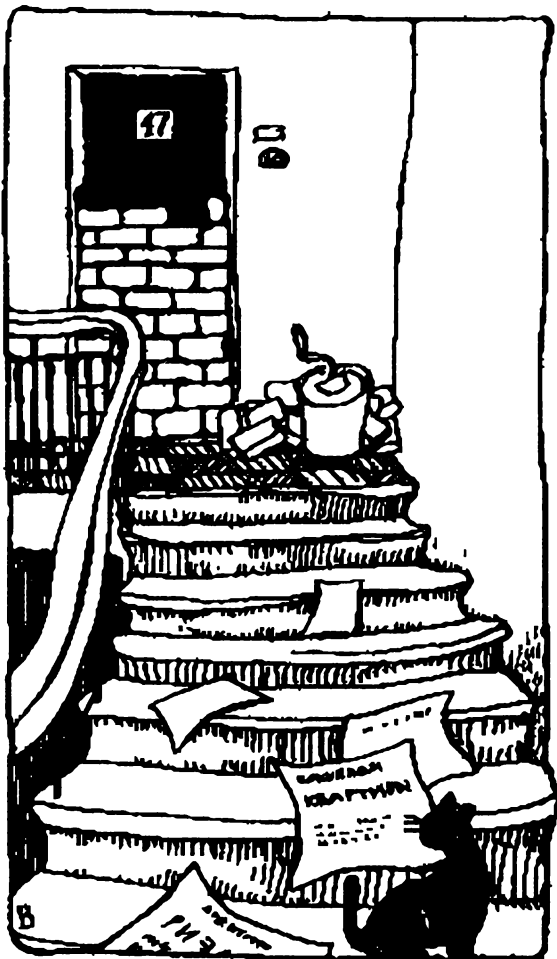
Волосатая рука выдала ему бутылку водки с выцветшей этикеткой.

Каблуков брезгливо поморщился, спрятал бутылку в карман пиджака и побрел назад. Неожиданно для самого себя он начал приглядываться к фасадам старых домов, мимо которых проходил, словно пытался вспомнить что-то важное...

Юра Каблуков вышел из лифта между пятым и шестым этажами.

Двое рабочих, лихо орудующие мастерками, уже наполовину заложили кирпичной кладкой дверной проём его квартиры.

Каблуков понаблюдал за ними, удовлетворенно хмыкнул, распахнул окно подъезда и спрыгнул на крышу примыкающего дома, зашагал уверенно по покатоной поверхности и достиг нелепой двери из своей кухни.



– Вот теперь хрен вам, а не квартира! – пробормотал он, взбираясь по трем деревянным ступенькам. – Отгородился!..

На удивление легко поборов искус, Каблуков засунул бутылку в морозилку искорябанного холодильника “Саратов” и принялся изучать затрепанный путеводитель по Москве, который отыскался в груде книг, сваленных на полу.

Но лестнице подъезда поднимались два друга – невысокий, круглолицый Шура



Илялин и хмурый и массивный Валера Баренский. Внешний вид обоих был далек от респектабельности в английском понимании этого слова, но вполне типичный для тех, кто бурно приветствовал "перестройку", но потом не смог пристроиться ни к

одному из потоков "ветра перемен". Илялин и Баренский сопели и поднимались все выше. Наконец Валера Баренский не выдержал:

– Ляля! За каким, спрашивается, мы топаем пешком, когда лифт пашет!?

– У меня – клаустрофобия, – отозвался Илялин. – Я боюсь камер и кабин. Тяжкое пионерское детство просто так не проходит... К тому же пешком от геморроя полезно!

– Ты с геморроем борешься, а я-то при чем? – возмутился Баренский.

– А ты борешься за компанию, из чувства солидарности. Ведь так?

– Все мои чувства солидарности закончились вместе с безвременной кончиной товарища Ким Ир Сена! – мрачно сказал Валерий.

– Не клевети на себя, амиго, – улыбнулся Илялин. – Остался Фидель!.. – Не старайся выглядеть хуже, чем ты есть на самом деле...

Но спор оборвался, ибо друзья встали перед свежешаптуренным прямоугольником, где еще совсем недавно была дверь в квартиру N 47.

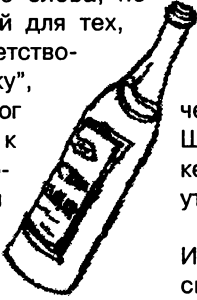
– Абзац! – торжественно прошептал Баренский.

Друзья недоуменно посмотрели на штукатурку, потом – друг на друга.

– Послушай, Валера, – заговорил, чуть заикаясь, Илялин. – А вдруг Каблук умер, и его нору опечатали за неуплату телефонных счетов?

– Не, – возразил, нахмурившись еще больше, Баренский. – Если бы Каблук умер, он бы сначала позвонил. Без звонка он бы ни за что не умер...

... Когда Шура и Валера пробрались в квартиру Каблукова через крышу, они застали хозяина за изучением старых открыток с видами города.



– В честь чего пожаловали? – спросил Каблуков не оглядываясь.

– Я ушел из дома, – со вздохом сообщил Баренский.

– Совсем? – спокойно поинтересовался Юрий.

– Нет. Не совсем. За картошкой...

– Это почти одно и то же, – саркастически усмехнулся Каблуков. Он глянул на Шурика. – А ты, Илялин, почему не на оркестровом балконе? Ты ж говорил: у тебя утренники в цирке.

– Отменили представление, – сказал Илялин. – Комиссия работает. В цирке лев сдох.

– От старости? – поинтересовался Каблуков.

– Нет, – Шура громко шмыгнул носом. – В расцвете сил был левушка. От голода окочурился. Вот теперь комиссия концы ищет. Выясняет, как администрация нашего АО-О-О "Шапито" всю его мясную пайку, не облагаемую налогом, рас...тютюкивала. А дети – страдают! – Он шмыгнул еще раз.

– Да! – Юра сгреб со стола открытки. – Дети и львы страдают в первую очередь!

– Все мы страдаем, – философски уточнил Баренский. – Все наше поколение оказалось в исторической задней промежуности!.. Вместе с детьми, львами... этими... пенсионерами!.. Кстати, Каблук, ты зачем забаррикадировался?

– Я боюсь, – признался Каблуков.

– Юрочка! – наклонился к нему Илялин. – Кому ты нужен, кого боишься?

– Во-первых, я себя боюсь! – всерьез разволновался Юра. – Намедни по пьянке чуть квартиру не продал!

– Без нас пил? – обиженно поджал губы Баренский.

– Все! Все! Завязано! – вскинул руки вверх хозяин. – Во-вторых, я, к вашему сведению, вообще новую жизнь начинаю!

Друзья недоверчиво уставились на него.

– Это как? – осторожно спросил Илялин.

– Я... Я знаю, где клад лежит! – нервным шепотом объявил Каблуков. – Целое состояние! Надо его достать, и вы мне можете! Так как я знаю только приблизительно. Но мы его обязательно отыщем и все вместе начнем новую жизнь... Правда,



ребят. И для нас снова наступят дни радости!..

Возникла пауза, которую нарушил Баренский.

– Алло, импресарио! – подал он скептический голос. – Я один раз уже искал клад. Для раскрутки нужна куча денег. Миноискатель, фонари, всякая прочая дребедень...

– А без миноискателя нельзя? – спросил Илялин.

– Без миноискателя никак нельзя, лучше и не начинать, – уверенно сказал Баренский.

– Деньги – не проблема! – отмахнулся Юра. –

Деньги займем! В соседнем подъезде, в квартире двадцать четыре живет бывший исполнитель горловых песен народов Крайнего Севера. Он скопил сто семнадцать долларов, и уже месяц мучается, не зная, куда их надежно вложить. Я по



телефону предложил ему войти в долю – как генеральному спонсору, – и он согласился!

– Я тоже соглашаюсь! – объявил Илялин. – И тоже делаю взнос: свой интеллектуальный потенциал! – И добавил тихо, как бы невзначай: – Но за такой судьбоносный шаг положено выпить, не так ли?

– Ха! – обрадовался хозяин. – Наконец-то!.. Именно с этим намерением вы и шли сюда! – И он полез в холодильник.

– Важно не то, с чем мы шли сюда, – с достоинством возразил Баренский. – Важно то, что отсюда мы выйдем твоими компаньонами!.. И ты должен ценить степень нашей лояльности!

– Я ценю. – Каблуков поставил на стол бутылку. – Но предупреждаю: водка – сыктывкарского разлива.

– О-о!.. – простонал Баренский.

– Ничего, выдюжим. Бывает и джесэзганского, – умиротворенно сказал Илялин и пододвинул стаканы...

Глава вторая О том, как -2

О том, как Каблуков поведал содержание своего сна из предыдущей жизни, и друзья ему поверили.

Похмелившись, они привлекли к дальнейшей деятельности генерального спонсора – певца горловых песен народов Крайнего Севера из соседнего подъезда...

О том, как после еще одного возлияния в уличном кафе, посвященного проблемам реинкарнации, компания поняла, что, чтобы найти дом с тайником, надо ходить и смотреть на все похожие дома. И про то, как друзья пошли, но скоро потеряли друг друга в силу не совсем трезвого состояния.

Глава третья О том, как -3

О том, как заблудившийся Каблуков среди ночи повстречал на Чистопрудном бульваре тридцатилетнюю женщину Ольгу, которая выгуливала пса-боксер нестандартной масти и которая оказалась правнучкой гинеколога, которым в предыдущей жизни был Каблуков...

(СПРАВКА: Не дождавсь реабилитации, гинеколог умер аж в 1952 году в возрасте 69 лет, т. к. к врачу лагерное начальство относилось очень хорошо. А Юрочка как раз родился в том же 1952 году.) ...

О том, как одинокая женщина с боксером и Каблуков почувствовали друг к другу внезапную симпатию, и Каблук напросился назавтра в гости к Ольге вместе с друзьями и миноискателем.



И как Каблуков увидел дом, на который указала женщина, и почувствовал – это ТО САМОЕ!..

О Глава четвертая том, как -4

О том, как Каблуков под утро сумел добраться до себя и обнаружил на крыше поджидающих его друзей – всех, кроме горлового певца, который вышел из компании от греха подальше.

О том, как Каблуков объявил про найденный дом с кладом, но одновременно понял, что в руки таких скотин, как он и К⁰, клад не дастся, и надо немедленно закодироваться от пьянки.

О том, как друзья хором пошли кодироваться в ближайший анонимный кабинет на те деньги, которые остались после покупки миноискателя.

И нарколог закодировал их ровно на ту сумму, какую они ему предложили... (Впрочем, Илялин в последний момент увильнул от процедуры, сославшись на свои религиозные убеждения, чем повысил “долю кодировки” своим друзьям.) И как у Каблукова во время сеанса произошла очередная “вспышка памяти”.

О Глава пятая том, как -5

О том, как друзья, выпив баночного пива, на которое кодировка не распространялась, отправились в гости к Ольге. И как, входя в квартиру женщины, Каблуков почувствовал, что это – НЕ ТО. Но во время светского чаепития выяснилось, что квартира была “сокращена” и отторгнутая ее часть принадлежит теперь какой-то фирме, пока необитаема и находится в состоянии “европейского ремонта”.

О том, как Каблуков поведал Ольге о своих нежных чувствах к ней, но честно признался, что является ее прадедушкой, если исходить из предыдущей жизни.

Пользуясь душевным смятением одинокой женщины, компания уговорила Ольгу про-

рубить дырку в соседнее "отчужденное" помещение, где наверняка спрятан драгоценный клад.

Глава шестая О том, как -6

О том, как друзья, дождавшись ночи, пробились из квартиры Ольги в соседний "евроремонтируемый" офис, устроили там погром и нашли все-таки в стене железную банку из-под колониального чая, полную золотых "никалашек".

Про то, как сработала сигнализация, друзей повязали менты, а клад отобрали в пользу государства.

И сколько Каблуков ни доказывал суке-следователю, что золото честно нажито его многотрудной гинекологической практикой в предыдущей дореволюционной жизни, - никто ему в ментовке не поверил, пригрозив мордобоем и психушкой...

И о том, как друзья, сидя в камере, подружились с дежурным капитаном, потому что у них были общие воспоминания и - вообще - они учились когда-то в одной школе.

И как друзей выпустили под утро, когда никакой транспорт не ходил, а денег на тачку не было, не говоря уже о золотых "никалашках"...

Глава седьмая О том, как -7

О том, как друзья в пустом городе сначала огорчились из-за того, что все потеряли, но потом поняли, что все-таки обрели - за эти дни они вспомнили радость надежды на чудесный клад, радость от простого движения в поиске этого клада, в поиске драгоценных следов прошлой жизни, которые обязательно где-то лежат, но про них никто пока не вспомнил.



Рисунки Виктории Тимофеевой

И еще эта последняя глава про то, как одинокая женщина Ольга с добродушным псом-боксером нестандартной масти всю ночь прождала Каблукова около отделения милиции. И дождалась. А Юра Каблуков очень этому обрадовался. Потому что никого другого, так близкого ему по крови в этом огромном пустом городе у него раньше не было. А теперь такой родной человек появился.

Вот и все...

ПРИМЕЧАНИЯ ОТ АВТОРА. Можно, конечно, порассуждать про обертональную драматургию, контрапункты и еще про что-нибудь типа пост модернизма или, наоборот, давно уже знакомого авангарда...

Но скажу одно. Все герои будут хорошими. Как взрослые дети. Без негодяев. А объяснять внутренний "строй" этой истории – внеполитичной, даже внесоциальной – нет смысла, как нет смысла объяснять музыкальную пьесу, вернее – музыкальную тему – чуть отрывистую, но мелодичную, спокойную и совсем немножко абсурдную.

Все в истории – данность. Без объяснений и тяжеловесных мотивировок. Была предыдущая жизнь – значит, она была. Нашли золото и потеряли – значит, нашли и потеряли... Пришла любовь к правнучке – очень хорошо! Значит, любовь пришла...

Здесь не будет интриги как таковой, закрученной вокруг чего-то конкретного.

Здесь будет драматургия развития состояний, драматургия простого бесхитростного движения простых бесхитростных людей навстречу друг другу... Процесс движения опавших листьев, закрученных осенним, еще теплым ветром, которые соединились в холмик, и чья-то рука подпалила холмик опавших листьев, и к небу потянулась струйка дыма – горьковатая и одновременно сладкая. Потому что запах дыма от умершей листвы несет парадоксальную надежду и радость от неизбежности новой весны.

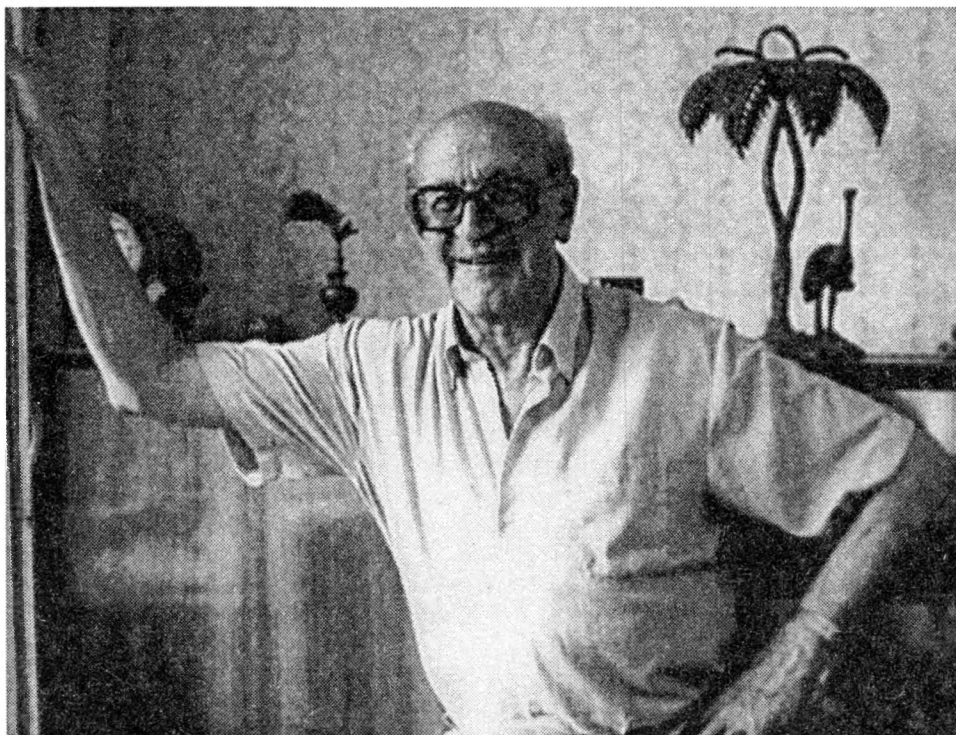
И поиск радости во всем безрадостном и реально абсурдном, что есть вокруг, – основная авторская задача в реализации этого замысла.

ЭНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС



Новелла Александра Хвана "Поезд" – одна из фильма-альманаха "Прибытие поезда", создающегося молодыми режиссерами к 100-летию кинематографа, будет опубликована в следующем номере нашего журнала.

Валерий Фрид



58 1/2

XIV. Юлик и другие (продолжение)

В Минлаг Юлик попал на полгода раньше меня и ко дню нашей встречи был уже авторитетным придурком – нормировщиком. Вообще-то нормировщиков в лагерях не любили: от того, какую даст норму, зависит процент выработки, а стало быть, и кормёжка. Из лагеря в лагерь переезжала вместе с этапами поговорка: “Увидишь змею и нормировщика – убей сперва нормировщика, змею всегда успеешь”. Но Дунского уважали – он был самым либеральным из всех.

Продолжение. Начало см. № 2, 1994 г.

Интинская его карьера началась так. Когда Юлика привезли на третий ОЛП, кто-то из старожилов посоветовал:

– Говоришь, нормировщиком работал? Здесь старший нормировщик твой земляк, сходи к нему, он тебя пристроит.

“Земляк” означало – еврей, как и ты. А известно же: еврей еврея всегда тянет, не то что мы, дураки русские... Эти рассуждения Юлик слышал сто раз и всерьёз не принимал. Но к старшему нормировщику всё-таки пошел.

Старшим нормировщиком на третьем ОЛПе был некто Лернер, румынский еврей, по специальности джазовый музыкант – саксофонист. Как и когда он превратился в нормировщика – понятия не имею. Но на

третьем он был самой влиятельной фигурой. Замечено: в лагере это зависит не от должности, а от личности. На Алексеевке всем командовал завбуром Петров, на 15-м – комендант, ссученный вор Степан Ильин, в курском лагере у Юлика – почему-то фельдшер Грейдин, а здесь на третьем – нормировщик Лернер. Все они были стукачами, все – людьми энергичными и, как правило, подлыми. Лернера ненавидели и боялись даже надзиратели и вольные из обслуги: каждый день ходит к Бородулину, начальнику ОЛПа – кто его знает, чего он там нашептывает?

Визит к нему начался не очень удачно. “Земляк” кровного родства не признавал.

– Работали нормировщиком? – брезгливо переспросил Лернер. – Ну и что? Я-то здесь при чем?

– Извините. – Юлик повернулся, чтобы идти. Это Лернера озадачило: к такому он не привык, думал – сейчас посетитель будет жалобно канючить: “А может, найдется какое-нибудь местечко? Я вам буду так благодарен, мне скоро посылка придет...” – что-нибудь в этом роде. А тут – буркнул “извините” и пошел.

– Погодите, – сказал Лернер в спину Юлику. – Вы москвич?.. Нормировщиком и на воле были?

– Нет. Студентом был.

– Какого института?

– Вы вряд ли знаете. Есть такой Институт кинематографии. – И Юлик опять взялся за дверную ручку.

– Погодите! Профессора Тиссэ знаете?

– Его – нет. А с его женой немножко был знаком.

– Не может быть.

– Почему не может? Красивая женщина. Брюнетка... Со странным именем – Бланка, по-моему.

– Бьянка! Бьянка! – Лернер вскочил со стула. – Идите сюда.

Он выдвинул ящик стола и достал фотокарточку – портрет молодой женщины, с которой мы познакомились в Алма-Ате, на дне рождения Майи Рошаль. Оказалось, что эта Бьянка – родная сестра Лернера. Он просто обожал ее, гордился ее красотой и образованностью.

Этот неожиданный поворот разговора решил проблему трудоустройства: немедленно нашлось место нормировщика. А

Лернер часто зазывал Юлика к себе в каbinу – поговорить о Бьянке, об американских фильмах. В своей Румынии он их не смотрелся достаточно. Он даже сыграл для Юлика – на скрипке, саксофона у него не было. По мнению знатока музыки Абрама Ефимовича Эйслера, сына капельмейстера Санкт-Петербургской императорской оперы, играл Лернер хорошо. Но тот отмахивался от похвал: вот на саксофоне, говорил он, я действительно умею играть. А скрипка – это так...*

Раз уж я упомянул Абрама Ефимовича, расскажу о нем поподробней. Это был престелный старик, умница, похожий, как родной брат, на актера Адольфа Менжу – тот же аристократический длинный нос, те же усики, тот же иронический прищур глаз – и та же нелюбовь к коммунизму. По своим политическим убеждениям Эйслер был монархистом и этого не скрывал.

– Абрам Ефимович, – удивился Юлик, – с такими взглядами – и на свободе до пятидесяти первого года?

Подумав, старик ответил:

– Видите ли, Юлик, у меня были очень качественные знакомые**.

Эйслер, по профессии инженер, был страстным пушкинистом. Знал наизусть множество стихов, биографию Пушкина помнил, как свою. Однажды Юлик проснулся посреди ночи и увидел, что Эйслер тоже не спит. Сидит призадумавшись на нарах и смотрит в одну точку. Вообще-то ему было над чем призадуматься: по ст. 58.10 старику дали четвертак, отсидел он только год. А если тебе за семьдесят? Не так уж просто досидеть до звонка. Всё-таки Юлий спросил:

– О чем задумались, Абрам Ефимович?

– Я думаю: если бы он женился не на этой бляди Гончаровой, а на Анне Петровне Керн – представляете, Юлик, сколько он мог бы еще написать?!

Что касается срока, Эйслер обманул-таки советскую власть: освободился после XX съезда, не досидев лет двадцать, и вернулся в Москву одновременно с нами...

Когда я попал на 3-й, Лернер доживал там последние денечки: через неделю он должен был освобождаться. Юлик познaкомил меня с ним и спросил, нельзя ли найти для меня работу в бухгалтерии. Лернер согласился помочь и действительно

поговорил, с кем следовало. Ему обещали – сделаем!.. Но как только он уехал, всеобщая нелюбовь к нему, естественно, перенеслась на меня: никто не хотел помогать протее Лернера. В конце концов все устроилось само собой. Бухгалтера были нужны; недели две-три походил на стройку, а потом меня взяли в бухгалтерию ОЛПа.

Ничего интересного про эту контору вспомнить не могу при всём желании. Даже забыл редкое имя самого противного из коллег: Гурий? Или Милий? У него и фамилия была противная – Золотарев. Помню очень приятного рижанина Володю – русского из первой эмиграции. Он рассказывал мне, как сочинялось знаменитое танго “Черные глаза”: когда-то Володя ухаживал за дочкой автора “Черных глаз” Оскара

– Столько дел, столько дел – другой раз и пообедать не пойдешь.

– Так ведь другой раз и не дадут, – сказал Володя.

И помню офицера-главбуха, злобного карлика по прозвищу Трубка. Трубку он не выпускал изо рта; но чтобы поделиться табачком с зеками-подчиненными – это никогда! Водились за ним грехи и посерьезней: к концу зимы он попал под суд – за растление собственной дочери. Девочке было шесть лет. Но это к делу не относится.

Отсидев положенные часы в конторе, я бежал к Юлику. Мы жили в разных бараках; он в шахтстроевском, я – в бараке лагерной obsługi.

Третий ОЛП, вообще-то, официально именовался третьим лаготделением, л/о



Коми-оленеводы едут в Инту мимо терриконов нашей шахты.

Строка, тоже рижанина. Только тому повезло больше – в России жил и умер свободным человеком... Помню и Володину смешную реплику. При нем Золотарев громко, чтоб услышал главбух, похвалялся своим служебным рвением:

№3; но это труднопроизносимо, все говорили – ОЛП. Так вот, наш ОЛП поделен был на четыре колонны: Шахтстрой, Шахта-9, Шахта-13/14 и Лагобслуга. Каждой колонне начальство отвело по несколько барачков и строго следило за тем, чтобы зеки

проживали, так сказать, по месту прописки. Но ходить из барака в барак днем разрешалось. Это потом уже скотина Бородулин ввёл почти тюремный режим: ходить приказано было строем – даже если вторым или вчетвером; на ночь бараки запирали снаружи. Но и тогда бессмысленные эти строгости долго не продержались.

А пока что о строгости режима напоминали номера на спинах. Я знаю, что в других особлагах номера нашивали еще и на шапку, и на колено. У нас – только на спине. Но появиться в зоне или на шахте без номера было нельзя: сразу угодишь в карцер. Мы не были безымянными “номерными арестантами”, как лубяньские; вольные обращались к нам по фамилии, а на производстве и по имени. Но для вертухаев номера служили большим подспорьем. Попробуешь от него удрать, а он даже не побежит вдогонку – просто запишет номер, проводив тебя взглядом, как гаишник удирающую от свистка машину.

К моему стыду, должен признаться, что после первого шока я быстро привык к этому нововведению и даже стал находить в нем некоторое удобство. Рабская натура? Может быть. Но вот принесут из сушилки одежду и вывалят горой посреди барака – иди ройся, ищи свое! А по номеру в куче одинакового лагерного тряпья легко было опознать свой бушлат и свою телогрейку. Я был Н-71, Юлик Дунский – К-963.

В номере не могло быть больше трех цифр: после 999 меняли букву и начинали новую

тысячу – с единицы.

Носить свою, вольную, одежду запрещалось категорически – ни шапки, ни сапог, ни свитера – ничего! Зато казенная была получше, чем у нас в Каргопольлаге; бушлаты и телогрейки первого срока доставались почти всем. Вот с обувью, особенно с валенками, обстояло похуже.

Публика на 3-м, как и всюду, была очень разношерстная. Попадались и совсем свеженькие, только что с воли. Мы познакомились с молоденьким москвичом, почти мальчиком, Сережей Закгеймом. Стали расспрашивать: что там в Москве? Оказалось, всё как было – так же сажают за ерунду. Понизив голос, он прочитал стихотворение, которое ходило по Москве в списках:

Можно строчки нанизывать
Посложней и попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
Мы не будем увенчаны,
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

Фамилию автора мы не запомнили, зато

запомнили эти восемь строчек. В 1956 г., едва мы вернулись в Москву, нас позвал в гости Леонид Захарович Трауберг – он был нашим мастером во ВГИКе. Его интересовало: неужели все двенадцать лет мы были совершенно отрезаны от культуры, от литературных новинок? Мы ответили, что нет. Просачивались и в лагерь какие-то сведения – вот, например, там мы услышали такие стихи. И стали читать:

Можно строчки нанизывать...

Раздался смех. Нам показали круглолицего молодого человека в очках, очень симпатичного. Он застенчиво улыбнулся, предста-



Эмка Мандель – он же Наум Коржавин.

вился: Эмка Мандель. Стихи были его. После он побывал у нас, рассказал, что и он сидел, дал почитать новые стихи – в рукописи. Теперь-то все они напечатаны, и не раз. А он теперь известный поэт Наум Коржавин и живет в Америке (куда за ним и настоящая женщина поехала). Он часто бывает в Москве и для своих остался Эмкой Манделем...

Когда я написал, что были на третьем свеженькие с воли, следовало бы добавить: свеженькие, но не новенькие. К концу сороковых годов, как эпидемия, прокатилась по стране волна новых арестов. Брели главным образом тех, кто после войны вернулся из лагерей. Судили за старые грехи, но срока давали новые, очень большие. Что породило эту кампанию – объяснить не могу. Возможно, очередной приступ сталинской паранойи. Или – что в общем одно и то же – усилившийся страх перед американцами.

В числе тех жертв холодной войны попал к нам инженер Рубинштейн, побывавший еще на Соловках; вернулся на Север Билял Аблаевич Усейнов, наркомпищепром довоенной республики крымских татар. В наших краях его звали Борисом Алексеевичем.

Усейнов рассказал нам с Юликом, как он освобождался из лагеря, отбыв свой первый срок. Было это на Воркуте, зимой, в лютый мороз. Выйдя за ворота лагпункта, он сразу же кинулся искать ночлег – но никто из вольных не захотел впустить в дом вчерашнего врага народа.

Голодный, полужамерзший, Борис Алексеевич вернулся на вахту своего лагпункта и попросился в зону – хотя бы до утра. Вохра отнеслась по-человечески; его впустили, и он побежал в контору, к ребятам, с которыми раньше работал. Там его обогрели, накормили чем бог послал – много бог не мог послать, время было военное, голодное, но бутылка водки у конторских нашлась. Выпили, посмеялись: плохо ли в лагере? Сам попросился обратно!.. И разошлись, оставив Усейнова ночевать в конторе.

Ночью он проснулся от нестерпимого жара: горели сложенные вдоль стены “рабочие сведения” – штабеля финской стружки, на которой писали за неимением бумаги. (У нас на комендантском такое тоже

практиковалось. Финская стружка – это плоская щепка; ею на севере кроют дома – как черепицей.) Кто-то из пировавших оставил непогашенной керосиновую лампу, ночью она опрокинулась – и теперь сухая щепка полыхала всюду. Уже и стены занялись.

Борис Алексеевич кинулся к двери, но за ночь снегу намело столько, что дверь не поддавалась. Тогда он выбил стекло и с трудом протиснулся наружу сквозь узкое окошко – в чем был; успел только сунуть ноги в валенки, а телогрейку надеть не успел...

Пожар потушили довольно быстро, но огонь свое дело сделал еще быстрее – от бревенчатого домика мало что осталось. Ударом в рельсу всё население лагпункта подняли на поверку – все ли целы. Выстроили, пересчитали – со списочным составом сошлось, можно было расходиться. И вдруг кто-то из вертухаев сообразил: как это сошлось? Один должен быть лишний – Усейнов-то уже не з/к!..

Борис Алексеевич говорил, что от напряжения, от волнений этой ночи он не чувствовал холода – ничего не отморозил, даже не простудился. Второй раз пересчитали зеков, и опять сошлось. Только тогда ребята из бухгалтерии хватились: а где хлебный табельщик? Вспомнили, что после вчерашней выпивки его развезло, в барак он не пошел, а полез на чердак – спать.

Все побежали к пепелищу и увидели: сидит среди еще непогасших головешек доходяга и гложет обгорелую человеческую руку...

Кроме бывшего наркома Усейнова был у нас еще один бывший – второй или третий секретарь ленинградского обкома Кедров. Он попал по знаменитому “ленинградскому делу”. В чем оно заключалось, мы толком не знали; говорили, будто тамошняя партийная верхушка обвинялась в том, что они хотели сделать Ленинград столицей – и вообще сильно тянули одеяло на себя. Срок у Кедрова был солидный – лет двадцать. (Другим “ленинградцам” дали вышку.) О деле я Кедрова не спрашивал: лагерная этика советует ждать: сам расскажет. А он не рассказывал. Был сдержан, осторожен, вежлив. Мне любопытно было послушать его: с людьми его круга

раньше – да и потом – общаться не доводилось. Их я видел только на портретах – тучные, мордастые, все на одно лицо. Кедров же был худощав, и это несколько поднимало его в моих глазах. Я как-то сказал ему, что на этих портретах единственное добродушное лицо у Ворошилова. Помолчав, Кедров буркнул:

– Ворошилов строг.

– Строг? В каком смысле?

– Сажать любит, – пояснил он и снова закрылся.

В другой раз он с гордостью рассказал мне такую историю. Во времена секретарства его возил прикрепленный к нему шофер. Однажды они проезжали мимо “Крестов”, ленинградской тюрьмы, и водитель весело сказал:

– Родные места! Погостил здесь.

Кедров не стал спрашивать, за что и долго ли гостил. Просто позвонил куда следовало и спросил:

– Моего водителя проверяли?.. Да? Проверьте еще раз.

И всё. Водителя убрали. Меня удивило: неужели Кедров не понимает, чем гордится, какой автопортрет рисует?.. Видимо, у них, так же как у воров, какая-то своя, вывернутая наизнанку, мораль.

Вообще же наш лагконтингент состоял в основном из инородцев, “западников”. Меня часто спрашивают: а как насчет антисемитизма в лагере? Мы от него не страдали: все, кто населял Советский Союз в границах 39-го года, здесь стали одним землячеством. Всё равно как в эмиграции: там русскими становятся все – и кавказцы, и татары, и евреи. Вероятно, это родовой инстинкт самосохранения – объединиться, чтобы устоять против враждебного окружения.

Могу рассказать и про единственного виденного мной человека, осужденного за антисемитизм. Это был молодой московский еврей, патриот и правоверный коммунист. Когда в 1953 году возникло дело “убийц в белых халатах”, в центральных газетах появилась рубрика “Почта Лидии Тимашук”. Это она разоблачила кремлевских врачей-отравителей – Вовси, Кога-на, Эттингера, Раппопорта и других с такими же фамилиями. И благодарные граждане писали ей письма: “Спасибо тебе, дочка!..” “Как хорошо, что это под-

лое племя не сможет больше вредить...” – и т. д. и т. п.

Молодой еврей-патриот испугался: в Политбюро, подумал он, просто не знают, какой мутный поток хлынул в приоткрытую ими щелку. Так ведь и до погромов может дойти! Надо им объяснить.

Он достаточно долго жил на свете – на нашем, советском свете, чтобы понимать: письмо до высокого адресата не дойдет, завязнет в бюрократическом болоте. И он стал писать письма в поддержку Лидии Тимашук. Писал от имени старых пролетариев, комсомольцев, тружеников колхозных полей: “Правильно, тов. Лидия! Мало их Гитлер поубивал...” – или: “Эта нация самая вредная, всех их надо повесить на одном суку...” И еще: “Жиды-злейший враг русского народа, их надо истреблять, как тараканов!”.

Сегодня, в 94-м году, эти тексты кажутся цитатами из газеты “Пульс Тушина” и никого удивить не могут. Но тогда они производили впечатление. Хитроумный автор рассчитывал таким приемом открыть глаза партии и правительству. Они прочтут и задумаются: а не перебрали ли мы? Не пора ли дать отбой?

Дальше случилось то, что хорошо описано в романе Ганса Фаллады “Каждый умирает в одиночку”. Там гестапо хитрым научным способом выходит на след супружеской пары, рассылавшей из разных районов города антифашистские листовки. Московский еврей пользовался тем же методом, что и берлинские антифашисты, а чекисты – тем же, что гестаповцы. Сочинителя писем очень быстро засекали, отловили и судили по ст. 58.10 – за “разжигание национальной розни”.

Я написал, что от антисемитизма не страдал, и это правда. Но слышал в бараке такой разговор – связанный как раз с делом врачей-отравителей. Они ведь обвинялись в том, что хотели злодейски умертвить Молотова, Ворошилова и еще кого-то такого же. И вот, обсуждая на нарах эту новость, мои соседи, бандеровцы ахали:

– Чого бажалы зробиты, ворогы!

Казалось бы, нелогично: им бы радоваться, сами, небось, с радостью удавили бы и Молотова, и Ворошилова – а вот же, ужасались еврейскому злодейству. Мой

близкий друг, бандеровский куренной Алексей Брысь уверяет меня, что антисемитизм бандеровцам совершенно чужд. Идеологам и вождям – может быть; но рядовой боец имеет право на собственное мнение.

Кроме украинцев, литовцев, латышей и эстонцев в Минлаге к нам прибавились в больших количествах венгры, немцы и японцы – смешение языков, как на строительстве вавилонской башни! (Хоть т. Сталин предупреждал, что исторические параллели всегда рискованны, как не вспомнить, что и конец двух великихстроек был одинаковым: “ферфалте ди ганце постройке”, как говорила моя бабушка.) В санчас-ти Юлик слышал, как немец-шахтёр объяснял врачу, что у него нелады с сердцем:

– Hertz – пиздец!

Даже песенки, которые приехали в лагерь с Запада, были разноязычными – поученому сказать, “макароническими”:

Ком, паненка, шляфен,
Морген – бутерброд.
Вшистко едно война,
Юберморген тодт.

(Юлик знал другой вариант:

Ком, паненка, шляфен,
Морген дам часы.
Вшистко едно война –
Скидывай трусы!)

Тут тебе и русский, и немецкий, и польский. Были и чисто польские:

На цментаже вельки кшки:
Пердолён се небошки...

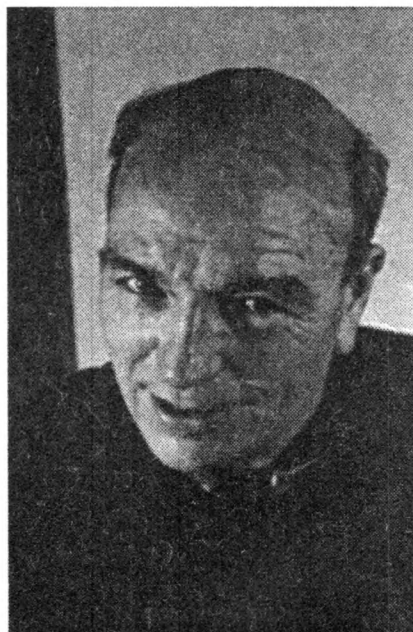
А власовцы привезли и немецкую солдатскую:

Эрсте вохе маргарине,
Цвайте вохе сахарине,
Дритте вохе мармаладе –
Фирте вохе штейт’с нихт граде!

Что пели литовцы, не знаю, хотя в лагерях их было очень много; Воркуту так и называли – “маленькая Литва”. (Думаю, не намного меньше большой.) Не знаю и эстонских песенок, а латышскую – одну, про петушка, – запомнил:

Курту теци, курту теци, гайлиту ман?..

Имелись у нас западники и позападнее украинцев, поляков и прибалтов. Самым западным из европейцев был Лен Уинкот, английский моряк, able seaman – матрос I-й статьи Королевского флота. Когда-то в начале тридцатых он стал зачинщиком знаменитой забастовки военных моряков в Инвергордоне. Бунт на корабле!.. Но времена были либеральные: вместо того, чтобы повесить бунтовщиков на рее, их сплосили на берег с волчьим билетом. Друзья-коммунисты переправили Лена в СССР; он работал в ленинградском морском интерклубе, написал рассказ из жизни английских моряков и был принят в Союз советских писателей. Женился на русской женщине, но в блокаду она умерла, а Лен на-



Лен Уинкот в Инте.

болтал себе срок по ст. 58.10. А может, и не болтал ничего; просто решили убраться иностранца из Ленинграда от греха подальше. (Куда уж дальше – на Крайний Север.) Он был человек с юмором того хорошего сорта, который позволяет смеяться не только над другими, но и над собой. Уинкот говорил, что на вопрос советских анкет: “Бывали ли за границей, и если бывали, то где?” – он всегда отвечал: “Не был в Новой Зеландии”. Он рассказал нам, что од-

нажды здорово надрался в сингапурском клубе иностранных моряков. Пошел пописать, свалился в желоб и там заснул. Это был Сингапур двадцатых годов, не сегодняшней сверхсовременный, и уборная была вроде общественной советской – с желобом вместо писсуаров; и перегоревшую лампочку, как и у нас, никто не торопился заменить.

– Было темно, как у негра в заднице – рассказывал Лен. – И всю ночь, всю ночь на меня мочились моряки всех флотов мира!

Он говорил об этом с какой-то даже гордостью. А я позавидовал ему – не этому именно приключению в “бананово-лимонном Сингапуре”, а тому, сколько интересных стран он повидал.

В 44-м году, незадолго до ареста, Юлик Дунский, Миша Левин и я зашли в коктейль-холл на улице Горького. Его только что открыли, и нам было любопытно. Взяли два коктейля на троих – на третий не хватило денег – попросили три соломинки и сидели, растягивая удовольствие. К нам подсел пьяненький моряк. Рассказал, что он чиф-механик (почему-то он именно так выразился), плавает на торговых судах по всему миру; вот только что вернулся из Сингапура... Повернулся ко мне и неожиданно трезвым голосом сказал:

– А ты, очкарь, никогда не будешь в Сингапуре.

Мы ему завидовали – как завидовали в Инте Лену Уинкоту. Не сомневались, что пророчество чиф-механика сбудется. Но вот, я пишу эту страницу хоть и не в Сингапуре, но в Калифорнии; я в гостях у сына, и делать здесь нечего, кроме как вспоминать недобрые старые времена. И жалеть, что Юлик не дожид до новых...

Вторым иностранным моряком, ставшим на якорь в Инте, был капитан Эрнандес – маленький, тихий, похожий на загорелого еврея. Когда республиканцы проиграли гражданскую войну, капитан привел свое судно в Одессу. Там женился и прожил лет десять. Но быть иностранцем в Стране Советов – рискованное занятие, почти всегда оно кончалось лагерем.

Земляк Эрнандеса Педро Санчес-и-Сапеда был как раз из тех испанских детей, которых капитан вывозил со своей родины на родину победившего социализма.

Этих ребят в Москве было много. Москвичи им симпатизировали, старались помочь, чем могли. Но шло время, интерес к Испании ослаб, и “испанские дети” – так их и взрослых называли – стали рядовыми советскими гражданами, без особых привилегий.

Взрослый Педро Санчес-и-Сапеда пел в хоре театра им. Немировича-Данченко и всё больше тосковал по своей первой родине. Понимая, что по-хорошему его в Испанию не выпустят, он вместе с надежным товарищем, тоже испанским дитятей, решился на авантюру. В каком-то из южно-американских посольств (кажется, в бразильском, но не ручаюсь) нашлись сочувствующие.

Как известно, дипломатический багаж таможенной проверке не подлежит. Кто-то из посольских как раз собирался улететь домой. Ему купили два больших чемодана-кофра, в один записали Педро, в другой – его компаньона. В днищах проделали дырочки, чтобы ребята не задохнулись.

С двумя этими чемоданами дипломат отправился в аэропорт. И там выяснилось, что накануне изменился тариф: на оплату тяжелого багажа у дипломата не хватило денег – нескольких рублей. Взять валютой в кассе побоялись, одолжить советские иностранцу никто не решился. Ему предложили: берите с собой один чемодан, а второй мы отправим завтра, когда ваши привезут деньги.

Так и сделали. Друг улетел, а чемодан с Педро остался. Его поволокли в холодную камеру хранения – дело было зимой – и там оставили.

Педро забеспокоился: он замерз, затекли руки-ноги, хотелось есть – а главное, непонятно было, что происходит. Стараясь согреться, он заворочался; на шум пришел дежурный, чемодан открыли, и всё выяснилось.

В те времена самолеты Аэрофлота летали с промежуточными посадками. Этот не успел долететь даже до Киева, как на борт поступила радиограмма: проверить багаж. В Киеве сняли и второго беглеца... Педро был приятным молодым человеком невысокого роста и с пожизненным испанским акцентом. Петь в хоре это не мешало. Я с ним мало общался: вскоре его куда-то увезли. Хотелось бы узнать, как сложилась его судьба.

Из немцев самым интересным был дневальный нашего барака – одноглазый летчик. И не просто летчик, а – говорили – знаменитый ас. В отличие от алексеевского немца-дневального, летчик по-русски говорил – с акцентом, конечно: немцу от акцента избавиться так же трудно, как испанцу.

– Лейвая зекця, на завтр-р-рак! – выкрикал он, возникая в дверях с черной пиратской повязкой на глазу. – Пр-равая зекця, на завтр-р-рак!..

И с верхних нар прыгал застывший в позе Будды японский полковник. Прыгал, не меняя позы – просто взлетал в воздух, приземлялся в проходе – и шагал на завтр-р-рак.

Летчика однажды вызвал к себе другой полковник – начальник ОЛПа Бородулин. Произвел такой диалог:

– Говорят, ты Гитлера видел?

– Видель.

– Что ж ты его не убил?

– А ты Шталина видель?

– Ну, видел.

– Зачем его не убил?

И одноглазый ас из кабинета начальника напрямик отправился в бур. Там он, возможно, встретился с еще одним летчиком – Щириным, Героем Советского Союза. Тот из бура практически не вылезал, поэтому я с ним лично знаком не был, о чем до сих пор жалею.

Лагерный срок Щиринов получил за то, что обиделся на Берию. Лаврентию Павловичу приглянулась красивая жена летчика, и ее доставили к нему на дом. Про то, как это делалось, написано и рассказано так много, что нет смысла вдаваться в подробности. Как правило, мужа бериевских наложниц шума не поднимали, а Щиринов поднял. Вот и попал в Минлаг. Он и здесь не унимался: о своем деле рассказывал всем и каждому, а как только в лагерь приезжала очередная комиссия и спрашивала, обходя бараки: “Вопросы есть?” – Щиринов немедленно откликнулся:

– Есть. Берию еще не повесили?

Его немедленно отправляли в бур, но ведь и туда время от времени наведывались комиссии с тем же обязательным вопросом. И всякий раз Щиринов высказывал со своим:

– Есть вопрос! Берию не повесили?

Его били, сажали в карцер, но Герой не поддавался перевоспитанию.

Берию так и не повесили, но расстреляли – в 1953 г. И Щиринов немедленно выпустили из лагеря. Полковник Бородулин захотел побеседовать с ним на прощанье. Спросил:

– Надеюсь, лично к нам у вас претензий нет? Мы только выполняли свой служебный долг.

– Претензий у меня нет, – ответил летчик. – Но я еще вернусь, и ты мне будешь сапоги целовать.

Этому не суждено было сбыться: Бородулина перевели на Воркуту и там он умер от инфаркта. Рассказывали подробности: какой-то зек не поздоровался с ним, как предписывали лагерные правила (“не доходя пяти шагов остановиться, снять головной убор и приветствовать словами: здравствуйте, гражданин начальник!”) Полковник разволновался, стал кричать, топтать ногами, и – “Hertz пиздец”. Боюсь, что это легенда. Красивой легендой оказался и слух, будто Щиринов действительно вернулся на Инту в составе “микояновской тройки” – разгружать лагерь***.

Буром заведовал Владас Костельницкас. Такая же сволочь, как наш Петров, и тоже в прошлом эмведешник. Но внешне – полная противоположность своему каргопольскому коллеге. Литовец, профессорский сын, он обладал вполне интеллигентной наружностью – был близорук и носил очки с очень толстыми стеклами. Обладал он и тем прекрасным цветом лица – белая кожа, нежный румянец – который, по нашему с Юлием наблюдению, бывает только у ангелов или у людей, не знающих угрызений совести (за отсутствием таковой). Костельницкас ангелом не был: с садистским удовольствием заливал пол в камерах бура ледяной водой – чтоб сидели на нарах, поджав ноги; по малейшему поводу надевал на своих подопечных наручники, избивал. При этом всегда пребывал в превосходнейшем расположении духа: по деревянному тротуарам ОЛПа ходил приплясывая и аккомпанируя себе на воображаемой губной гармошке. Срок у него был небольшой – три года, но и их Владасу досидеть не удалось: его зарезали. Подзреваю, что земляки; литовцы, как и бандеровцы, к минлаговским временам пре-

вратились в серьезную и хорошо организованную силу, можно даже сказать – в тайную армию.

Собрав весь ОЛП в столовой, Бородулин произнес гневную речь:

– Враги убили советского офицера Костельницаса. Не пройдет! Мы найдем убийц и сурово накажем!

Стоявший рядом со мной зек негромко сказал:

– Хуй вы найдете.

Так и вышло. Меня всегда удивляло: почему в большом многомиллионном городе убийц ухитряются найти, а на лагпункте не могут. Здесь ведь, в наглухо запертой зоне, всего четыре тысячи человек. Может, не очень-то и искали – ну одним зеком больше, одним меньше... Почти все лагерные убийства в Минлаге остались нераскрытыми.

Блатные убивали по-старому – работая на публику. Так зарубили нарядчика, ссученного вора по кличке Рябый: за ним “давно ходил колун”, т. е. он был приговорен воровской сходкой.

Сашка Переплетчиков рассказывал: он колот дрова возле барака; к нему подошли двое и попросили на минутку топор. Он дал, хотя понимал, что вряд ли топор понадобится им для хозяйственных нужд. Минут через двадцать обоих привели мимо Сашки в наручниках. Один крикнул:

– Сашок, сходи возьми топор.

– Где?

– В черепе у Рябого.

Рябый отдыхал у себя в кабине, когда вошли эти двое. Один занес над его головой топор, другой тронул за плечо: “по сонникам” убивать не полагалось. Рябый приоткрыл глаза. Этого было достаточно для соблюдения формальностей. И исполнитель приговора, не дожидаясь, пока нарядчик сообразит, что к чему, рубанул его по черепу. После этого они пошли на вахту и, как требовал ритуал, сказали:

– Уберите труп!

Обычно такие дела поручались молодым ворам-долгосрочникам. Двадцать три года сидеть или двадцать пять – большой разницы нет. Зато – какая заслуга перед преступным миром! (Смертная казнь в те годы уголовным кодексом не предусматривалась; чтобы припугнуть блатных, пришлось ввести специальным указом высшую

меру наказания за “лагерный бандитизм”. Потом-то узаконили “вышку” и за другие преступления.)

Бандеровцы и литовцы убивали стукачей по-другому, показуха им была не нужна. Втроем или вчетвером подстерегали приговоренного в темном местечке и поднимали на ножи. Так было с Костельницасом, так было и с Лукиновым, начальником колонны шахты-9.

Этот мерзкий тип сидел с незапамятных времен (в формуляре стояло: “троцкист”) и знал все лагерные подлости. Однажды зашел в барак с перевязанным горлом, жалобно просипел:

– Ребятки, нет ли у кого стрептоцида, красненького? Ангина у меня.

Кто-то кинулся к тумбочке:

– У меня есть!

Тогда Лукинов сорвал повязку и торжествующе закричал:

– Теперь понятно, кто у меня красным на снег ссыт! С крыльца... Десять суток ШИЗО!

В угоду начальству он изобретал ненужные режимные строгости – как мог, портил людям жизнь. Убили Лукинова за неделю до освобождения; уже жена успела приехать – хотела встретить у ворот после долгой разлуки...

Совсем другого склада человек был Костя Рябчевский, начальник колонны шахты 13/14. На этом посту он сменил хорошего парня Макара Дарманяна, футболиста из Одессы. Рябчевского представил колонне сам Бородулин такими словами:

– Дарманян вас распустил. Теперь начальником будет серьезный человек, он наведет порядок!

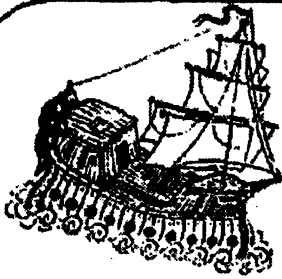
Порядок Костя навел быстро: у него был большой опыт руководящей работы.

В плен к финнам он попал капитан-лейтенантом Балтийского флота. Пошел к ним на службу – не морскую – и за особые заслуги был передан немцам. Он сам похвалялся:

– Я воевал с коммунизмом на двух континентах, в Европе и в Африке.

(В Африку Рябчевский бежал после поражения немцев; вступил во французский Иностраный Легион и стал служить чет-вертым по счету хозяевам.)

Из Африки в Коми АССР он переехал по причине романтической: в России у Ко-



14-Е-4, в г.
Мой дорогой
Валерка!

Я тебе позорно долго не писал, как, впрочем, и дамой. Последнее письмо, которое я тебе отправил, предварительно пролежало у меня в столе полмесяца — факт непростительный. Надеюсь, что тот беспринципный инцидент не повторится, и я заплачу свою вину. Где только, там и рвется, дорогой мой. Я одновременно отправил два больших письма — маме и тебе, а мама этого письма не получила (я их послал с оказией) если и ты не получила, то это весьма прискорбно. Я тебе ответил в нем на все ком. быт. вопросы и писал о своем бытии. Если будет нужно, то повторю. Ой тебе я получил еще одно письмо, за которое весьма благодарен, с опасением книги Шюц. Очень интересно. Не мог бы ты ее прислать ко мне на пару недель? (Конечно, если она твоя собственность) Мамини мне, с тем идет, письмо в "Спутниках". Прощай мне в 4^й раз!!

○ себе, старичкам, писать много не приходится. Субботник, о котором я тебе докладывал, уже кончился, и я пока опять работаю в конторе. Мама пишет регулярно — она походу. Пишет, что каждый день шьет, такто захочет к тебе ей ма.

Ой тебе писем нет уже целую неделю, но я не ропщу, ибо понимаю то, что посылал. Не забывайся, Валер

До Минлага мы с Юликом переписывались. Это письмо из его Кировского лагеря в мой Каргопольлаг.

сти была любимая женщина. И он вернулся к ней — под чужим именем. Но и эмгешники ели хлеб не даром: разнюхали, кто он такой, дали срок и отправили в Минлаг. Своей женщине он и здесь оставался верен. "Обжимал" зеков из своей колонны (т. е. брал взятки продуктами из посылок) и умудрялся через вольных отправлять посылки ей.

Чем-то Рябчевский сильно обидел Сашку Переплетчикова, и тот не раз божился: гад человек буду, я Костю работну начисто!

Как-то раз мы втроем — Сашка, Юлик и я — сидели в сушилке барака и гадали, чем бы открыть банку тушенки: Сашка только что получил "бердыч". В сушилку заглянул Костя — он делал обход своих владений. Увидел Сашку с банкой в руках, понял суть

проблемы и вытащил из-за голенища большой нож, вроде финки. Протянул его Саше как воспитанный человек, наборной ручкой вперед:

– Нож ищешь? На, Саша. Открывай.

А презрительно сощуренные глаза говорили другое: “Ты же, тварь, хлестался, что работнешь меня?.. На, делай!” Он стоял, чуть наклонившись вперед – рослый, плечистый, с квадратным, по-офицерски выбритым черепом – и ждал. Сашка открыл банку, вытер нож о брючину и отдал владельцу. Даже пробормотал смущенно:

– Спасибо, Костя.

Такой был Костя Рябчевский. Имел душок. И Сашка был не трус, но, конечно же, он не собирался никого убивать – просто играл в блатного. Романтик...

С Лукиным, при всём несходстве, Костя приятельствовал. Помню, сидели они в столовой и лениво наблюдали за репетицией местной самодеятельности. Пел Печковский, отбивал чечетку Лен Уинкот, загримированный под негра. Лукинов сказал:

– Может, и мы чего-нибудь покажем? А, Костя?

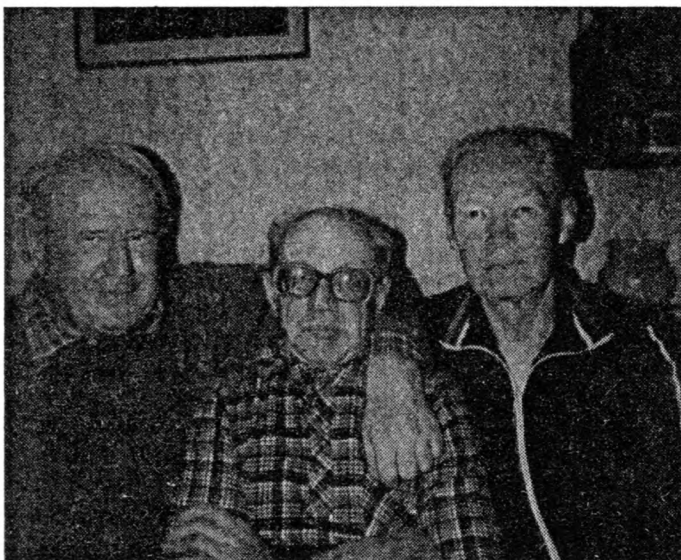
– Ну, давай. Покажем, как вешают.

Такие были у них шутки. Рябчевского тоже пытались зарубить, но неудачно – удар оказался слаб. И сразу родилась легенда: хитромудрый Рябчевский носит под казенной шапкой другую, стальную – вроде тубетейки. (Если бы знали терминологию оружейников, сказали бы: мисюрку, наплешник...)

Летом 49 года произошло приятное событие: на третий ОЛП с очередным этапом пришли двое, с которыми я подружился на Алексеевке: Женя Высоцкий и Жора Быстров.

Жорина история стоит того, чтоб на ней задержаться. До войны он жил в Пскове, учился в институте, был физкультурником и даже победителем какой-то всесоюзной военно-спортивной игры. В ее комплекс входило и ГТО – “Готов к труду и обороне”, и “Ворошиловский стрелок”, и ориентировка – всё на свете.

Когда началась война и фронт оказался совсем близко, в городе стали формировать из спортсменов истребительный отряд для борьбы с немецкими диверсантами. Жора, естественно, записался одним из первых. Но в последний момент его вызвали в военкомат; там Жору ждал энкаведешник в штатском. Поздоровался за руку, назвал Георгием Илларионовичем и объяснил: в истребительный отряд идти не надо. Жора останется в городе и предложит свои услуги немцам. Отец Быстрова, большой железнодорожный начальник, был арестован как враг народа. Это, по словам чекиста, было сейчас большим плюсом: немцы проникнутся к Жоре доверием. Тем



Друзья-каргополчане 40 лет спустя (Леша Кадыков, я, Жора Быстров).

более что внешность очень подходящая, арийская: рыжие волосы, рост под метр девяносто. А дальше – надо стать для них своим человеком, пойти на службу в полицию, в жандармерию, на худой конец, в армию. И работать на нашу разведку. Ведь вы советский человек?..

Жора сказал, что да, и всё пошло по чекистскому плану. Через полгода он уже преподавал рукопашный бой в школе диверсантов в эльзасском городе Конфлансе (Жора произносил его название на немецкий манер: Конфлянц). От него я получил некоторые разъяснения по поводу власовцев. Это материя сложная; скажу толь-

ко, что наша пропаганда называла власовцами всех русских, согласившихся воевать на стороне немцев, а это неточно. Кроме собственно власовских частей (до армии они по количеству не дотягивали), были еще вкрапления в воинские части вермахта. И всюду – в т. ч. и среди настоящих власовцев – публика была очень неоднородная: идейные бойцы с коммунизмом, карьеристы, а чаще всего – бедолаги, попавшие в плен, наголодавшиеся и голодом загнанные в чужую армию.

Рассказывали и такое: военнопленных заводили в баню, всю одежду отправляли на прожарку – а обратно не возвращали. Помывшимся предлагали надеть серо-зеленую немецкую форму (а иногда – черную, не то голландскую, не то из какой-то прибалтийской республики). Надевая чужую форму или гуляй голышом... Не знаю, так ли было – но чувствую, что очень похоже на правду.

Жора Быстров предателем себя, понятно, не считал: он выполнял задание, совершал, можно сказать, подвиг разведчика. После капитуляции немцев явился к советскому командованию и рассказал свою историю. Жору обласкали; долго выдавали сведения о всех частях, где он успел послужить, а когда он выложил всё, что знал, арестовали и осудили на десять лет по ст. 58.1б – измена Родине.

В лагере ему пришлось очень тяжело: куда эвакуировались его мать и брат, он не знал, посылки ждать было не от кого. Несколько раз он совсем доходил – но кое-как выкарабкался: на Алексеевке ему очень помог Женя Высоцкий. Жорка относился к нему с молчаливым обожанием. Он и вообще был не болтлив, сдержан – но с чувством юмора у Георгия Илларионовича обстояло хорошо. Так же, как у Евгения Ивановича. Про то, что Женя был отличный рассказчик, я уже упоминал. Рассказы у него были на любой вкус – и жутковатые, и весёлые (хотя, как правило, и они кончались не очень весело для главного героя).

Он рассказывал, например, про сослуживца своего отца, большого подхалима. На дне рождения Высоцкого-старшего, директора военного завода, этот сослуживец произнес тост:

– Кто у нас был Ленин? Теоретик. А кто у нас Сталин? Практик. А вы, товарищ Вы-

соцкий – вы у нас и теоретик, и практик!

Год был неподходящий – тридцать седьмой. Подхалима посадили. Немного погодя посадили и старшего Высоцкого, а потом и младшего.

На следствии Женя держался молодцом, ни в чем не признавался – да и не в чем было. Следователь орал на него, материл, но не слишком жал. Может, жалел? Жене было тогда семнадцать лет.

Однажды его вызвали на допрос. В кабинете, кроме его следователя, было еще четверо. У троих в руках резиновые дубинки, у одного – отломанная от стула ножка.

– Вот он, Высоцкий, – объявил его следователь. – Не сознаётся, гадёныш.

– Создается, – сказал чужой следователь и поиграл дубинкой.

– Спорим, не создается! – азартно крикнул “свой”. – А, Высоцкий?.. Говори, писал троцкистские листовки?!

– Не писал.

– Ну вот. Что я сказал?

– Создается, – заорали чужие и двинулись на Женю, размахивая дубинками. – Говори – писал?

– Не сознавайся, – приказал свой.

– Не писал. – Женя стал пятиться в угол.



Женя Высоцкий перед арестом.

- Сознавайся!
- Не сознавайся!

Концы дубинок прижали парнишку к стене; тот, что был с ножкой от стула, замахнулся. Женя зажмурил глаза и отчаянно крикнул:

- Не писал!

Раздался хохот. Дубинки полетели на пол.

– Молодец, Высоцкий, – удовлетворенно сказал Женин следователь. – Ладно, иди пока.

Женя говорил, с него семь потов сошло. Вернулся в камеру, зная: свое он так и так получит...

Юлику и Женя, и Жорка сразу понравились. После работы мы собирались у него в каморке (он там не ночевал, только обрабатывал шахтстроевские наряды). Его помощником был эстонец по фамилии Нымм; при нем мы болтали не стесняясь – эстонцы народ надежный. Еще одним членом компании стал электрослесарь Борька Печенёв, горьковчанин. Этот тоже был начинен всевозможными историями. Он и предложил: а давайте устроим конкурс – пускай каждый напишет рассказ на лагерную тему. Жора Быстров отказался писать, а остальные решили: почему не попробовать? Бумага была под рукой, сели писать.

Рассказики получились короткие. К нашему удивлению, Женины истории, которые он рассказывал просто артистически, на бумаге превратились в вялое школьное сочинение. Борькино произведение тоже не блистало – как и мое. Победу единогласно присудили Юлику.

Нас с ним позабыл ряд совпадений. Он писал от первого лица, лирическим героем сделал вора, – и я тоже. У него была любовь и измена – у меня тоже. У него карточная игра – и у меня. У него герой убивал возлюбленную... Вот тут было расхождение. Мой только пришел с топором к ней, спящей – и пожалел. Порубил все шмотки, которые дарил – так у блатных было заведено, – и тем дело кончилось. Оно и естественно: у Юлика главным действующим лицом был решительный и жестокий сука, а у меня – довольно жалкий полуцвет. Из моего рассказика я запомнил только одну фразу: “Но нам сказали, что вы рецидив и к амнистии не принадле-

жите”. А у Юлика... Короче, в воскресенье мы сели вдвоем сочинять второй вариант его истории. Совсем как в самом начале нашего соавторства, когда сочиняли в восьмом классе пародию на “Детей капитана Гранта”.

Получился довольно длинный рассказ, почти повесть – “Лучший из них”.

Примечания автора

* Свою скрипку Лернер продал, когда уехал из Минлага на вечное поселение в Красноярский край. На вырученные деньги он и там, в ссылке, купил себе какую-то хлебную должность. После реабилитации вернулся в Москву, играл в джазе у Рознера. (Мы могли бы узнать его телефон, у нас оказались общие знакомые – но решили, что не стоит. Едва ли ему хотелось вспоминать о некоторых подробностях своей лагерной биографии. Хотя мы-то с Юликом ему искренне благодарны.)

А на автобусной остановке возле Мосфильма мы как-то встретили Бьянку. К этому времени она была уже вдовой. Некрасивая немолодая женщина с усталым и недобрим лицом.

** “Качественные знакомые” выручали Эйслера всю жизнь – и в серьезных случаях, и в несерьезных. Он рассказывал: много лет назад его поехал проводить на вокзал питерский приятель. В “Красной стреле” соседом Абрама Ефимовича по двухместному купе оказался знаменитый артист Юрьев – “последний русский трагик” и старейшина ленинградских гомосексуалистов. Молодой Эйслер забеспокоился.

– Глупости, ничего не бойся, – сказал приятель. – Я тебя научу. Как только тронется поезд, заведи разговор о том, что у каждого человека имеются свои маленькие странности. Он, конечно, заинтересуется, спросит: а какая странность у вас? И ты ему скажешь: каждый раз, когда ложусь спать, я насыпаю себе в анальное отверстие битое стекло.

*** После XX съезда такие “тройки” – комиссии, созданные, как говорили, по инициативе А. И. Микояна – ездили по лагерям, чтобы на месте разбираться в “делах” и освободить незаконно осужденных. В составе тройки был член ЦК, представитель прокуратуры и – для объективности – кто-нибудь из бывших зеков.

Работали тройки так: перелистав лагерное “дело” – как бы конспект следственного, – задавали зеку несколько вопросов и решали: этого выпустить, а этого оставить в лагере. Не реабилитация и не амнистия; такое же, по сути, беззаконие, как деятельность ОСО – но, слава богу, со знаком плюс. Десятки тысяч людей вышли на свободу. (О составе и методах работы троек рассказываю с чужих слов, сам не участвовал.)

Конец первой книги

АЛЕКСАНДР МИТТА

Эйзенштейн,

СТЕРЕОТИПЫ ДРАМАТУРГИИ

Станиславский и мы.

Глава 1. КОНСТРУКЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ

Студенты – сценаристы и режиссеры обсуждали общую работу. Сценаристка сказала: “Я придумала героев, сочинила историю. И я хочу, чтобы все было поставлено и снято именно так, как я это задумала. Подробно-сти для меня так же важны, как и главные моменты”.

– Хорошо. У тебя есть выбор. К тебе подходит режиссер и говорит: “Я восхищен вашим сценарием. Я хотел бы его поставить именно так, как он написан. Я ничего не буду в нем менять. Сохраню все. И ничего не добавлю. Все будет точно так, как написано”.

Потом подходит второй. Он говорит: “Мне понравился ваш сценарий. И знаете чем? Удивительно, что проблемы вашей истории девочки из бедной семьи совершенно совпадают с проблемами моего детства, хотя я вырос в зажиточной семье среднего класса. Вы выразили идею такую всеобщую, что мне совершенно не важно, где происходит действие. Это рассказ о драме каждого ребенка. Я уверен, что смогу насытить ваш сценарий подробностями своего личного опыта, своего детства. Он вырастет вдвое, втрое...”

Вы должны выбрать одного из двух. Конечно, предложение второго заманчиво. И вы уже слышали о том, что он талантлив. Но вам очень хочется, чтобы ваш мир возник именно так, как вы его увидели. И первый режиссер, кажется, дает вам больше уверенности, что так оно и будет. “По крайней мере, – думаете вы, – ему нравится мой мир, а не какой-то неведомый мне иной”.

Первый получает ваш сценарий. Он советуется с вами, он послушен. Вначале вам все это нравится. Но постепенно проясняется что-то совсем не то, что вы писали. В вашем воображении действуют живые люди. А на площадке ходят и разговаривают муляжные подобию этих людей. Возникает мир кукол, мир манекенов. Вы начинаете сомневаться в своих способностях. Наверное, вы никогда не сможете передать на бумаге все богатство вашего внутреннего мира. Вы кисло улыбаетесь режиссеру. Он показал вам, что ваш мир на самом деле скучный, пресный, не волнует никого. Неужели это так? И вы впадаете в депрессию.

Теперь, слишком поздно, вы понимаете, что должен был сказать вам этот режиссер

ФИЛЬМ
КАК КОЛЛЕКТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ



Рисунки автора

на самом деле: "Я прочел ваш сценарий. Знаете, у меня небогатое воображение, но я думаю, в сценарии столько ваших подробностей, что в фильме никто не заметит этого моего недостатка. Я, может быть, не имею своего определенного взгляда на мир. Но я готов следовать за вашим. Вы так понятно выразили его, что и этот мой недостаток не будет замечен в фильме. Я не очень силен в анализе характеров. Но у вас все написано так ясно, что каждый артист сам догадается, как ему играть".

По сути, он сказал: "Я вам мало помогу, но постараюсь никому не мешать. Ни вам, ни артистам".

Но фильм – не дерево. Он не может вырасти сам по себе.

Теперь допустим, что вы проницательная женщина и быстро догадались о тайных недостатках первого режиссера. Вы отдаете сценарий второму.

Начало работы сказочно!

Вместо скучных, послушных исполнителей на площадке действуют воодушевленные актеры. Они фантазируют, сочиняют этюды на темы жизни ваших героев. Вы чувствуете себя лишней в этом вихре творческой энергии. Режиссер действительно неисчерпаем в предложениях и новых идеях. Ваша Дженни из скромной, забитой девочки превращается в озорную и привлекательную. Ее длинное серое платье заменили потертые джинсы. Так ей удобнее прыгать по деревьям и валяться на



ЭТО НЕ МОЙ МИР.

ле. Потом ее длинные локоны оказываются незаметно богатеет. Потому что Дженни нужны детали, которые режиссер вынимает из своей памяти. И это хорошие детали: плеер, маленький компьютер, раковина, привезенная с Гавайских островов. Потом вы слышите, что вашу Дженни зовут Джоном... При этом режиссер абсолютно убежден, что он ставит ваш сценарий. По крайней мере, вдохновен им. Но это уже не ваши герои и не мир вашего детства. Вокруг всем нравится, но у вас

на душе мрак. Похоже, вы годитесь только на то, чтобы режиссер вытер о вас ноги, входя в мир своей фантазии. И вы впадаете в депрессию.

Что на самом деле должен был сказать второй режиссер? "Мое воображение распирает множество идей. Но мне трудно найти для них форму. В вашем сценарии я увидел возможность реализовать часть своих идей. В нем есть форма. Я попытаюсь ее сохранить. По крайней мере, на какое-то время, пока мои идеи не подскажут мне моей формы".

Это две крайности. Все остальные варианты находятся между ними.

Как же сценарий может превратиться в фильм, не теряя, а развивая свои достоинства?

Для этого он должен пройти через две реинкарнации. Он должен заново родиться в воображении режиссера и получить форму будущего фильма. Затем с помощью режиссера он должен заново родиться в воображении и действиях актеров и всех остальных сотрудников режиссера: оператора, художника и т. д.

Может ли автор создать сценарий, который гарантировал бы, что его мир сохранится в этих двух превращениях? Да. Об этом мы и будем говорить, соединяя интересы всех трех соавторов фильма: автора сценария, режиссера фильма и актеров. Не думайте, что эта проблема возникает только в начале пути. Она будет сопровождать вас всю вашу творческую жизнь.

На одной премьере я увидел обычную, в общем, картину: режиссер и сценарист взялись за руки, подняли их вверх и, улыбаясь, во все стороны кланяются аплодирующим зрителям.

– Счастливые, – сказал я соседу. – У них всё есть: талант, успех, дружба.
– Да? Сейчас пойдем на банкет, последи, сколько раз один из них за вечер подойдет к другому. Я точно знаю сколько. Могу поспорить.
– Сколько? – спросил я.
– Ни разу...
– Шутишь...
– Да. Один из них сказал мне о другом: “Говорят, что его ненавижу. Какая чушь! Как можно ненавидеть человека, который заслуживает только одного – презрения! Я испытываю к нему безгловое отвращение! Это пиявка, которая присасывается к тебе. При виде его меня охватывает не ненависть, а гадливость. Я борюсь не с желанием его ударить. Нет! Нет! Я борюсь только с тошнотой. Единственное, что меня утешает, это то, что меня вырвет именно на него. Впрочем, он этого даже не заметит. Потому что сам состоит из рвоты... Все его идеи уже были однажды кем-то съедены и переварены. И он питается только этим, и это его суть!..” И так далее. А теперь еще раз посмотри на их улыбки”.

Мрачная картина? Конечно. Кое-что, я признаюсь, преувеличил. Однако не слишком много.

Я пять раз работал с одними и теми же сценаристами, талантом которых искренне восхищался. Я полагал, что это и есть причина нашего сотрудничества. Тем более, что наши фильмы в России имели успех. Через много лет, после того как один из этой пары – Юлий Дунский, умер, я спросил у Валерия Фрида:

– Скажи, почему вы так много работали со мной? А со всеми другими режиссерами только по одному разу?

Он ответил:

– Честно говоря, на каждом фильме наступал момент, когда мы говорили себе: это в последний раз! Но потом ты приходил с интересной идеей, и мы думали: в конце концов другие еще хуже.

Давным-давно я был студентом ВГИКа. К нам в гости приехал известный сценарист Андре Спаак. С ним работали знаменитые режиссеры, у него были успешные фильмы. Он казался нам пришельцем из какого-то заоблачного мира, где блещут звезды и люди плавают в бассейнах успеха, принимают душ успеха и даже в туалете течет поток успеха. Но сценарист был грустным, делился опытом неудач и в конце концов махнул рукой: “Ах, кино это вообще такой вид сотрудничества, где каждый последующий стирает следы работы предыдущего”. Память меня подводит, но, по-моему, он процитировал слова своего друга Чезаре Дзаваттини. Если основоположник неореализма, священная корова итальянского кино, Чезаре Дзаваттини и преуспевающий европейский сценарист думают одно и то же, значит, для этого есть немалые основания.

Это негативное описание итога пути, где все участники относятся к фильму как к части своей личности, как к своему самовыражению. “Зачем ты изуродовал моего ребенка?!” – говорит один другому. И каждый уверен, что ребенок его.

Есть иной способ создания фильма. В Голливуде сценарист сочиняет историю точную, как чертеж автомобиля. Режиссер готовит ее к съемкам, как точную книгу в картинках. И на съемках коротко указывает актерам, где сесть, где встать в каждой картинке. Актеры произносят слова сценария и делают движения и жесты, указанные режиссером. Потом, уже без режиссера, все это оказывается на столе у монтажера. И так далее... В итоге выходит фильм, который, в отличие от вашего, будут смотреть во всем мире. В этой системе у каждого своя, четко ограниченная территория действий. Никто не заходит на чужую территорию. Это классно функционирует.

Но если приглядеться к этой структуре внимательнее, увидишь удивительные вещи. Как возникает, например, точная как чертеж история?

Тысячи и тысячи людей пишут сценарии, продюсеры платят им деньги, сценарии переписывают по многу раз. И все равно, на каждые сто полностью оплаченных сценариев снимается один фильм. Довольно часто этот счастливый сценарий переписан 5–7 раз разными авторами, хотя в титрах стоит только одно имя. Я знаю уважаемых сцена-

ристов, им за сорок, они написали десятки оплаченных сценариев, но у них нет ни одного фильма на экранах. Это нормально в индустрии.

Нечто похожее и в режиссуре. На каждые восемь фильмов, запущенных в работу, на экраны выходит только один. Работай, режиссер, может, повезет! У индустрии развлечений есть своя идеология. Режиссер в ней, в сущности, никто. На видеокассетах его имя мелко написано в том месте, которое всегда чем-то заклеивается. Он никому не интересен. Звезд от режиссуры знают, миллионеров-режиссеров знают, но не художников.

Мой опыт опирается на то, что я всегда был инициатором и центром своего фильма. Это европейская традиция. Я уверен, что именно она движет искусство вперед. Развитие ее я вижу в коллективной работе, объединенной замыслом режиссера. Это значит, что территория каждого несколько размыта по краям. Мы вместе рассказываем историю.

Сценарист пишет в сценарии то, что рождается в его воображении и проистекает из его жизненного опыта. Режиссер ставит в фильме то, что написано автором так, как это соединяется с его воображением и жизненным опытом. Актер играет то, что написал автор, ставит режиссер и что он, актер, должен оживить, опираясь на свое воображение и жизненный опыт.

Три воображения и три жизненных опыта должны соединиться вместе для коллективной дружной работы – в оптимальном варианте, или для волшебного феерического взрыва эмоций и таланта – в идеале, когда возникает шедевр, о котором мы все мечтаем.

Можно ли считать такой оптимальный вариант только счастливым случаем, только зыбкой комбинацией? Ни в коем случае. Есть прочные конструктивные гарантии того, что автор, режиссер и актеры будут работать сообща, воодушевленные общей идеей. В каком случае это произойдет?

Во-первых, если вы работаете с драматической ситуацией.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Деятельность человека бесконечно разнообразна. Он мечтает, созерцает, выясняет проблемы, спорит, обменивается информацией и т. д., и т. п. Из

всех видов его активности драму, во-первых, интересует то, что происходит **здесь и сейчас в драматической ситуации**. Что такое “здесь” и “сейчас”, объяснять не надо. А что такое “драматическая ситуация”? Это положение героя, когда давление окружающих обстоятельств сильнее, чем возможности характера персонажа. Проще говоря, когда человек находится в безвыходном положении. Только это по-настоящему объединяет всех создателей фильма. **Безвыходное положение здесь и сейчас. Это и называется “драматической ситуацией”**.

Она одержала абсолютную победу над всеми другими видами активности человека, хотя в литературе существуют неизмеримо более тонкие и сложные описания процессов таинственной жизни души. Возьмем для примера “поток сознания” в “Уллисе” Джойса. По сравнению с этим драма кажется грубой и примитивной формой показа человеческой души. В прозе мечты и мысли героя плотно сливаются с его действиями, память мгновенно перемещает вас на 20 лет назад, в другую страну, и тут же на 10 лет вперед, в воображаемый мир будущего. Тончайшие ароматы рождают ассоциации, притотливый узор вашей мысли изменчив и ничем не ограничен. Что может противопоставить этому драма? Простые грубые действия здесь и сейчас.

Почему же драматическая ситуация победила?

Потому, что она заставляет человека немедленно искать выход из безвыходного положения. И это:

- во-первых, стимулирует воображение автора;
- во-вторых, стимулирует воображение режиссера и актеров;

– в-третьих, заставляет зрителей, забыв обо всем, следить за тем, как персонажи выбираются из безвыходных ситуаций.

У Акакия Акакиевича Башмачкина – героя повести “Шинель” – полностью износилась старая шинель. Без шинели он заболает и помрет. Пошить новую шинель он не может по бедности. Что он будет делать?

У помещицы Раневской продадут за долги вишневый сад – единственный источник дохода. В материальной жизни она беспомощна – умеет только тратить деньги. Если сад продадут, она погибнет. Что она будет делать?

Гамлет узнает, что его отец предательски убит. Он должен мстить, хотя совсем не хочет этого. А вокруг одни враги. Что он будет делать?

Подросток оказался свидетелем убийства, в котором замешаны большие и беспощадные силы. Его убьют, если он не поможет раскрыть преступление. Что он предпримет? (Фильм “Клиент”).

В провинциальный город приехал ревизор. Губернатор города уверен – если ревизор знает о беззакониях, чиновникам грозят кандалы сибирской каторги. Это сейчас можно нагробить, продать достояние страны и жить ничего не боясь. Раньше, в Империи, нравы были строже. Угроза каторги для вора была реальной. Что будут делать чиновники?

В налаженную жизнь нью-йоркской мафии пришли новые люди. Им нужно политическое влияние. Они понимают, что получат то, что хотят, если убьют старого крестного отца – дона Карлеоне, и убивают его... Нет, он еще жив. Что предпримут его дети?

Учитель гимназии боится всего в этом мире. Он живет как бы защищенный футляром. И вдруг этот футляр пытается разрушить любящее существо – женщина, будущая жена... Что он предпримет в ответ?

Молодой помещик Дубровский потерял все состояние. Он стал разбойником, мстит негодяям и вдруг влюбляется в дочь своего заклятого врага. Как он будет действовать?

Юный, богатый и счастливый красавец Ромео влюбился в юную, богатую и счастливую красавицу Джульетту. И она его любит. Но их счастье невозможно. Семьи Монтекки и Капулетти – смертельные враги. Что будут делать влюбленные?

Бездомная швея живет в общаге у студентов, любит каждого своего покровителя, заботится о нем. И вдруг ее любимый выгоняет ее из дома. А ей некуда идти... “Анюта” Чехов.

Этот список может быть бесконечно длинным, так как в каждом драматическом произведении обязательно содержится четко выраженная драматическая ситуация. Она – мотор, который приводит в движение все человеческие отношения. Она заставляет не размышлять, а совершать поступки. Она требует, чтобы персонажи немедленно, здесь и сейчас, на наших глазах решали свои проблемы, выбирались из пропасти в которую их толкает драматическая ситуация. Это относится в одинаковой степени к бульварной и высокой литературе, к выдающимся, ослепительным героям бестселлеров и скромным исследованиям тайников человеческой души незаметных маленьких людей.

Драматическая ситуация задает вопрос, который нас почему-то особенно интересует. Мы хотим получить на этот вопрос немедленный ответ, так же как и персонажи в драматической ситуации. Создав драматическую ситуацию, вы как бы даете режиссеру в руки тяжелый чемодан и говорите: “Неси этот груз прямо к цели”. С чемоданом особенно не побегаешь. Режиссер должен выбрать краткий путь к цели. Об особенностях этого пути мы поговорим позднее.

Авторы популярных методик не унижаются до объяснения, почему драматическая ситуация работает так уверенно и безотказно. Статистически это функционирует успешно, поэтому кажется самоочевидным. Но для моих учеников в России это не было самоочевидным. Их привлекает поэтический показ созерцания жизни, безвольных радостей и грустных настроений, или хаос жизни в хаотических формах, или что-то еще, глубоко индивидуальное. Нам всем, и создателям фильмов и зрителям, полезно понять, почему нам будет лучше, если мы будем работать с драматической ситуацией.

Начнем с конца. Как нерадивые школьники подсмотрим ответ в конце задачника.

Фильм уже закончен и показывается в кино. Поглядите на толпы зрителей, заполняющих тысячные залы кинотеатров – в Германии, Франции, Америке это так. Почему мы не толпимся в картинных галереях, не сидим до ночи в библиотеках – там тоже искусство? Нет! Каждую неделю мы собираемся в большом зале. Тушат свет, и мы полтора или два часа неподвижно сидим, вытянув шеи к мерцающему полотну экрана. Что заставляет нас делать это? Канадский психолог Ганс Селье говорит, что мы все нуждаемся в стрессе. Кино удовлетворяет эту потребность.

Стресс – это гениальная выдумка Бога. Способность к стрессу заложена в программу каждого человека. Она обеспечила то, что он, когда-то слабый, жалкий, голый, стал царем природы и построил этот мир. Сейчас мы живем цивилизованно среди информационных потоков невидимых лучей и волн. Но началось все тогда, когда человек жил в лесах и пещерах, окруженный зверями которых должен был убивать, чтобы выжить. Бог не мог предположить все варианты реакции на опасность. Он придумал стресс – одну-единственную универсальную реакцию на все сильные раздражения: страх, агрессию, радость, горе... Ученые называют это "неспецифической реакцией организма". Как только в поле внимания человека возникает что-то необычное, тревожное, опасное, грозящее – его внимание автоматически мобилизуется. Организм выбрасывает в кровь большую порцию адреналина, и на короткий миг его силы удесятятся. Он становится сильнее, бежит быстрее, глаз зорче видит и поражает цель, воля концентрируется в ярости или страхе. Он кидается на врага, как богатырь, или бежит от опасности с неожиданной скоростью.

Реакция стресса у всех людей на земле идентична. Это позволило людям объединиться в стаи, племена, народы и выжить. Именно благодаря стрессу древний предок каждого из нас мог охотиться, тащить в пещеру тушу убитого вепря, жарить ее на огне. А ночью обнимать свою подругу, забыв о холоде и страхе. Он любил, рожал, растил детей и, если повезет, умирал не на охоте, а окруженный детьми и внуками в глубокой старости, полностью изношенным бородатым патриархом годам так к 25-ти. Стресс изматывал и срабатывал все его органы.

Сейчас мы живем втрое больше, в тепле, под защитой законов, налаженной размеренной жизнью. Ученые говорят, что мы сегодня используем лишь 5–7 процентов нашего потенциала стресса. Но программа организма не изменилась. Организм нуждается в стрессе. Если мы не получаем порции стресса, у нас возникает дистресс, или вялотекущий постоянный стресс, и он изнашивает наш организм, рождает болезни, неврозы и психозы. Поэтому нас тянет в ситуации стресса.

Что открыли ученые, исследовав кинозрителей? Оказывается, у них в мозгу во время просмотра фильмов возникают слабые биотоки стресса. В сотни, может быть, в тысячи раз более слабые, чем стресс в реальности. Но этот кажущийся стресс целителен. Он дает нам радость, потому что снимает напряжение, облегчает душу, позволяет бороться и побеждать в воображаемой стае телевизионных сериалов и изысканных драм.

Что же лучше всего подключает зрителей к экрану?

Человек в драматической ситуации. Это происходит помимо сознания. Оно заложено в программу нашего поведения. Как только я вижу человека в беде, я оказываюсь в воображаемом стрессе, рядом с ним и вместе с ним ищу выход. Конечно, чем этот человек мне ближе и понятней, тем подключение полней. Но практически я подключаюсь к каждому, кто испытывает стресс. Моя программа стресса работает без моего волевого участия. В нее заложен стадный инстинкт.



На этой базовой основе и построены все контакты со зрителями драмы. Стресс – это основа для моего сопереживания персонажам в драматической ситуации. Если герои находятся в драматической ситуации, я наиболее полно идентифицирую себя с ними.

Драматическую ситуацию определяют три фактора:

1. **Человек находится в безвыходном положении .**
2. **Угроза развития этой ситуации заставляет его искать выход .**
3. **Он ищет выход и вступает в борьбу с антагонистом – с тем, кто ему угрожает .**

Нетрудно догадаться, что драматическая ситуация – это начало конфликта. Но о конфликте мы будем говорить в дальнейшем. Пока заметим, что для развития драматической ситуации важна реальная угроза здесь и сейчас.

Угроза, заставляющая действовать в драматической ситуации, называется – альтернативный фактор. Он выражается в формуле: “Что будет, если герой не справится с опасностью?”

Рост альтернативного фактора заставляет нас напрягать свое внимание к судьбе героя.

Персонаж фильма “Падай вниз” (режиссер Джейл Шумахер, герой – Майкл Дуглас) с самого начала находится в драматической ситуации.

Он заперт в машине в многочасовой автомобильной пробке, но ему надо идти на день рождения дочери. И он бросает машину на дороге. Это первая драматическая ситуация.

Около дороги маленький магазинчик. Дугласу надо 50 центов для телефонного разговора, но хозяин не меняет денег. Дуглас должен что-то купить. Это его бесит, он ссорится с хозяином и в итоге разрушает магазин. Дальше – больше, от одной ситуации к другой ярость героя растет, а социальная опасность, которую он несет, многократно увеличивается. Проходит двадцать минут, а он уже стал причиной смерти трех бандитов и владеет целым арсеналом оружия, вплоть до ракеты, которую быстро пускает в дело. Ни на одну минуту, более того, ни на один миг – сценарист, режиссер и актер не выпускают из рук драматических ситуаций, в которых действует герой. А цель у него самая простая: он хочет посетить свою дочь в день рождения. Но с женой они в разводе, с работы его уволили и, похоже, весь мир ополчился на него... и в итоге он убивает. Это драматический рассказ, а не повествование.

Ромео влюбился, но должен идти на бал. Он на территории своих врагов. Ему грозит опасность. Все было бы не так страшно, если бы Ромео не увидел в центре зала ослепительной красоты девушку; он приблизился к ней, оказался в зоне повышенной опасности и влюбился. Это было как удар молнии. Теперь он в центре опасности. Эта опасность возрастает после того, как Ромео узнает, что Джульетта – дочь злейшего врага семьи Монтеки. Она из рода Капулетти. Но никакая угроза не может остановить Ромео. Ночью он, презрев опасность, пробирается в сад Джульетты. Он узнает, что любим ею, но свиданию влюбленных угрожает вражда семей. В саду и на балконе много опасней, чем на балу.

Утром он счастлив, он хочет мира с братом Джульетты. Но Тибальд убивает друга Ромео – Меркуцио. И Ромео в ответ убивает Тибальда. Теперь он самый страшный враг семьи Капулетти. И так всю пьесу персонажи движутся из одной драматической ситуации прямо в следующую, еще более опасную.

В каждой ситуации они:

1. В безвыходном положении.
2. Должны искать выход.
3. Вступают в борьбу с антагонистами.

Шекспир все время повышает уровень опасности, альтернативный фактор растет, хотя эта опасность не всегда присутствует в явной форме. Она действует, как предложение режиссеру: сделай сцену так, чтобы зрители затаили дыхание.

На балу носителем опасности является Тибальд, брат Джульетты. В саду опасность растворилась в атмосфере. Она может проявиться в поведении Ромео или в режиссерских предложениях. В любом случае автор как бы говорит режиссеру: ты получил набор правильных продуктов, вари свои щи и, пожалуйста, будь талантлив.

Если же драматическая ситуация выражена слабо или отсутствует в действиях режиссера, может проявиться опасный произвол, разрушающий общий замысел фильма. Тут все начинают играть свою игру. До добра это часто не доводит. Зритель теряет ощущение, что его куда-то ведут.

Драматическая ситуация – это сердцевина любого драматического рассказа и любого внутреннего мира каждого персонажа драмы. Без драматической ситуации актерам нечего делать. Ваш такт и мастерство состоит в том, чтобы определить меру, с которой драматическая ситуация выявляется в рассказе. Но отсутствие драматической ситуации безошибочно определяет вашу профессиональную беспомощность.



Все истории, которые увлекают нас на экране, развиваются от одной драматической ситуации к другой. Как только герой выпутывается из одной драматической ситуации, он попадает в следующую, еще более напряженную. И так все полтора часа.

В Америке это самоочевидно, но в России мой юный и талантливый приятель пишет экзистенциальную драму. Его герои сложны, насквозь ироничны. Драму мы только угадываем в бесконечном обмене остротами, которые на первый взгляд действительно смешны, но на самом деле страшны своим безнадежным отчаянием. Герой говорит девушке: “Пошли трахнемся”, – и это означает, что он бесконечно одинок. Он как ребенок нуждается в ласке и заботе, но закрыт маской супермена. Девушка говорит: “Каким способом?” И это означает, что она в глубине души жаждет любви и поэзии, но грубая жизнь надела на нее уродливую маску шлюхи. Автору кажется что этой иронии достаточно, чтобы понять персонажей.

Я говорю: “Давай придумаем историю их отношений”.

Он отвечает: “Я не хочу истории. Я не делаю кино для тети Мани. Я хочу выразить свое личное отчаяние, и только”.

Значит, контакт со зрителем его не волнует. Нормальное дело. Есть много серьезных художников, которые думают только о самовыражении. Персонаж под мас-

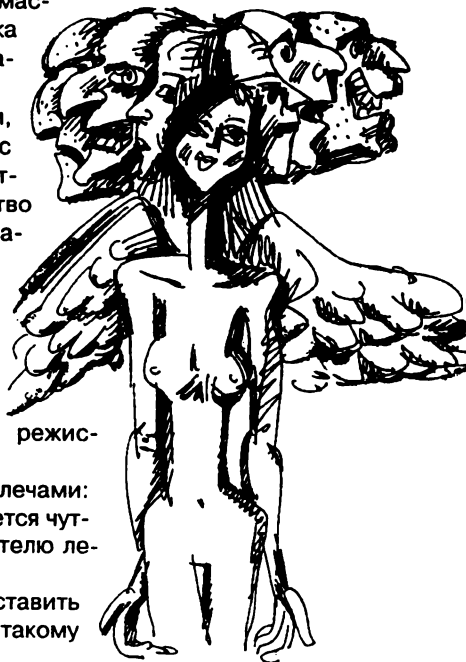
кой кажется сложнее, и мир художника выглядит оригинальней. Помогает ли этому самовыражению драматическая ситуация?

Несомненно. Она помогает догадаться о том, что прячет персонаж под маской, не срывая ее с персонажа. Драма – это в любом случае искусство явного и неявного срывания масок. Искусство возникает в тот момент, когда в персонаже, закрытом защитной маской, мы угадываем трепетную плоть живого тела. Когда сквозь кожу мы чувствуем сердце, а в глазах видим отражение души, выглянувшее из-под маски.

Вы можете делать это только для себя самого. Но если вы добились, что маски что-то прячут, вы, может быть, найдете соратника – режиссера и актеров, которые разовьют ваши идеи.

Один театральный режиссер как-то пожал плечами: “Почему это талантливому актеру всегда попадается чуткий зритель?” Лучший путь к этому чуткому зрителю лежит через драматическую ситуацию.

Почему? Да потому, что только она может заставить персонажей немедленно действовать вопреки такому



понятному всем нам их желанию, отложить поступки на будущее. Драматическая ситуация, и только она, безошибочно срывает маски.

Я говорю молодому несгибаемому творцу: "Твоя ситуация выглядит примерно так. Персонажи стоят в дерьме. Это дерьмо поднялось выше рта, поэтому они только мычат, а длинные речи говорить не могут. Это и есть для них экзистенциальная драматическая ситуация. Развитие драмы начнется в тот момент, когда из крана польется новое дерьмо, уровень дерьма повышется, оно грозит залить им нос и глаза. Этот кран и есть в твоём случае альтернативный фактор. А тот, кто его отвинчивает, – антагонист. Герои должны с ним бороться или вступать в сговор, или опасаться. В любом случае они должны что-то решить.

В учебниках драматургии говорят: "Героем драмы может быть только человек, одержимый пылким желанием утвердить свои идеалы, добиться своей цели, преодолеть любые трудности". Твои герои и произнести этих слов не смогут без хохота. В любом случае мы должны прочертить судьбу героев до конца. Когда альтернативный фактор растёт, персонажи вынуждены действовать. Вступят ли они в борьбу с антагонистом или будут тонуть в дерьме, или полезут вверх, топя друг друга или спасая друг друга, – любое действие сорвет с них маску. И мне совершенно не важны слова, которые они говорят. Ты должен заставить персонажей действовать. Это важно для развития твоего авторского замысла, а не для развлечения миллионов тетей Мань. Причем заметить, ты не в плохой компании.

Принц Гамлет вернулся домой в Данию. Отец умер. Мать сразу вышла замуж за дядю, мерзавца и уродца, и, похоже, счастлива в его волосатых лапах. А Призрак отца говорит Гамлету, что дядя убил его во время сна. И мать, похоже, догадывается об этом. Если это не дерьмо по шее, то что же это? И дерьмо поднимается все выше. Друзья предают, любимая девушка сходит с ума! Король планирует убийство Гамлета, он уже отдал все распоряжения, ждёт трупа. А Гамлет все ищет доказательства. Он думает: "Быть или не быть?" Но дерьмо все прибывает. А Гамлет уже убедился – король виновен. И король готовит новое убийство – Гамлета. Надо действовать...

Богатая помещица, красавица, с нежной, ранимой душой, открытой для любви, вернулась в свое поместье. Оно будет продано за долги. Дадут за него гроши, она станет нищей. А другого источника существования у помещицы нет. Ей говорят: "Вырубите ваш вишневый сад, разделите на маленькие кусочки и сдайте в аренду дачникам".

Но этот вишневый сад описан в Энциклопедии. В нем сотни лет жили предки, много поколений. Для помещицы вырубить сад все равно что отрезать руку или сдать в аренду дом предков – верхний этаж под бордель, а нижний – под притон наркоманов. Она не может спасти себя таким путем, хотя в дерьме по горло. И она тонет в этом дерьме. Это ее выбор, ее судьба.

Таковыми ужасными словами я описываю одну из самых поэтичных драм мировой литературы – "Вишневый сад". В основе всех великих драм лежат грубые, ужасные драматические ситуации, где смерть грозит героям и требует, чтобы они сорвали все маски, выступили против или погибли. Драматическая ситуация для автора драмы является самой полной возможностью вскрыть сущность своих героев. Открыть эту суть в войне, которую персонажи ведут с жизнью. Шекспир, Чехов, Ибсен, Лев Толстой, Достоевский, Гоголь – совсем неплохая компания.

На самом деле эта компания гораздо больше. И в ней, между прочим, такие приятные люди, как древнегреческий философ Аристотель, который первым заявил, что герой



ЭТО ДРАМАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.
НО ДЛЯ ИСТОРИИ
НУЖЕН АНТАГОНИСТ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФАКТОР.

должен бороться с необходимостью – иначе, при пассивном ее приятии, не будет никакой свободы. И победа свободы наступит совсем не обязательно как итог победы героя. Герой может погибнуть, но как борец, а не как щенок в дерьме. Если он гибелью искупает свою вину перед судьбой – в этом также есть победа свободы.

Как вы понимаете, у драматической ситуации за 4000 лет существования драмы накопилось достаточно аргументов для того, чтобы вы поняли, что развитие драматической ситуации – лучший путь утверждения авторской мысли. Тетя Маня тут ни при чем. Вы можете напрямую общаться с Шекспиром и Аристотелем.



АНТАГОНИСТ

Драматическая ситуация

Но кроме этого приятного общения драматургу надо общаться со зрителями.

Между драматургом и зрителями стоят режиссер с актерами. Что для них означает драматическая ситуация?

Все! Абсолютно все.

Они всегда стремятся к тому, чтобы выразить драму своего персонажа в действиях здесь и сейчас. А драматическая ситуация способствует именно этому. И она невероятно продуктивно активизирует воображение, помогает найти необычные, яркие краски для развития авторской идеи. Тут мобилизуются все резервы характера, предложенного автором. Когда автор предлагает режиссеру драматическую ситуацию, он направляет его фантазию в нужном ему направлении и делает это так, что преимущества драматической ситуации понимаются всеми довольно быстро. Но как ее использовать? Этот практический вопрос хорошо бы рассмотреть.

КАК НАЧИНАТЬ ИСТОРИЮ

Любая история начинается с драматической ситуации.

Как быстро она должна вывиться? Правила говорят – сразу. На первой странице сце-

нария вы задаете атмосферу действия вашего фильма. На второй обычно герой сам излагает проблему, которую будет разбирать фильм. К концу третьей страницы изложение проблемы должно быть завершено. Проблему может изложить и автор – конфликтом разных персонажей. Но что же такое проблема фильма? Это и есть драматическая ситуация, в которую попал персонаж. Как он будет ее решать – этим займется сюжет. Важно отметить одно ограничение. Драматическая ситуация заявляет проблему, возникшую только между людьми. Это очень важное ограничение. Проблемы, которые возникают между героем и силами природы, социальными явлениями или философскими концепциями, в историях работают плохо. Все должно быть доведено до конкретного столкновения живых людей.

Для Ромео проблема – не социальная конфронтация двух кланов, а любовь к Джульетте. Как стать ее мужем?

Для Раневской проблема – не уход дворянства с социальной сцены России, а конкретные заботы жизни. Как спастись от нищеты? Как устроить нормальную жизнь детей? Как помириться с негодяем-любовником?

КТО-ТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО



ПРОБЛЕМА. ОНА ЖЕ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

Для Гамлета проблема – как наказать убийцу отца?

Простые, жизненно ясные вопросы заявляются в драме сразу. Есть правило: **Персонаж драмы появляется со своей проблемой.**

Почему так?

В прозе это выглядит совершенно по-другому. Довольно часто мы неторопливо знакомимся с персонажами, получаем представление об их характерах, биографиях, особенностях, и постепенно из многоголосья жизни начинает прозвучивать тема конфликта. Она как будто сама собой выявляется и постепенно заполняет все поле повести, рассказа. А может и оставаться где-то внутри, угадываться, оставаться загадочно неопределенной...

Но в хорошей драме начало всегда четкое и резкое. Персонажи должны действовать, а действие не допускает неопределенности. Вы встаете и делаете шаг в направлении врага или назад. Вы должны это сделать. Вы не можете отложить ваших действий. Рассказ возникает, потому что "кто-то хочет сделать что-то". Нам интересно, "почему он этого не может".

Ромео увидел Джульетту и вмиг влюбился. Теперь для него важно только одно: приблизиться к ней. Почему он этого не может?

Раневская получила от Лопухина прекрасный совет: как остаться богатой. Почему она не может воспользоваться этим простым советом?

Персонажи должны действовать, потому что им грозит альтернативный фактор. И не могут действовать, потому что им грозит другой альтернативный фактор. Что же это такое – **альтернативный фактор**? Мы знаем, что в драме борются герои и антагонисты. Альтернативный фактор в драматической ситуации для многих что-то новое.

Иногда это опасность, которая таится внутри персонажа. Но он угрожает тем, что вырвется наружу и разрушит всю жизнь. Однако истоки альтернативного фактора всегда находятся в окружающей жизни. Главная угроза альтернативного фактора действует извне. Четко обозначенный и рано сформулированный альтернативный фактор – мощный рычаг, который приводит драматическую ситуацию в движение.

И наоборот, если альтернативный фактор не ясен, не выявлен, персонаж действует как будто не по собственной воле, а как марионетка в руках у автора. Вам надо, чтобы он выстрелил – он стреляет, а мог бы и не стрелять, ничто не заставляет его действовать здесь и сейчас. Альтернативный фактор один из ключевых моментов мотивации поведения любого персонажа драмы.

В каждой драматической ситуации должен присутствовать альтернативный фактор. Он угрожает герою. И эта угроза требует обороны. Он задает вопрос: "Что ты делаешь в ответ на мою угрозу?" На этот вопрос герой должен как-то

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФАКТОР

отвечать – и это развивает драматическую ситуацию. Пока вы не обна-



ружите и не заставите работать альтернативный фактор, драматическая ситуация лишена движения. Альтернативный фактор должен дать ясный ответ на вопрос – что будет с героем, если он не справится с драматической ситуацией? Какая ужасная альтернатива ожидает его в этом случае? Эта альтернатива должна быть конкретной, реальной, действовать здесь и сейчас.

Альтернативный фактор – это мотор, раскручивающий драматическую ситуацию.

Он заставляет героя действовать немедленно. Но это тот мотор, который заводит и направляет все опасности героя. Альтернативный фактор – это оружие противника, оружие антагониста. Это страх конкретной угрозы, которая действует здесь и сейчас. Чем туманнее и отдаленнее угроза, тем менее напряжена драматическая ситуация. Никто не станет сходить с ума из-за землетрясения, которое в будущем году разрушит всю Японию. Зуб, который нарывает сейчас, – это настоящий кошмар. Если его не вырвать сегодня, завтра воспалится челюсть. Альтернативный фактор – это принцип, который мы выводим из немедленной угрозы здесь и сейчас.

Альтернативный фактор не может принадлежать какой-то одной определенной категории персонажей и быть невозможным для другой. Он посланец страха, а страх – это универсальная эмоция. За ним стоит реальная угроза. Поэтому даже супермен, который ничего не боится, должен бороться и побеждать альтернативный фактор.

В жизни великое множество страхов и угроз, но все они концентрируются в восьми категориях. Назовем их по нарастающей угрозе:

1. Удар по самоуважению.
2. Профессиональный провал.
3. Потеря безопасности.
4. Физический вред.
5. Угроза смерти.
6. Угроза жизни семьи.
7. Угроза жизни популяции.
8. Угроза человечеству.

Теоретически эти факторы расположены по усилению их роли в развитии драматической ситуации. Но практически каждый фактор может создавать максимальный стресс и максимальное действие.

УДАР ПО САМОУВАЖЕНИЮ

У Чехова есть крошечный рассказ “Смерть чиновника”. Мелкий чиновник Червяков в театре случайно чихнул и обрызгал лысину впереди сидящего генерала. Это был ге-

нерал чужого ведомства. Червякову ничто не грозило. Ничто, кроме потери самоуважения. Он преодолел барьер робости – извинился. Но не получил адекватного прощения. Преодолел барьер повыше – извинился еще раз в антракте. Генерал отмахнулся, но не простил, как того требовало самоуважение Червякова – по-отцовски. Новый барьер, повыше, – Червяков идет в ведомство генерала и снова извиняется. Генерал уже забыл о вчерашнем. Забыл, но не простил. Барьер поднят еще выше. Червяков снова идет к генералу. И тут генерал взорвался скандалом и выгнал Червякова. Бедный чиновник пришел домой и умер. Эта шутка – классический пример развития драматической ситуации под угрозой потери самоуважения.

Существуют весьма почитаемые идеологии, в которых потеря самоуважения оплачивается смертью, и тут не до шуток. Например, кодекс чести японских самураев. Самурай, “потерявший лицо”, должен убить себя, сделав харакири, и мы знаем, что это не пустые слова.

Уровень и формы самоуважения в разных культурах имеют невероятный диапазон. Немецкие девушки, нисколько не теряя самоуважения, парятся в сауне обнаженными рядом с незнакомыми мужчинами. Они сочтут вас идиотом и мужским шовинистом, если вы воспримете это как что-то необычное. Для мусульманской женщины на Востоке – позор и потеря самоуважения – слегка приоткрыть лицо. Если эту женщину насильно обнажить, она сойдет с ума от позора.

Когда женщина подвергается насилию, физический вред может быть незначительным. Наказание преступнику определяется за ущерб самоуважению. За связанную с этим психическую травму. А в первобытном обществе покорность самцу силой была нормой жизни. Потеря самоуважения определяется уровнем и характером цивилизации, в которой мы живем.

Самоуважение – это фактор, постоянно присутствующий в нашей жизни, и оно первым сигнализирует нам о каком-то неблагополучии.

Какие слова чаще всего произносит жена в споре с мужем?

– Ты меня не уважаешь!

Потеря самоуважения действует во всех возрастах. Первое, что возникает в ребенке, когда он встает на ножки, это ощущение личности. Я слышал разговор матери с трехлетним сыном.

– Чего ты орешь? Ты никто. Молчи.

– Нет, я кто! Нет, я кто! – кричал в ответ мальчик.

Мы все хотим быть “кем-то”. Мы хотим отличных. Многим людям, особенно молодым, чувство меняет принадлежность к стае. Нет ничего боного, чем самоуважение этой агрессивной стаи, группы, банды, как ее ни назови. чтобы ее признали на ее территории. сите ее самоуважение – она ощерится ножами и кастетами, если не пистолетами. Однако внутри любой стаи действует иерархия. Самоуважение каждого члена определяется уровнем в этой иерархии. Самоуважение всегда персонально связано с конкретными целями и с конкретной угрозой потери самоуважения.

Нет человека, который был бы полностью лишен самоуважения. Оно есть у каждого, и каждому самоуважению может угрожать падение на более низкий уровень. Иерархия самоуважения относится не только к людям, она – общий закон природы в любой популяции. Эта иерархия действует в любой звериной стае. Вождь стаи бабуинов будет драться до смерти за право огуливать всех самочек стаи. Лишите его этого права, и стресс потери самоуважения убьет его.

Ученые ставили опыт. В одной половине клетки, разделенной стеклянной перегородкой, находился глава стаи, в другой – рядовой бабуин. Рядовому члену давали банан первым, а вождю вторым. К рядовому в клетку пускали самочку, и он радостно производил потомство на глазах бешеного от ярости вождя. Вначале вождь безумствовал, потом впал в депрессию.

Хватило трех дней, чтобы сердце вождя разорвал инфаркт.

Что его убивало? Потеря самоуважения.

В цивилизованном обществе потеря самоуважения ничуть не менее важна. Что скажут про нас наши соседи? Выглядим ли мы не хуже, чем они? Это загоняет людей в стресс и в долги. Заставляет менять марки машин, покупать ненужные вещи, приглашать в гости бессмысленных знакомых. Сколько жизней растрачено попусту в суетном стремлении к немедленному самоуважению.

Но для нас, людей драмы, – все это хороший кусок здоровой пищи. “Потеря самоуважения” загоняет персонажей в драматическую ситуацию. Тут они – наша добыча. Хотите использовать персонаж в драме? Проверьте его на “потерю самоуважения”. Получите то, что вам требуется.

Любой человек очень чутко реагирует на угрозу его самоуважению. Подсознание сразу



чатся от дру- личности за- лее агрессив- личности – Она требует, Уку-

теперь нас будут уважать.

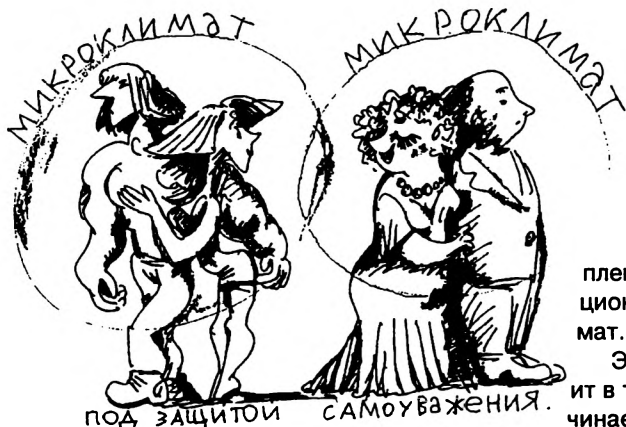


Они меня не уважают!



– ты меня уважаешь?

потеря самоуважения пугает.



включает механизм стресса. Вы порой не можете понять, почему охладели ваши отношения с NN. Попробуйте в памяти или попросите помочь подругу: женщины более чувствительны. Вы обязательно найдете какой-то еле заметный укол, которым вы проткнули самоуважение NN.

Самоуважение – это тончайшая пленка, которой мы защищаем свою эмоциональную территорию, свой микроклимат. А он есть у каждого человека.

Энергия “потери самоуважения” состоит в том, что этот мотор включается и начинает действовать на подсознательном уровне. Страх “потери самоуважения” де-

формирует наше обычное поведение, заставляет людей совершать необычные поступки. Нет страховой компании, которая могла бы застраховать вас от “потери самоуважения” в будущем. Эта угроза всегда в воздухе.

Поэтому в развитии драматической ситуации угроза самоуважения работает как конструктивный фактор. Он заставляет героя занять активную оборону и планировать ответный удар. А это именно то, что нам надо.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Это, в сущности, кодовое название удара, который выбивает вас из привычных ритуалов и заставляет немедленно драться за место в жизни. Вы преуспевали. Всю жизнь вы медленно карабка-

лись в гору – и вдруг лавина депрессии сорвала вас. Кто-то рядом удержался, но не вы. Вы катитесь вниз и понимаете, что никогда не получите нового шанса забраться на гору.

В такой позиции находится персонаж Майкла Дугласа в фильме “Falling down” (“Падай вниз”). Он остался без работы, от него ушла жена. У него нет шансов вернуться в прежнюю жизнь. Он в кольце одиночества. Один против всех.

Ваш бизнес был скромным, но успешным. И вдруг вы теряете все: работу, семью, деньги, вы банкрот. Вокруг вас возникла пустота. Что бы вы ни предпринимали, на ваших плечах сидит монстр – “профессиональный провал”. Вы работали в дружной команде. Работа была смыслом вашей жизни. И вдруг ваше место сократили. Вмиг вы лишены всех привычек. Вы одиноки. Впереди туман. Сильнейший стресс охватывает вас, бесит и парализует, как вождя бабуинов. Если подобная ситуация будет вам угрожать, вы сделаете все возможное, чтобы избежать ее.

Угроза профессионального провала – невероятный усилитель активности персонажа. Когда персонаж задает себе вопрос: что будет, если я провалюсь с этим делом? – энергия действия сразу возрастает.

Хирург, персонаж Гаррисона Форда в фильме “Fugitive” (“Беглец”), преуспевал, любил красавицу жену и был любим ею. И вдруг в один миг все рухнуло. Жена убита, хирург обвинен в убийстве и приговорен к смерти. Случай помог ему бежать из тюрьмы. Он ищет убийцу и не может его найти: у него не было явных врагов. Кто же они? Его коллега-врач потерпел профессиональный провал в создании нового лекарства, а хирург обнаружил ложь в отчетах.

Профессиональный провал гонит людей в конфликт, где надо победить любой ценой: в это дело вложены миллионы. Эти миллионы дергают противников хирурга за ниточки, как марионеток. Трупы падают один за другим. Все противники будут уничто-

жены. И мы будем принимать это вредное лекарство, если Гаррисон Форд не победит. Профессиональный провал, независимо от профессии, позволяет эмоционально пережить опыт каждого персонажа.

Может показаться, что это эффектные преувеличения бестселлера. Но жизнь предлагает нам реальные истории, где борьба идет так кроваво, как ни в одном из бестселлеров, ни в одном из классических шедевров прошлого.

К 1934 году Сталин был объявлен самым великим из всех великих вождей, гением, отцом всех детей, ученых и физкультурников, не говоря уже о рабочих и крестьянах, которых он миллионами отправлял в концлагеря. Чтобы закрепить свое первое место он созвал съезд партийных функционеров, большинство из которых он сам привел к власти. И эти негодяи в тайном голосовании поставили Сталина на 14-е место. На первое вышел пламенный холуй и темпераментный оратор Киров, руководитель коммунистов Ленинграда.

Для Сталина это был "профессиональный провал". И он быстро принял меры. Киров был убит подставным лицом. Вслед за этим потекли реки крови. Все руководящие коммунисты Ленинграда были убиты вслед за Кировым. Массовые расстрелы и репрессии прокатились по всей стране. Сталин в итоге занял в иерархии живых богов один все места с 1-го по 14-е. И больше уже не совершал профессиональных проколов. Когда он умер, страна сотрясалась от рыданий. Все осиротели – в каждой семье умер отец всех детей, рабочих и крестьян. Вот что может сделать в развитии драмы правильно-ученый альтернативный фактор. Профессиональный провал требует немедленных ответных действий и новых решений.



ФИЗИЧЕСКИЙ ВРЕД

Это уже драка. Следующая категория "Угроза смерти" следует за ней вплотную.



УГРОЗА СМЕРТИ

Это когда в персонажа бьют прицельным огнем. Его машина взрывается, дом горит, а он только чудом и выдумкой сценариста избегает уничтожения, чтобы довести историю до счастливого финала.



УГРОЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ

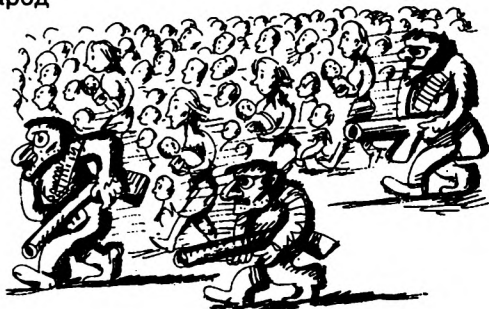
Есть что-то, что для многих важнее жизни. Жизнь тех, кого ты любишь: дети, жена, иногда родители или люди, которые практически часть вашей семьи.

УГРОЗА ПОПУЛЯЦИИ

и перспективу будущего. Вообще человек счастлив, когда его жизнь и усилия являются частью чего-то значительно большего, чем он сам. В нормальной ситуации человек этого не осознает, как здоровый человек не чувствует сигналов тела. Сигнал – это признак неблагополучия. На этом строится вся пропаганда политических вождей национализма. Когда они говорят: “Твой народ под угрозой”, – это означает, что угрозу для твоей безопасности как бы и не надо принимать во внимание. Если народ хочет выжить, твой долг умереть за это. Ты должен погибнуть за будущее. А это уже мистика. Кто знает, что в будущем? Как захотят жить твои дети и внуки?

“Угроза популяции” – самый доходчивый лозунг для любого политика, рвущегося к власти. Это очень сильный альтернативный фактор. Он сплачивает людей, парализует их волю к личной безопасности и превращает в идейных убийц.

Для драмы это крайне продуктивный фактор. Полезно помнить о нем. Хотя, кажется, жизнь сама не дает о нем забыть.



Нормальная жизнь человека счастлива и полноценна, когда он живет не только в своей семье, но и среди своего народа. Это дает жизни корни, уходящие в века прошлого

УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Было время, когда я думал, что этот альтернативный фактор действует в фантастике или стратегической противоракетной обороне, но не в реальной драматической структуре. Но вот молодые демократии убивают своих сограждан с цинизмом и легкостью, которой может позавидовать сталинский режим. Те хоть были тайными мясниками. Эти – режут горло без стыда. Этого требуют интересы “Великих держав”, религий и наций. Эти интересы уже грозят всему человечеству. Похоже, что мы доживем до того трагического поворота, когда атомная бомба будет сброшена и человечество войдет в новую фазу тотального выживания под альтернативным фактором “угроза человечеству”.

Иерархия перечисленных альтернативных факторов показывает, что это всего лишь ступени в усилении трагических альтернатив. Оптимизма в этом не слишком много. Но азбука драмы говорит, что оптимизм драмы выражается не только в счастливом, но и в трагическом конце, при условии, что итог является для героя лучшим выходом в конкретно возможных обстоятельствах.

Все идет к тому, что “угроза человечеству” станет фактором, который угрожает каждому здесь и сейчас. Для наиболее проницательных умов это время уже наступило.

АРХЕТИПЫ В ДРАМАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

Я знал одного четырехлетнего мальчика, он боялся писать в туалете. Старший брат, восьмилетний оболтус, сказал ему, что там, в воде, живет крыса. Когда малыш будет писать,

крыса может высунуться и укусить его за пипку. Жизнь этого малыша была мукой.

Каждый раз, когда ему хотелось в туалет, он умолял старшего брата проверить, нет ли в туалете крысы. Старший всегда был чем-то занят, но за пластинку жвачки, так и быть, соглашался

проверить безопасность туалета. Как-то вечером малыш остался один. Вся семья ушла в гости, а малыша уложили спать. Но разве он мог заснуть? Ему казалось, что крыса бежит по коридору, она почувствовала, что малыш остался один и привела своих сородичей пошарить по кастрюлям. Вдобавок малышу захотелось писать. Конечно, можно было бы пописать в постель, но это означало бы подвергнуться насмешкам старшего брата. И вот малыш, дрожа от страха, отправляется в опасное путешествие. И он совершает свой подвиг! И даже кричит: "Эй ты, крыса, я тебя не боюсь!" А потом опрометью бежит назад, под защиту своего одеяльца. Он так счастлив, что не может заснуть. Родители, вернувшись из гостей, обеспокоены: "Не заболел ли он?" "Я пописал!" – кричит малыш и плачет, уткнувшись в мамины руки.



Драматическая ситуация загнала этого малыша в угол. Он мобилизовал все возможности своего характера и преодолел все барьеры: барьер страха, барьер потери самоуважения, барьер воли, барьер мужества. Он совершил поступок и победил в конфликте.

Как вы думаете, были бы эти барьеры проблемой для Шварценеггера? Нет. А для вас? Тоже нет? А если бы это были реальные крысы? Для малыша-то они реальны. Вы решайте, как хотите, я бы в такой туалет не пошел. У меня мало общего со Шварценеггером и много общего с этим мальчиком.

Для прыщавого подростка непреодолимый барьер – пригласить в кино свою одноклассницу "Мисс 5В". А для Дон Жуана нет проблемы познакомиться, очаровать и провести ночь любви с мисс Севилья или Гренада. Я бы этого не смог. У нас свой круг барьеров, у суперменов – свой.

Американцы накопили огромный статистический материал о том, как разные персонажи преодолевают барьеры драматических ситуаций. Они разделены всего на четыре группы:

1. "Наши знакомые".
2. Underdog (Андердог).
- 3 "Потерянные души".
4. "Идолы".

Чем полезно знание этих категорий? Для каждого персонажа нам хорошо бы знать предельную драматическую ситуацию, барьеры которой он может преодолеть.

Этот предел зависит не только от персональности, но и от категории, в которой находится персонаж. Убийство, например, непреодолимый барьер для "наших знакомых". Оно переводит персонаж в категорию "потерянных душ". Теперь он катится в объятия дьявола, в пропасть ада. "Потерянные души" убивают, становясь преступниками, а "идолы" убивают, убивают и убивают – но ореол святости не тускнеет над их головами.

Для каждой группы четко обозначены границы предельных драматических ситуаций и конфликтов и этическое поле, в котором действует персонаж.

1. "Наши знакомые"

Это мы с вами, наши друзья, наши сослуживцы, наши соседи по улице, городу, стране и по всем пяти континентам. Не так мало. Все наши с вами главные проблемы от рождения до смерти, в основном, одинаковы: мы любим, боимся, работаем, хотим чего-то добиться сами, помогаем детям. И мы очень хорошо понимаем друг друга. Драматические ситуации, барьеры и конфликты "наших знакомых" могут открыть нам самые тонкие и сложные оттенки характеров. И они лучше всего помогают нам понять

себя, потому что эмоциональный опыт наших знакомых адекватен нашему. С появлением телевидения "наши знакомые" в основном переселились на телеэкран. Тысячи и тысячи серий кормят нас ежедневно этой привычной едой. Вместе с героями мы преодолеваем препятствия каждого дня, и, похоже, это никогда нам не наскучит. Потому что самые лучшие наши знакомые – это мы сами. А кто когда-нибудь скучал от себя?

2. "Underdog"

Это человек, который от рождения или в силу болезни, увечья неполноценен. То, что для нас не является проблемой – простые ритуалы обыденной жизни, – для "underdog" создают непреодолимые барьеры. С точки зрения нормального человека, жизнь "underdog" – непрерывная цепь конфликтов. Значит, он находится в центре наших профессиональных интересов, но удивительно то, что эти фильмы очень интересуют зрителей. Мы легко выходим на эмоциональный контакт с "underdog". Его драмы нам легко понять, они обновляют для нас простые ценности жизни. Есть что-то, что мы получили даром, а "underdog" получает с невероятным трудом такую важную часть жизни. Эти фильмы обычно говорят о том, как люди борются и побеждают безвыходные ситуации. Самые лучшие режиссеры мирового кинематографа добивались успеха фильмами этой категории. И не только потому, что эти темы показывают гуманные моральные проблемы, но и потому, что они предлагают необычный и зрелищный, острый материал. В этих фильмах персонажи с огромными усилиями поднимаются до нашего уровня. Зритель никогда не будет поддерживать неудачника. Но он всегда откликнется на фильм, который говорит: жизнь стоит того, чтобы бороться за нее.

Я напомним некоторые фильмы. "Моя левая нога" – английский режиссер Стивен Фриерс, Сесиль Дей Льюис в главной роли. Это история реального человека, который был с детства почти полностью парализован, только ступня его левой ноги сохраняла подвижность. И этот человек всю жизнь борется за то, чтобы жить полноценной человеческой жизнью.левой ногой он не только пишет, но и рисует картины.

"Рожденный 4 июля" – фильм Оливера Стоуна с Томом Крузом в главной роли инвалида-ветерана вьетнамской войны. Молодой парень с парализованными ногами проходит весь ад последствий ранения и, кажется, никогда не вернется в нормальную жизнь. Но воля к жизни побеждает. Он пишет книгу о своей борьбе и становится политическим деятелем, защищающим права ветеранов в сенате.

"Филадельфия" Джонатана Демме с Томом Ханксом в главной роли. Молодой адвокат, больной СПИДом, борется за свои гражданские права с компанией, которая его незаконно уволила. Обычное дело для здорового человека. Но когда приговоренный к смерти заставляет уважать свои права – это вызывает наше восхищение.

"Запах женщины" – фильм, дважды поставленный с перерывом в тридцать лет. Вначале в Италии, где главную роль играл Витторио Гасман, затем в Америке, по прекрасному сценарию Голдмана с Аль Пачино в главной роли. Я напомним сюжет.

Слепой полковник хочет покончить с собой. Его жизнь лишена смысла. Но оказывается, что он может помочь своему юному поводырю. И когда он защищает его права в товарищеском суде колледжа, оказывается, что моральные ценности, которые не утратил полковник, нужны сегодня молодым. Его победе аплодируют тысячи молодых ребят. Им восхищена женщина, которая может стать его другом. Прекрасный фильм, изложенный с лаконичной ясностью шедевра.

Эти фильмы показывают превращение героев. Вначале герой действует как бы со связанными руками, и фильм рассказывает, как герой получает силы для борьбы. Это волнует каждого, независимо от того, чего добился герой. Фильм говорит: "Жизнь-это не дерьмо! За нее стоит бороться. Подлинная победа в этой борьбе-это не богатство и не успех, а самоуважение и полноценное участие в жизни рядом с другими".

Когда я смотрю эти фильмы, мое сердце наполняется гордостью за то, как убедительно кино может утверждать подлинные моральные ценности человечности.

Фильмы категории "андердог" показывают драматические ситуации, в которых че-

ловеческое братство борется за победу в безнадежной войне под кодовым названием "Такая жизнь". Какая бы она ни была, другой не будет. Надо бороться в этой.

3. "Потерянные души"

Это мы с вами, такие же, как мы, но потерявшие моральные ориентиры, преступившие законы и нормы морали. Они начали, как мы, но выбрали неправильный путь. Это фильмы про тех, кто мог бы жить нормально, но стал преступником, убийцей, слугой дьявола. Это рассказ о потерянной личности. Эти фильмы очень разные: "Бони и Клайд", "Гражданин Кейн". Едва ли не самым ярким фильмом этой категории является "Крестный отец". История превращения честного парня Майкла Карлеоне в безжалостного убийцу и крестного отца нью-йоркской мафии известна каждому. И нет нужды подкреплять этот пример десятком других успешных фильмов. Эти фильмы приносят огромные доходы, их великое множество. Мы их все хорошо знаем. "Убийцы среди нас" – вот их кодовое имя.

В драматической ситуации персонажей этой категории отличает то, что барьер, непреодолимый для "наших знакомых", является открытой дверью для "потерянных душ": Убийство для них только аргумент в споре, способ решить проблему. Но самое трагичное – это то, что в каждом убийстве происходит двойное убийство – герой убивает и себя, свой потенциал человечности. Это делает характеры привлекательными. Наверное, каждый человек, глядя на свою детскую фотографию, говорит: "Это я? Боже, во что меня превратила жизнь!"



4. "Идолы"

Персонажи этой категории не имеют безвыходных положений. Они всегда лучше зрителя знают, как выйти из драматической ситуации. Хорошее испытание для воображения сценариста и режиссера. Это пожиратели безвыходных положений. Они их щелкают, как орехи. Подобно голодному кукушонку, который всегда держит клюв открытым в ожидании свежего червячка.

Фильму категории "наши знакомые" хватило бы десяти секунд из приключений Индианы Джонса или Терминатора. Компания этих суперменов в исполнении Гаррисона Форда, Шварценеггера, Клода Ван Дамма, Сигала и так далее переходит из фильма в фильм, абсолютно не меняясь. Персонажи первых трех категорий воспринимают драматическую ситуацию как рубеж, преодолевая который они меняются. Мы хотим, чтобы они изменились к лучшему, мы переживаем, когда они меняются к худшему. "Наши знакомые" превращаются в "потерянные души", и мы отделяемся от них. "Андердог" становится "нашим знакомым" – и мы соперничаем ему. Эти изменения нормальны. Но "идол" не может измениться. Почему? Потому что мы так хотим. "Идол" выражает наше желание убежать от неразрешимых проблем, он утешает нас как детей: "Посмотри, есть кто-то, кто может победить в любой драматической ситуации". Он может появиться в маске обычного человека – так Индиана Джонс появляется в облике университетского профессора. Но в качестве профессора он исполняет трюки не сложнее, чем заяц, играющий на барабане. Через три минуты он забывает о своем профессорстве и чарует нас как волшебник-супермен.

Батмен и супермен носят до поры маски обычных людей, но их подлинная суть – "идолы", которые могут все.

"Идол" – персонаж для облегченного решения наших проблем. Он любимец индустрии развлечений. И в этом нет ничего, унижающего его достоинство. Мы так нуждаемся в развлечении, и оно такая важная часть сохранения нашего психического здо-

рова. "Идолы" возвращают нам праздники детства. Мы все становимся детьми, когда свет гаснет, а на экране возникает персонаж, который может спасти слабого, наказать негодяя, победить в неравной схватке.

Драма стремится развить крайние состояния всего, что попадает в ее поле. Счастье стремится стать раем, несчастье – адом. Герой стремится к идеалу в облике ангела, злодей – к дьяволу. Жизни угрожает смерть, любви – предательство.

Со всем этим "идол" справляется в максимально сжатые сроки с максимальной эффективностью.

Зигмунд Фрейд ввел в теорию драмы понятие "вознаграждения". Зритель должен получить вознаграждение за то душевное напряжение, с которым он погружается в драму. "Идолы", безусловно, вознаграждают, именно поэтому они так популярны. Их мотивы ясны и бескомпромиссны. Они добиваются своей цели, потому что полностью поглощены ею. Это то, что мы хотели бы сделать, но, к сожалению, не можем: семья, работа, дети, болезни...

Мотивация идолов отличается от мотивации обычных людей. Например, в реальной жизни толь-сто. Обычный человек озабочен

одна забавная подтверждение чальник полиции Чика-ный борец с мафи-шкету много опас-Почти каждый угрожая расчи-цейским. Но на-ции был споко-"Мстить это не-ника. Когда он ему надо думать проблемы для лю-до важней, чем

В выжженной бо-зреют патологичес-зреют и реализуются нов. И нам это нравится, так махать кулаками после драки. суперменами. Фигуру мстителя-турный обиход Александр Дюма была гениальная выдумка. Монте-мен. Он поглощен страстным же-нет преграды, способной оста-

Но в семью "наших знако-Кристо никак не



от мотивации обычных людей. На-ко эпилептики поглощены идеей ме-настоящим и будущим. Есть

этому. В 30-е годы на-го, бескомпромисс-ей, отправил за ре-ных преступников.

покидал свободу таться с поли-чальник поли-ен. Он говорил:

бизнес преступ-выйдет из тюрьмы, о будущем". Эти

бого человека гораз-счет за обиды прошлого.

лезною душе эпилептика кие планы мести. Но так же

они в поступках суперме-как мечта каждого – по-

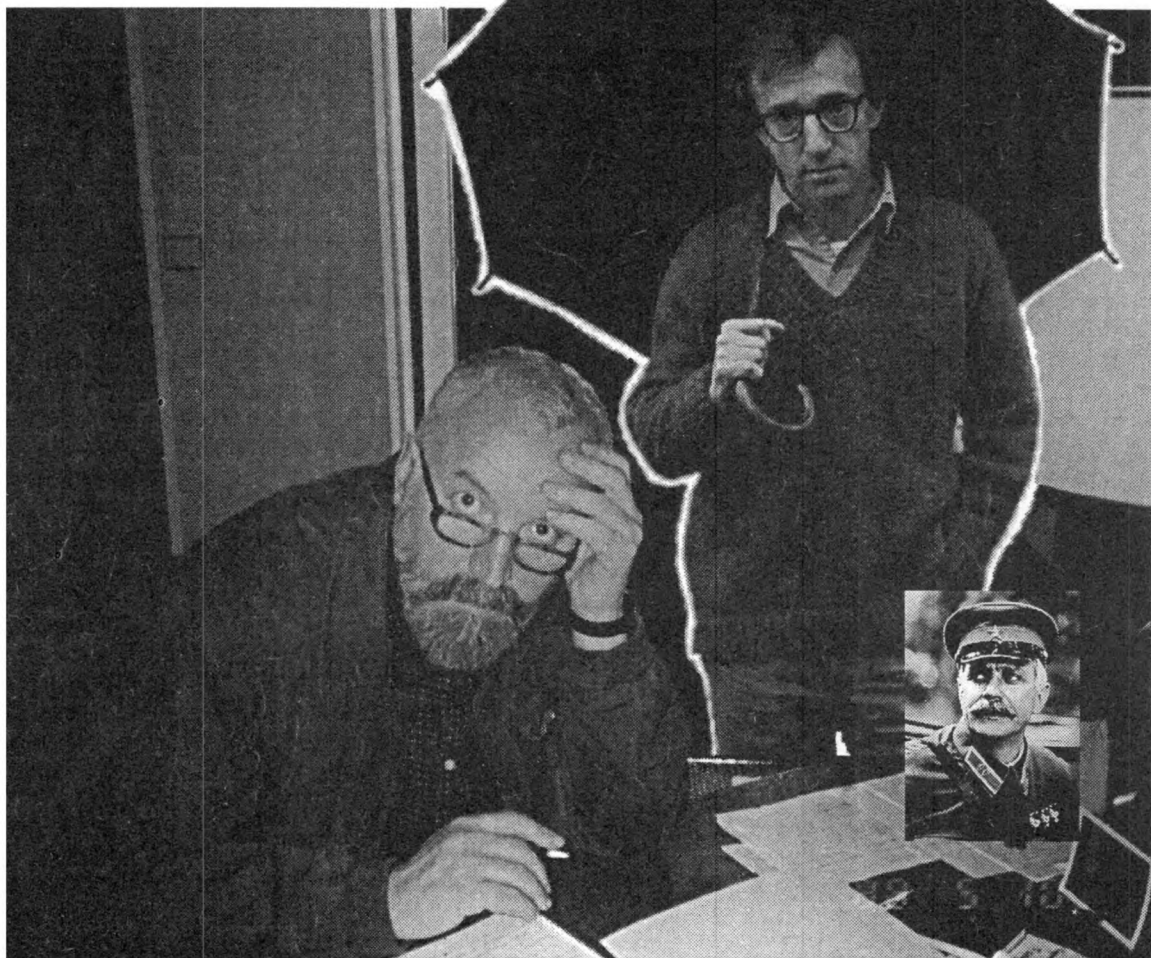
Мы это делаем вместе с супермена ввел в литера-в "Графе Монте-Кристо". Это

Кристо настоящий супер-ланием сделать что-то, и новить его.

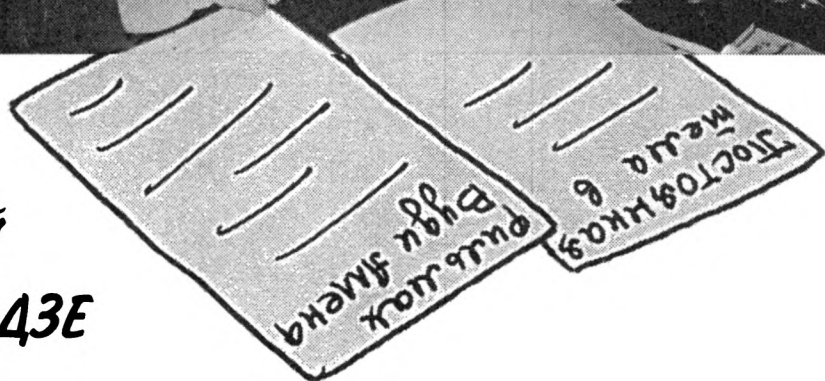
мьх" граф Монте-вписывается.

(Продолжение в следующем номере.)

Подписаться на наш журнал можно
начиная с любого номера.
Индекс по каталогу ЦРПА – 70434.



**ИРАКЛИЙ
КВИРИКАДЗЕ**



**ПОСТОЯННАЯ ТЕМА
В ФИЛЬМАХ ВУДИ АЛЛЕНА**

На Милдред авеню 17, в Венис-бич, Калифорния, мне снился сахарный бюст моего папы. Во сне я понимал, что вижу сон, и был чрезвычайно счастлив и благодарен этому сну...

Когда-то, очень-очень давно, я с папой поехал в город его юности, Хашури, где на сцене Дома культуры в торжественной обстановке ему преподнесли сахарный бюст весом в 16 килограммов. Сахарное изваяние и заслуженный артист Грузинской ССР, певец Кутаисского оперного театра Михаил Андреевич Квирикадзе как две капли воды были похожи.

Мой рассказ посвящен драматическим событиям, разыгравшимся на Милдред авеню в Венис-бич, Калифорния; папа присутствует в этом рассказе только во сне, но, так как двадцатичетырехлетний Арсен Хухунашвили разбудил меня в семь утра словами: "Дядя Херакл, напиши мне о постоянной теме в фильмах Вуди Аллена", и я, проснувшись, потерял одну из самых дорогих реальностей, то я позволю себе просон на страницах этого рассказа.

За три секунды до пробуждения, еще до выноса на сцену сахарного бюста, мне снился пионерский лагерь в Боржоми, где на лето со всей Грузии съехалось триста сексуально озабоченных пионеров обоих полов. В этот лагерь приехала концертная бригада общества "Красного Креста и Красного Полумесяца".

Нас, пионеров, собрали в столовой. Лектор развесил картонные плакаты и полный час читал лекцию о пользе донорства и вреде аборт. Мы затаив дыхание рассматривали рисунки мужских и женских половых органов. Лектор призывал нас смот-



реть другие плакаты, где были изображены здоровые и обкуренные легкие. Он читал стихи о классической лошади, которой дали попробовать грамм чистого никотина. Двести возбужденных до предела мальчиков и девочек в пионерских галстуках требовали вернуть рисунки половых органов, которые собственноручно содрала директрисса Софья Николаевна Бестужева. В столовой потушили свет и три бабочки (о чудо!) с фосфоресцирующими крыльями исполнили менуэт Вивальди. Вновь зажегся свет, мы яростно аплодировали пышнотелым женщинам в лифчиках и трико, с марлевыми крыльями за спиной. И тут (о, ужас!) вышел мой папа и запел оперные арии. С задних рядов столовой в сторону папы полетела дохлая кошка. Произошло это еще за пятнадцать лет до фильма Федерико Феллини "Рим", где в неудобного певца летит дохлая кошка; мой папа, Михаил Андреевич Квирикадзе схватил эту кошку, поправившую ему в левое ухо, и не задумываясь метнул ее в ряды пионеров. Поступок грузного, в черном костюме певца очень понравился моим сотоварищам. Папе зааплодировали, и он, вдохновленный, продолжил петь арию Канио.

Аплодисменты перебросили меня во вторую часть сна, где я, взрослый, везу папу в город моей юности. Вы знаете, что секунда сна может вместить в себя огромную информацию – например, все подробности средневековой войны Алой и Белой Розы или все девяносто лет казахского поэта Джалмбула Джабаева; поэтому вы не удивитесь тому, что за Венисбичевского честь телеграм-



*Бабочки
три
с фосфоресцирующими
крыльями
исполнили менуэт
Вивальди...*

вековой войны Алой и Белой Розы до крика Арсесоседа, я успел промолчать, пришедшую от секретаря Хашурского обкома коммунистической партии, в которой сообщалось, что родной город папы устраивает торжества в честь его шестидесятилетия. Была пора поздней осени патриарха Брежнева, большие и малые города Советского Союза выискивали поэтов, полководцев, артистов, философов, прославивших их перед остальным миром. Избранников награждали орденами и медалями. Это приятно оттеняло брежневскую орденоманию. Папин городок Хашури, точнее его пригород Анара, который разросся вокруг сахарного завода, не имел великих сограждан. Был боксер тяжелого веса, родившийся в Анаре, но его нокаутировали в финале первенства СССР на глазах миллионов телезрителей. До нокаута теледиктор объявил, что боксер родом из маленького сахарного поселка, но то, что случилось потом, в начале третьего раунда, покрыло позором всех его сограждан. А поселку нужен был свой Герой. Свой Юбиляр. Судьба указала пальцем на моего папу.

Я не знаю, как проходит чествование Нобелевских лауреатов. То, что творилось в Доме культуры, те речи, которые произносились со сцены, – все это ошеломило меня. Если бы я не знал, что все это о моем папе, метавшемдохлых кошек на выездных филармонийских концертах, я решил бы, что поселок дал миру, по меньшей мере, Лучиано Паваротти. Духовой оркестр грянул Вагнера, и на сцену вынесли тот самый бюст.

Утром после банкета мы уезжали из Анары. Пассажиры с нескрываемым любопытством смотрели на певца и его сахарного двойника.

Через неделю, дома в Тбилиси, мы пили чай, откалывая от бюста папы нос, подбородок... В момент когда мама хрустела правым папиным ухом, меня разбудил этот дурацкий крик: "Дядя Херакл, напиши о постоянной теме в фильмах Вуди Аллена".

Надо мой стоял Арсен Хухунашвили, будь он проклят! При этом он зевал. Арсен имеет жуткую привычку зевать. Он живет за стеной моей "ван бедрум", на Милдред авеню. Его родители – мои тбилисские знакомые. В далекой Грузии они делают неплохие деньги, торгуя марганцем, еще чем-то, за счет чего их сын живет и учится в Калифорнии. Арсен хочет быть кинорежиссером. Для этого родители привезли молодого человека в Голливуд, разыскали на Беверли-Хилз некую кинозвезду, которая имела неосторожность побывать в Тбилиси в числе американской киноделегации и оставить визитную карточку зам. директора гостиницы "Тбилиси". Зам. директора, родственник родителей Арсена, похвастался дружбой с голливудской кинозвездой, в результате чего Арсен стал обитателем роскошного особняка на Беверли-Хилз. Звезда уехала на месяц в Бангкок сниматься. Когда она вернулась, то застала... позвольте я не буду описывать, что застала кинозвезда, я же не пасквиль пишу на моего юного венисского соседа. Он молод, женщины от него сходят с ума, его обожают танцовщицы кордебалетов русских ресторанов в Лос-Анджелесе. И может быть, когда-нибудь он станет голливудским режиссером. Сейчас он учится в ЮСЛИ, сдает купленный родителями в Вествуде дом, сам же поселился в "ван бедрум", на одном со мной балконе. В будние дни к нему приходят две, в воскресные – четыре-пять девушек. Тонкие стены дома сделали меня злостным завистником его титанической мужской силы. В конце августа появилась Ванда – двухметровая рыжеволосая полька. Ванда мечтает стать фотомodelью. С ее появлением иссяк женский поток на Милдред авеню. Одна афроамериканка пыталась было проникнуть в глубь завоеванной Вандой территории, ее кровь я смывал с моей двери, боясь появления полиции. Афроамериканка больше не являлась. Стена, разделяющая спальню Арсена с моей спальней, кажется рухнет в одну из ближайших ночей. "Херакл" – это имя присвоила мне Ванда Ковальская... Я не мог отказать Арсену в его утренней просьбе. Тем более, что Ванда взялась переводить фильмы Вуди Аллена, которые Арсен взял в видеотеке.

Арсен спал на "Ханне и ее сестрах", "Эни Холл", "Зелинге", "Манхэттене". Днем он постоянно спит, может заснуть в самой необычной позе: нагнется за упавшей монетой и засыпает, тянется с верхней полки книгу снять и засыпает. Ванда сказала, что однажды он заснул, плавая в бассейне Лос-Анджелесского университета.

Как я мог не написать такому соседу домашнее задание "Постоянная тема в фильмах Вуди Аллена"!

Я взял стопку белых листов бумаги и стал думать, как бы я, двадцатичетырехлетний студент кинорежиссерского факультета Арсен Хухунашвили, начал статью о Вуди Аллене.

"Вуди Аллен, который имеет работу, деньги, жену или любовницу, живет в Нью-Йорке, хочет найти истину. Не общую, универсальную для всего человечества – такую истину искали коммунисты страны, откуда я приехал, искал Мао Цзэдун, искал Гитлер... Вуди Аллен ищет ее для одного человека. И мне кажется, что маленький человек находит ее в любви. Вуди Аллен ищет любовь в самых неожиданных местах.

В три часа ночи Энни Холл зовет Вуди Аллена, чтобы он убил паука в ванной. Вуди Аллен приезжает на такси. Возлюбленный смело вступает в бой аж с двумя пауками. Под конец Вуди обнимает Энни, которая позвала его ночью, так как ей очень одиноко. Эта сцена – одна из лучших любовных сцен, виденных мною в кино. В сравнении с ней Майкл Дуглас и Шарон Стоун в фильме "Бейсик инстинкт" – две куклы из сырой глины..."

Еще две-три страницы, и я готов был закончить свой киноведческий опус, но услышал громкое стрекотание мотоцикла, подъезжающего к дому. Ванда, которая кричала и стонала за стеной по-польски, замолчала, притихла.

Через минуту я услышал, как в соседнюю дверь постучались. Я увидел фантастической красоты женскую ногу, которая перешагивала из ночи в мою кровать, стоящую у открытого окна (калифорнийские ноябрьские ночи разрешают держать окна открытыми настежь). Я понял, что голая Ванда пробралась от Арсена ко мне по наружному карнизу дома.

“Приехал мой муж Ковальский” – прошептала она. По металлическому балкону шагал кто-то очень грузный.

“Я вот писал про любовь Вуди Аллена” – сказал я. Голая Ванда лежала в моей постели. Глупо было думать о Вуди, даже об Арсене Хухунашвили, который в эту секунду открывал двери незнакомому мне пану Ковальски.

“Потуши свет. Он очень сильный и злой”. Ванда испугалась, что Ковальский сможет пройти по карнизу ее путь, заглянуть в окна и увидеть свою жену в постели соседа. Я потушил настольную лампу и сел на край кровати. В лунном свете мерцали кровавого цвета волосы, медовые глаза, белые шея и груди, как среднего размера дыни.



Я почему-то вспомнил пионервожатую Анну Васильевну Глезер, которая пустила меня далекой алазанской ночью в свою палатку. Как и тогда в грузинском детстве, здесь, на краю калифорнийской кровати, у меня мелко-мелко забиты зубы, во рту появилась оскомина, словно я надкусил неспелую хурму.

Ванда приблизила ко мне свои широкие плечи. “Сейчас он начнет нюхать подушку, а там мой запах. Он всегда находит меня по запаху”. Зубы забиты громкую дробь. “Что с тобой, Херакл, ты боишься?” Анна Васильевна Глезер сорок лет тому назад (40!) задавала пионеру Квирикадзе этот же самый вопрос. У пионера так громко стучали зубы, что, казалось, вся алазанская долина слышит их лягз. Присутствие душистых дынь в непосредственной близости от меня и отсутствие решимости во мне рождали этот странный феномен: ③

“лязг зубов”. “Ковальский играет в симфоническом оркестре на виолончели, но у него страшные кулаки, – горячо зашептала Ванда, – когда он приезжает в Лос-Анджелес, он убивает моих любовников”.

За стеной молчание затянулось. Что там происходит? Как я могу помочь другому студенту? Зайти сказать, что я написал “Постоянную тему в фильмах Вуди Аллена”?

А может, пусть Ковальский убьет Арсена Хухунашвили? Тот не будет больше выклянчивать у меня написать ему домашнее задание: “Равновесие у Леонардо да Винчи”, “Монтаж аттракционов Эйзенштейна”, “Значение пауз в драматургии Гарольда Пинтона”...

Но тогда что я буду делать? Что буду делать со своей творческой опустошенностью здесь, в замечательных Соединенных Штатах Америки, где вот уже три года я ничего не пишу. Ничего стоящего. Арсен мне нужен больше, чем я нужен Арсену. В университете ЮСЛИ его считают талантливейшим студентом, благодаря восьмиминутному фильму, который мы с ним сняли в Нью-Йорке. Фильм про русскую таксистку Ангелину Круль. В марте прошлого года ночью я сел в ее такси, разговорился с женщиной тридцати трех лет, курящей, что было странно, кубинскую сигару.

– Так, значит, делали в СССР фильмы?

– Да.

– И как ваша фамилия?

– И. К.

– А какие фильмы?

– “Кувшин”.

– Не видела.

– “Городок Анара”.

– Не знаю. Надо же. Что вы за такие фильмы снимали, что их никто не видел?

Я не знал, что ответить. Мне очень хотелось поднять в ее глазах свою кинематографическую ценность.

Она сама мне в этом помогла:

– А вы знакомы с Никитой Михалковым?

Я сказал, что знаком.

– Он мой бог! Я молюсь на него. Дайте мне его адрес, я купила ему подарок, еще я сочинила поэму, на английском. Не могу писать по-русски, меня привезли в Нью-Йорк в девять лет... Заедем на минутку ко мне!

В два часа ночи, на окраине Манхэттена, я оказался в странной комнате. Гигантские, на всю стену фотографии человека, с которым я писал сценарий “Жизнь и смерть Грибоедова”. Точнее, не фотографии, а фотообои. Трехметровый Михалков в плавках, Михалков с теннисной ракеткой. Ковер ручной работы, где Михалков изображен на лошади с копьем! С потолка свисали пластмассовые шары, в которые если заглянуть одним глазом, то увидишь голографическое изображение голого Никиты Михалкова. “Фотомонтаж,” – подумал я. Ангелина Круль стала читать поэму по-английски – “Ай лав ю, мой дорогой Никита” повторялось рефреном. “Ни одна женщина в мире не достойна твоей любви. Я похищу тебя и увезу в Кордильеры, в хрустальный замок любви, который я построила высоко в горах. Я усыплю тебя и буду дышать твоим легким дыханием”...

За окном светлело, где-то далеко гудели пароходы, сырой предрассветный туман опустился на аттракционы “Луна-парка”, сверкающего огнями перед домом Ангелины Круль. Я спросил, можно ли ее и ее квартиру снять на кинолентку, она чрезвычайно обрадовалась...

Но что делает Ковальский? Почему он не нюхает подушку? Может, этой подушкой он душит Арсена? Я встал, приложил к стене кофейную чашечку и, как опытный работник НКВД, стал слушать звуки соседней квартиры. В чашечке слышалась тишина. Я посмотрел на Ванду. Польша подняла свое двухметровое голое тело, подошла ко мне, показала жестом “дай послушать”. Я уступил ей чашечку, отступил на шаг. Ванда была такая большая, что я почувствовал себя маленьким Вуди Алленом. Но Вуди в таких пикантных ситуациях не раздумывая бросается в атаку – у меня же вновь “залязгали зубы”. Это начало надоедать мне и, наверное, вам, дорогой читатель. Поэтому усилием воли я

остановил лязг. “Заснул... Он заснул”, – прошептала Ванда. Она оторвала ухо от кофейной чашечки. “Увидел Ковальского, испугался и заснул”. Ванда села на стул. “Майоль; – подумал я, вспомнив выставку скульптуры в Париже в Гран-Пале. Там у входа сидела на стуле точь-в-точь такая бронзовая Ванда. Моя узкая “ван бедрум”, увы, не Гран-Пале. Я ходил от стены к стене, натываясь на Вандины бронзовые колени, и думал: “Боже, дай мне силы ворваться к Арсену Хухунашвили”. И я ворвался, точнее, я осторожно открыл незапертую дверь. Описание того, что я увидел, требует специального цензурного разрешения. Александр Половец, редактор “Панорамы” будет прав, если выстрижет ножницами последующий текст, сопровождая свои действия словами: “Ираклий, в сегодняшней свистопляске порнографии наша газета – единственное пристанище нравственно и морально чистых людей”. Но если он этого не сделает, то вы, читатель, будете поражены немой сцене, которую я застал в квартире 27 по Милдред авеню, 17. Виолончелист Лех Ковальский

выглядел абсолютной копией борца-кетчмена. В первую секунду я даже усомнился словам Ванды, что он виолончелист. Мне показалось, что этого поляка я видел сегодня в передаче по ТВ. Он даже не снял черного трико и черной бендены, в которых дрался на ринге. Ковальский держал в своих ручищах подушку и как-то очень неловко восседал на растерзанной простыне. Глаза его были направлены на курчавоволосого грузинского еврея в короткой до пупка майке с надписью “Республика Банана”. Дальше шел живот, чуть округлый. Ниже (здесь требуется нецензурное разрешение)... как гипсовое весло у советских садовых скульптур пятидесятых годов, как самурайский меч, не вынутый из ножен, как Пизанская башня (выберите любое определение из “весло-сабля-башня” и приставьте к арсеновскому округлому животу).

Обладатель этого феномена действительно спал, и это было самое удивительное: спал стоя, подняв руки, от чего-то защищаясь... Сонная болезнь, видимо, настигла его, когда он пытался оградить лицо от гнева кулаков Ковальского. Он превратился в соляной библейский столб.

Ковальский растерянно спросил меня, что делать. Я попытался будить Арсена – обычно он реагировал на грузинскую речь, но сейчас сон был очень глубоким.

*Смешный
Арсен Хухунашвили...*



“Здесь где-то должна быть моя жена,” – сказал Ковальский. Я ответил, что не видел в доме студента женщин с месяц, как начались экзамены в ЮСЛИ. Ковальский кисло усмехнулся.

Я вернулся в свой “ван бедрум”, достал из ванного шкафчика флакон с нашатырным спиртом. Однажды я им будил Арсена. Ванда, голая, сидела на стуле и почему-то читала “Постоянную тему в фильмах Вуди Аллена”. Я вышел, заперев дверь ключом. На балконе остановился, посмотрел на черное калифорнийское небо, американскую луну, звезды и рассмеялся. С юности я был под гипнозом слова “Америка”. Доллары, Рок-феллер, джаз, Элла Фитцджеральд, Хэмингуэй, статуя Свободы, Ниагарский водопад, Лас-Вегас, Мэрилин Монро, Голливуд. Казалось, что все это будет иметь ко мне отношение, стоит только бежать от Мавзолея, площади Дзержинского, ВДНХ, домоуправления, путевки в санаторий “XVII съезд партии”, беременного милиционера Серафимы, которая угрожала написать письмо в “Мосфильм”, если я не женюсь... Я отвернулся и бежал. И что? Вот стою ночью с флаконом нашатырного спирта. Голливуд так же далек от меня, как вон та мерцающая звезда.

Черт! Эта ночь кончилась в госпитале. Бригада американских врачей ничего не могла поделать со спящим Хухунашвили. Диагноз: летаргический сон и еще какой-то сугубо научный термин по поводу феномена.

Неделю спустя я позвонил в Тбилиси родителям Арсена, сообщить, что их сын впал в летаргический сон и есть опасение, что это на долгий срок. Как мне быть, если госпиталь не очень хочет оставлять у себя беспризорного больного, каждый день стоит четырехста восемьдесят долларов, и, естественно, у Арсена нет никакой страховки.

Тбилиси долго не подключался к разговору. Наконец я услышал голос тети Арсена. Незнакомая мне заикающаяся женщина сообщила, что в городе на всех наводят страх бандиты брата Бу то ли Ба... фамилию она так и не смогла выговорить, что они подложили бомбу под “наш мерседес”, повторяла заика. Но, слава богу, папы Арсена в нем не было, когда “наш мерседес” взлетел на воздух.

Я смотрел на минутную стрелку настенных часов и вспоминал, сколько стоит минута разговора с бывшим Советским Союзом. В “Панораме” часто читаешь объявления конкурирующих телефонных компаний. Только на двенадцатой минуте беседы я узнал, что папа Арсена скрывается. Тетка вне всякой логики стала читать оду любви к Шеварднадзе. “Он Христос, он Христос, – повторяла она, – его окружают бандиты похлеще братьев Бу. Они творят хаос и в мутной воде ловят рыбку”.

Заика застряла на слове “в мутной”, и я помог ей закончить фразу, договорив за нее “ловят рыбку”. “Где его мама?” – спросил я. Заика сказала, что марганцевая фирма обанкротилась, папа скрывается вместе с мамой. “Где?” – задал я нелепый вопрос человека, загнанного в мышеловку. Тетя печально засмеялась. “Арсен лежит в больнице,” – сообщил я на двадцать седьмой минуте беседы. “Что с ним?” – “Спит”. На той стороне услышали: “СПИД”. У заики выпала из рук телефонная трубка... Я держал свою еще минуты три и на расстоянии тринадцати тысяч километров слышал приглушенные голоса домашних: “Поднимите ее, там в аптечке лежит валерианка, пуговицы растегни... смотрите, в лифчике деньги...” Я вслушивался в звуки далекого тбилисского телевизора. Луна в окне располагала к вою. Я вдруг возненавидел Вуди Аллена. Откуда он



дый госпи-

так хорошо знает о человеческом отчаянии? И так трагически смешно показывает на экране жизнь идиотов вроде меня. Откуда?

Я привез спящего Арсена домой на Милдред авеню, 17. В госпитале с меня взяли подписку, то я сам буду ухаживать за Арсеном (медсестра стоит в день 58 долларов), что я буду давать лекарства, делать спящему специальную гимнастику, кормить, водить в туалет, мыть, подстригать ногти и т. д. Я уложил Арсена в чистую постель. Он дышал ровным, здоровым дыханием, благоухал госпитальным одеколоном. Всех беспокоящая часть его тела была прижата к ноге при помощи специального корсета (стоимостью 240 долларов). Мнения госпитальных врачей по поводу заточения в корсет его естества разделились. Так или иначе, я заплатил 240 долларов. Спросить, удобно ли ему, я не мог.

Тут очень кстати симфонический оркестр города Лос-Анджелеса уехал на очередные гастроли на Гавайи. Ванда не поехала с мужем-виолончелистом. Она приходила каждый день, кто-то сказал ей, что во время летаргического сна заснувший все слышит, сознание его бодрствует. Я старался не заходить в комнату Арсена, когда там была Ванда. В эти осенние дни и ночи я сидел в своей постели и писал сценарий по заказу киллера. Да, именно киллера – человека, совершающего заказные убийства. Но вы не думайте, что я экранизировал все его подвиги. С киллером произошла такая история. Он приехал из Челябинска с племянницей. Поселился на Венис-бич у океана недалеко от Милдред авеню. Он и я по утрам подтягивались на одном пляжном турнике. Познакомились. Съели по сэндвичу и выпили по бокалу пива в баре “Ухо Ван-Гога”. Узнав, что я графоман, киллер принес странное письмо от голливудской студии “Парамаунт”. “Дорогой мистер Драгомищенко! Мы с удовольствием ознакомились с вашей заявкой на сценарий “Карабо-газ”. Считаем перспективным продолжение работы над ней. Верим в ваш талант. Желательно, чтобы вы учли наши замечания...” Подписывал письмо некий Штайнер, вице-президент “Парамаунта”. К письму было приложено семь страниц замечаний, по которым можно было понять, что история “Карабо-газ” происходит в Средней Азии, в пустыне. Среди басмачей оказался американский боксер, который влюбился в заложницу басмача...

“Интересно!” – вежливо прореагировал я, не совсем понимая, почему должен читать семь страниц поправок.

“Слушай, писака!” – начал киллер. – Когда я приехал сюда, то поселился на Санта-Монике. В квартире до меня жил какой-то Драгомищенко. Он в марте утонул в океане прямо перед домом. Письма к нему продолжают приходиться на мой адрес. Племянница их читает... Как ты думаешь, сколько “Парамаунт” платит за сценарий?”

Киллер оказался пронырой. Он вынес из кабинетов студии заявку Драгомищенко, узнал, что Драгомищенко никто в “Парамаунте” в глаза не видел, но заявка прошла все инстанции. “Парамаунт” и теперь, как дымящий паровоз, готов тронуться в путь. Нужен только сценарий.

Проныра-киллер представил меня на студии мистером Драгомищенко, сам представился российским киноагентом и специалистом по Карабо-газ, намекая, что идея сценария его, что российскую сторону финансирования он может взять на себя.

Киллер получил под “Карабо-газ” деньги и велел мне за три месяца написать сценарий, учитывая все студийные поправки. По телефону звал меня Ефимом. Это было имя Драгомищенко.

Арсен продолжал спать. Ему было хорошо. Его не будил в семь утра стальной голос киллера, от него не требовали ежедневную норму в пять страниц нового текста. Никто его не заставлял переписывать диалоги, если они вызывали зевоту у заказчика. Арсен был абсолютным “лаки-мэном”. Я долго прятал от киллера Арсена. Узнав о нем, киллер узнал бы и о Ванде, а я, что скрывать, стал делать робкие попытки завладеть вниманием прекрасной польки. Деньги киллера я тратил на ланчи с Вандой. Мы посещали рыбные рестораны Санта-Моники, китайские в Чайна-тауне, но больше всего она любила французский “Мустаж”. Ела она чрезвычайно алчно. Я заметил, что ее появление в ресторанах вызывало дикую панику у сонно дремлющих в аквариумах живых океанских крабов, лангустов и лобстеров. Я боялся случайной встречи с киллером на ланчах

с Вандой, так как сценарий у меня не клеился: я смутно представлял, что должно происходить с американским боксером Оливером Дэвидсоном в пустынной географии Карбо-газ. О басмачах я знал по фильмам моего друга Али Хамраева, и то чисто декоративно – что они носят чалму, небриты, мчатся на лошадях, стреляют в небо из маузеров. Иногда закапывают врагов живыми в песок.

Но я писал, писал, писал.

Ванда, насытившись дарами флоры и фауны Тихого океана, шла со мной до дверей Арсена и ускользала от меня, как краб в расщелину подводной скалы. Что она делала в обществе спящего грузинского юноши, не знаю. В октябре на экраны Лос-Анджелеса вышел новый фильм Вуди Аллена “Пули над Бродвеем”. Я был поражен сходностью ситуации фильма и моей сегодняшней жизни. Я даже воспользовался старым приемом: не выходя из кинотеатра, вторично посмотрел фильм. У Аллена бандит Чичо сочиняет вместе с драматургом-неудачником театральную пьесу. Точь-в-точь как мой друг киллер, имени которого я по понятным причинам не называю. Кстати, “мой киллер” оказался, при близком рассмотрении, человеком с хорошим юмором. Вне работы, на океане, у турника он сыпал анекдотами. “Зять-пьяница на похоронах у тещи опустил голову в ее гроб, надолго застыл в скорбной позе. Наконец его оттащили от гроба. Друзья спрашивают: “Ты так любишь тещу?” “Да нет, после вчерашней выпивки голова раскалывается, я к холодному прижал лоб... Легче стало”. Юмор киллера.

Он все же узнал о спящем Арсене. Удивился, что без внимания американского медицинского мира лежит человек и спит. “Летаргический сон – это всегда сенсация. Пограничная зона между жизнью и смертью. Почему его бросили?” Он энергично взялся за сенсацию. Но его остудили, сообщив, что в Лос-Анджелесе сегодня спит и не просыпается сорок шесть мужчин и женщин.

Мы сидели на веранде кафе в Марина-дел Рей – я, киллер и Ванда. Было видно, как тщательно одевался киллер для встречи с рыжей богиней. Атлетически сложенный, загорелый, он шутил, постоянно показывал белые зубы и вдруг меж бровей его появилась небольшая кровавая метка. Я помню его фразу до этой метки. “Что говорит одна стенка другой стенке?” Киллер сделал паузу, посмотрел на Ванду. Видно было, что он только что прочел повесть Селенджера “Над яропастью во ржи”, которую я ему дал. “Встретимся на углу...” – сказал он, и тут появилась эта бесшумная кровавая дыра. Киллера убили седьмого октября девяносто четвертого года. Бред какой-то! Я посетил его квартиру. В ней витала энергия. Ефим Драгомищенко, теперь вот Бахыт Рахимов. Так и быть, проговорюсь. Тем более, что о нем уже начали писать и история убийства описана в газете “Лос-Анджелес тайм”. Как вы не писали с седьмого сценарий “Карбо-газ”, так и я с уходом в мир иной моего заказчика перестал его писать. На звонки “Парамаунта” отвечаю, что мистер Драгомищенко сжег рукопись на манер Николая Васильевича Гоголя. В “Парамаунте” не знают, кто такой Гоголь, но это абсолютно не важно для моей истории. Важно, что исчез Драгомищенко... и исчезли деньги на развитие проекта “Карбо-газ”.

Потом в три часа ночи позвонил отец Арсена. Он сказал, что все еще скрывается от этих негодяев, “ну ты знаешь, кого я имею в виду, они отобрали у меня три лимона, я без копейки денег, я бы продал дом в Вествуде, но эти негодяи заставили переписать на них все мои бумаги”. Я не понял, то есть, я понял, что произошло что-то ужасное с отцом Арсена и он уже не является хозяином роскошного вествудского особняка. “Прощу тебя, привези мальчика в Тбилиси. Тут безобразно плохо, но лучше пусть он будет в Тбилиси. Здесь он проснется... Ираклий, я расплачусь с тобой, только привези Арсена... Прости, долго не могу говорить...”

Поехать в Тбилиси я решил утром другого дня. Это стало необходимым после автомобильного гудка на перекрестке Сансет-бульвара и Ла-Брея. Сигналила большая красная машина, в которой сидела, как вы думаете кто, нью-йоркская таксистка Ангелина Круль. Она счастливая, с распростертыми объятиями, выскочила мне навстречу, затолкнула в машину. “Как замечательно, что я вас встретила, как замечательно. Я в Лос-Анджелесе на день, покажу вам мое чудо”. Сперва я подумал, что приехал мой давний

друг и соавтор по Грибоедову, с которым в последний раз я виделся в Канне в мае, где он получил специальный приз жюри за фильм “Утомленные солнцем”. Ангелина Круль уверяла, что я сейчас увижу такое, от чего сойду с ума... Она повторяла: “Сойдешь с ума”.

И вот мы заезжаем в пыльный двор большого склада. Похоже, что он имеет отношение к реквизиту киностудии. Фанерные пальмы, калифорнийские колонны, огромный кит из пенопласта.

Ангелина ныряет в чей-то кабинет. Потом мы идем с усатым, похожим на хозяина ресторана “Мустаж” человеком по темному коридору, человек открывает дверь, мы входим и... От неожиданности я отпрянул... Никита Михалков из воска – гиперреалистический шедевр в натуральную величину улыбается мне.

Человек, похожий на хозяина “Мустажа”, пылливо всматривается в меня. Узнаю ли я великого русского режиссера. Только в Лондоне, у мадам Тюссо, я видел фигуры такого качества исполнения. Усатый человек готовил для Спилберга динозавров. Таксистка плакала, глядя на свою великую любовь из воска.

Я решил бежать. Я не сообщил Ванде Ковальской, к которой приехал виолончелист, что увожу ее возлюбленного Арсена (боже, и он похож на восковую куклу) из Лос-Анджелеса. Это было жестоко с моей стороны, но я поступил именно так. Госпиталь помог в транспортировке спящего. В воздухе я думал о том, как перевозила Ангелина свое “чудо”.

Не буду рассказывать о моей “грузинской неделе”. Как это ни странно, но Арсен проснулся в Тбилиси. Случилось это буднично.

Утром тетя-заика готовила на кухне “хашламу” – классическое блюдо: вареное коровье мясо с чесночным соусом. Запах хашламы вплыл в ноздри спящего. Он открыл глаза и сказал: “Хашлама”. Я оставил американский ножной корсет на память студенту ЮСЛИ, который решил отдохнуть в кругу своей печальной семьи, по поводу находящихся в бегах отца и матери и двух арсеновских братьев. На пятый день я уехал. У меня нет слов, чтобы объяснить, почему я так быстро ретировался (ужасное слово) из любимейшей моей, печальнейшей моей родины. Я вновь летел над миром. Через плечо самолетной соседки я прочел в раскрытой книге такие строчки: “Не хотите ли к нам присоединиться?” – спросил знакомый, повстречав меня после полуночи в почти опустевшем кафе. “Нет, не хочу,” – ответил я.

Я читал это когда-то. Через пару минут соседка приподняла обложку книги. Франц Кафка.

Хочется поставить точку в моем рассказе. Но кончать его именем великого писателя, по меньшей мере, претенциозно.

И я в небе между родной Грузией – не родной Америкой – очень жирно-символично. Честно говоря, я соскучился по Милдред авеню, по океану, по моим пешим прогулкам в одиночестве, по пустынным пляжам.


Ночью проснулся от хлесткого удара. Била Ванда. Потом были ее слезы. Было откровение, может быть, самое поразительное в этом рассказе. Ванда – мужчина. Всю жизнь мечтала стать женщиной и стала ею. Уже четыре года. А я отнял у нее (него) единственную любовь.

Утром я долго разглядывал вспухшую щеку и нос, потом поднял мокрый листок, брошенный около унитаза в ванной. Это домашнее задание Арсена “Постоянная тема в фильмах Вуди Аллена”, почерк мой: “... Вуди Аллен ищет любовь в самых неожиданных местах. Любовь к большому миру, к большим женщинам (все его любовницы выше его), к большим чувствам, к большим писателям (например, к Чехову), к большим режиссерам – Чаплину, Феллини, Бергману, любовь ко всем, кто по утрам едет в метро, кто пьет кофе в кофейных, кто спит вечером перед телевизором, кто уходит под утро от любовницы, кто платит налоги, кто скрывает налоги, кто бегаёт трусцой, кто передвигается на костылях, кто обжирается, кто голодает, кто читает Шекспира, Фрейда, Кафку, кто читает по слогам, кто расписывает жизнь по минутам, кто не имеет часов, кто пишет доносы, кто пишет стихи, кто черный, кто белый, кто желтый.

И еще Вуди Аллен немножко смеется над всеми, а когда он не смеется, он сидит в углу ночного музыкального бара в клетчатой рубашке, больших очках и играет на флейте”.

В семь утра раздался звонок. Арсен сообщал, что приезжает в Лос-Анджелес 4 декабря.

Как всегда он отнял у меня сон. Мне снился стол, абажур, папин сахарный бюст, мои родители пьют чай. За окном идет снег, во дворе я, только начавший бриться оболтус, в черном пальто до пят, катаюсь на коньках по замерзшей луже. Мама грызет папино сахарное ухо. От абажура льется мягкий свет. Этот сон я часто вижу в Лос-Анджелесе. Кристаллики сахара сверкают на маминих губах. Я, тот что на коньках, спотыкаюсь, падаю и ухожу под лед. Мама говорит папе: “Мальчик споткнулся”. Здесь я хотел поставить вторую точку... Но племянница киллера (не буду писать о ее возрасте и внешности, это авторская тайна) имела безрассудную смелость отнести в “Парамаунт” мой незавершен-

этом не ^{о б}  знал. Сегодня племяннице пришло письмо от студии. Вице-президенту Штайнеру понравилось эпическое творение мистера Драгомищенко, и он ждет его на деловой разговор...

И вот, наконец-то, финал, очень похожий на голливудский хэппи-энд. Мы с племянницей стоим в воротах “великой студии “Парамаунт”.

Вперед, мистер Драгомищенко!

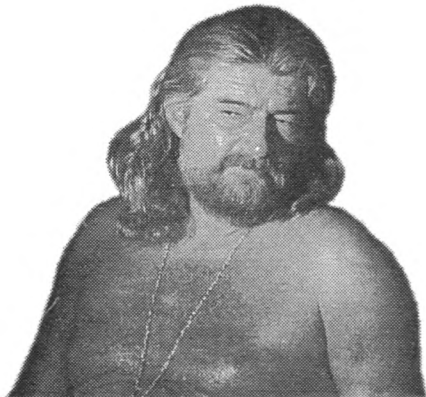
Вперед, без страха и печали...

Январь
1995г.

*Мне снился стол,
абажур, папин
сахарный бюст...*



Рисунки Юлии Зубревой



Гарена Краснова

САМЫЙ БОГАТЫЙ СЦЕНАРИСТ ГОЛЛИВУДА

Прежде чем начать статью о самом богатом и удачливом сценаристе Голливуда, нужно пересказать сюжеты его фильмов, хотя многие из них достаточно хорошо известны нашим зрителям.

"Танец-вспышка" (1983, реж. Эдриан Лайн). Сварщица Александра Оуэн (Дженифер Билс) мечтает стать балериной. Отработав смену на заводе, она мчится на велосипеде в ночной клуб, чтобы под острые синкопированные ритмы раскрыть зрителям свой уникальный талант. А когда нет выступлений, то истязает себя возле балетного станка, надеясь когда-нибудь стать профессиональной балериной. В этом ее поддерживает наставница, в прошлом танцовщица "Зигфрид фоллиес", и возлюбленный Ники. Талант и целеустремленность девушки получают достойную оценку. Александру принимают в труппу Питтсбургского театра.

"Зазубренное лезвие" (1985, реж. Ричард Макгуард). Адвокат Тедди Баранс (Гленн Клоуз) защищает на процессе красавца-миллионера, обвиненного в садистском убийстве жены. Она тратит все свое красноречие, находит нужных свидетелей и доказывает, что ее клиент не виновен. Однако на другой день после оглашения вердикта получает непровержимые доказательства того, что ее клиент является убийцей-садистом, и ее он тоже приговорил к смерти. Точно рассчитанным выстрелом Тедди отправляет маньяка на тот свет.

"Большие шишки" (1987, Роберт Мэндел). После скоропостижной смерти отца 11-летний подросток Оби из богатого пригорода Чикаго не может прийти в себя. Целыми днями он колесит на велосипеде по городу, пока не становится жертвой черной банды, решившей завладеть его велосипедом и часами. За определенное вознаграждение Скам, один из участников банды, возвращает Оби часы, подаренные тому отцом незадолго до смерти. Между мальчиками устанавливаются доверительные отношения. И когда Скам признается, что хотел бы найти своего отца, исчезнувшего где-то в южных штатах, Оби вызывается ему помочь. Мальчишки угоняют "мерседес" и начинают длинное, исполненное опасности и приключений путешествие на юг.

"Пламенные сердца" (1987, Ричард Макгуард). 18-летняя Молли Макгуайер встречается в питтсбургском баре своего кумира, знаменитого в прошлом рок-музыканта Билли Паркера (Боб Дилан). Он отошел от дел, живет на ферме, время от времени наезжая в город. Билли приглашает Молли на концерт и знакомит со своим другом – суперзвездой Джеймсом Кольтом. Вскоре Джеймс и Молли становятся любовниками и начинают выступать вместе. Во время концерта кто-то стреляет в Кольта, но он чудом остается в живых. Молодые люди едут на ферму к Билли, и тот убеждает их продолжить концертную деятельность. Втроем они едут в Нью-Йорк.

"Преданные" (1988, реж. Коста-Гаврас). Молодой агент ФБР Кэт Филипс (Дебра Уингер) занимается расследованием убийства радиокомментатора, придерживавшего левых взглядов. Расследование при-





"Музыкальный ящик"

водит ее в сельскохозяйственный район среднего Запада к недавно овдовевшему фермеру Гэри Симмонсу (Том Беренджер). Кэт не в силах противиться обаянию Гэри и влюбляется в него. К ее ужасу, Гэри оказывается главой правозащитной организации, которая на своих сходках оттачивает методы борьбы с черным населением. Кэт испытывает настоящее потрясение, когда осознает, чем занимается Гэри, понимая, что ей грозит неминуемая гибель, если он узнает о ее истинной роли.

"Музыкальный ящик" (1989, реж. Коста-Гаврас). Организация по розыску нацистских преступников опознает в эмигранте из Венгрии Майкле Ласло охранника концентрационного лагеря. Этот Мишка был членом организованной СС специальной команды венгерских полицейских, созданной для уничтожения евреев и цыган, и отличался изверской жестокостью по отношению к заключенным. После войны он обосновался в Америке, пустил корни.

Его дочь Энн (Джессика Лэнг) сделала великолепную карьеру, став преуспевающим адвокатом. Энн бросается на защиту отца. Но чем больше она вникает в дело, тем больше неопровержимых свидетельств его виновности получает. И в конце концов для Энн уже нет сомнений в том, что ее добрый, нежный отец в прошлом был настоящим зверем. И для нее, боготворящей отца, это оказывается страшным ударом.

"Основной инстинкт" (1992, реж. Пол Ферхофен). Некогда знаменитый рок-певец был заколот в своей постели. Полицейская бригада, в которую входит и Ник Каррен (Майкл Дуглас), начинает расследование. Следы приводят в дом красавицы миллионерши Кэтрин Трамел (Шарон Стоун), занимающейся на досуге писанием сенсационных романов. Она отрицает свое участие в преступлении, но ведет себя так, что сразу же возникает подозрение в ее виновности. Между полицейским и миллионершей вспыхивает страстная любовь, однако дух недоверия не исчезает, особенно после того, как происходит серия жестоких убийств. Как выясняется, их совершила подруга Кэтрин Трамел по колледжу Лиз Гарднер, чтобы бросить тень на ее репутацию.

"Щепка" (1993, реж. Филипп Нойс). После развода редактор издательства Карли Норрис (Шарон Стоун) решает переменить обстановку и переезжает в супермодный небоскреб "Щепка". Она не знает, что предыдущая хозяйка квартиры погибла при загадочных обстоятельствах; упав с балкона. Одно за другим в небоскребе происходит несколько убийств. Писатель Джек убеждает Карли, что их совершает ее любовник Зек, владеец небоскреба. Однако убийцей оказывается сам Джек.

Как следует из самого беглого пересказа фильмов по сценариям Джо Эстерхаза, круг его творческих интересов необычайно широк. Его интересует национал-социализм и расизм, американская система правосудия и книгоиздательская индустрия, искусство и шоу-бизнес, детская дружба и гомосексуальные отношения, любовь возвышенная и плотская. Однако во всех картинах Эстерхаза есть нечто общее. Толчком к развитию действия в его сценариях всегда служит событие чрезвычайное – смерть или преступление, хотя Эстерхаз почти не интересуется самим преступлением. Психологическая мутация личности – вот что увлекает сценариста. И хотя все его сценарии – за редкими исключениями – изобилуют жестокими и изощренными убийствами, меньше всего их можно причислить к детективному жанру.

Сын венгерского писателя, Эстерхаз приехал в Америку вместе со своими родителями вскоре после окончания Второй мировой войны. Его юношеские годы были омрачены тяжелой психической болезнью матери. "Моя мать заболела, когда мне исполнилось 13 лет. Бывали дни, когда она безвылазно сидела у себя в комнате. Двери и окна были по ее распоряжению заделаны цементом, потому что она боялась излучения, исходящего от телевизора. Однажды, когда мы были на отдыхе в Пенсильвании, она вдруг стала такой злой, что я в страхе убежал из дому. Когда меня нашли чужие люди, я находился в состоянии эмоционального шока. Тогда я создал вокруг себя что-то вроде стены, чтобы защититься от матери. В моей жизни наступил ад. До этого у нас были хорошие, теплые, доверительные отношения. А после той дикой вспышки ярости она могла не разговаривать со мной месяцами" (Entertainment Weekly, № 235, 1994, P. 31).



"Основной инстинкт"

Мать умерла, когда Джо Эстерхазу исполнилось 23 года.

Болезнь, отчуждение и, наконец, смерть матери наложили тяжелейший отпечаток на его личность. "Я всегда ощущал себя аутсайдером", – признается он. Почти в каждом его фильме можно найти героев с искаженной психикой. А вот следы венгерского происхождения присутствуют только в одном сценарии – фильме "Музыкальный ящик".

Несмотря на все трудности, Эстерхазу удалось неплохо адаптироваться в американском обществе. "Удача не покидала меня. Мне очень нравилось работать в журнале "Ролинг Стоунз". В 1974 году я написал книгу "Апокалипсис Чарли Симпсона", которая была выдвинута на национальную премию в области журналистики. И тут мне позвонили из кинофирмы "Юнайтед Артистс" и предложили сделать экранизацию. Я согласился не раздумывая. Ведь я с ходу мог придумать сотни историй" (Entertainment Weekly, № 235, 1994, P. 28).

Однако дебютом в кино было суждено стать не экранизации "Чарли Симпсона", а фильму "Кулак" (1975), даже отдаленно не напоминающему последующие работы Эстерхаза. Посвященный жизни руководителя профсоюзов во-

дителей грузовиков Джимми Хоффа, этот фильм раскрывал драму человека, задумавшего перехитрить мафию, но уничтоженного ею. Вот что вспоминал об этой работе сам сценарист: "Когда начиналась конкретная работа над сценарием, меня охватывала паника, хотя режиссер Норман Джуисон сразу взял меня под свое крыло и научил всему, что знал сам. Сценарий писался полтора года, и каждое утро я перечеркивал написанное ранее, пытаюсь найти новый поворот сюжета" (Entertainment Weekly, № 235, 1994).

Хотя проблематика "Кулака" далека от последующих работ сценариста, в умении выстроить захватывающее действие уже чувствуется хватка будущего автора кинематографических бестселлеров.

Прошло еще пять лет, прежде чем Голливуд вновь заинтересовался Эстерхазом. Он был приглашен превратить в сценарий опубликованную в газете историю простой работницы, ставшей балериной. Фильм "Танец-вспышка", поставленный модным режиссером Эдрианом Лайном, имел громкий успех, став не столько художественным, сколько социальным феноменом 80-х годов. Журналисты писали, что в залах для аэробики упражняли свои тела тысячи девушек, облаченных в такие же тренировочные костюмы и свитера, в которых щеголяла на экране Александра Оуэн. Такого американское кино не помнило со времен "Бонни и Клайда", сделавшего благородных бандитов, а главное – их наряды, объектом подражания миллионов зрителей во всем мире.

Однако профессиональным сценаристом Эстерхаз ощутил себя лишь в 1985 году, когда был реализован его сценарий "Зазубренное лезвие" о женщине-адвокате, влюбившейся в преступника и едва не лишившейся из-за этого жизни.

В этом фильме проявилась одна из самых ярких черт эстетики Эстерхаза – его пристальный интерес к женской психологии. "Мне нравится ставить женщин в необычные ситуации, – признается сценарист. – Могу открыть секрет для создания удачного женского характера. Нужно относиться к ним как к обычному человеческому существу, не делая различий между мужчинами и женщинами.

Нужно уважать их желания, мечты, потрясения. Если бы мне не удалось это, тогда бы не удалось заинтересовать моими образами таких актрис, как Лэнг, Клоуз, Уингер. Ведь эти кинозвезды очень чувствительны к тому, как они выглядят на экране.

Особенно поразила меня Джессика Лэнг, всегда подходящая к характерам из глубин собственной личности. Она буквально на глазах превращалась в ту женщину, которую я описал в сценарии. Клоуз – это звезда типа Джоан Кроуфорд, мощная, крупная, даже давящая. Когда я спросил,



"Преданные"



что она думает о героине, которая изо всех сил защищает клиента-маньяка, она ответила: "Да она настоящая ослица". Ну, а Стоун... Я счастлив, что не без моего участия она стала суперзвездой. Она очень темпераментная, пламенная женщина как в жизни, так и на экране.

Но сейчас мне бы хотелось написать сценарий для 50-летней актрисы, например, для Джейн Фонда. Действие должно происходить в 50-е годы. Главная героиня – жена президента, очень сексуальная и привлекательная. Хотелось бы запатентовать этим сценарием Джейн" (Entertainment Weekly, № 235, 1994, P. 29).

Заметной фигурой в американском кино Эстерхаз стал уже в начале 80-х годов. За свою колоритную внешность, необыкновенную творческую плодовитость, громадный аппетит к жизни, бесконечные любовные романы он заслужил кличку "Хэмингуэй", которая не могла не польстить его самолюбию.

Обычно зрители идут в кино, ориентируясь на знаменитых кинозвезд, реже – на режиссеров, а вот имена сценаристов для них мало что значат. Но Эстерхаз заставил запомнить свое имя и зрителей. В начале 80-х годов он, как большинство американских кинематографистов, состоял в "артистическом агентстве Майкла Овица", который единолично решал, какие гонорары должны получать его клиенты, как должны проходить презентации, а главное – присваивал себе непомерно большие проценты. Первым восстал против этого Эстерхаз, опубликовав в прессе "Открытое письмо Овицу" с обвинениями в его адрес. Хотя многие адепты Овица предрекали самонадеянному мадьяру гибель, чутье не подвело его. Их разрыв произошел в октябре 1989 года, а в июне 1990 года, действуя самостоятельно, он продал сценарий "Основного инстинкта" за рекордную для американских сценаристов сумму – 3 млн. долларов. Впервые за всю историю американского кино гонорар сценариста сравнялся с гонорарами кинозвезд, а сам фильм принес студии 117 млн. долларов чистого дохода. С тех пор планка личных гонораров Эстерхаза не опускалась ниже 2,5 млн. долларов. За свой последний сценарий, живописующий преступления массового убийцы ("Прелюдия"), Эстерхаз получил 3,5 млн. долларов, а также 2,5 % дохода от проката картины.

Впервые имя сценариста оказалось среди пятидесяти наиболее богатых людей Голливуда. Косвенным свидетельством его звездного статуса может служить и такая, казалось бы, незначительная деталь, что его развод со второй женой и женитьба на новой освещались всеми ведущими журналами. Подобной чести удостоиваются лишь главные звезды Америки.

Джо Эстерхаз сумел проявить себя не только плодовитым автором, но и предприимчивым дельцом. Хотя его детство было трудным, он – человек без комплексов. Ему нравятся все его фильмы, правда, не в равной степени. "Я люблю "Основной инстинкт", – признается сценарист. – Ферхофен – лучший режиссер в мире. Все его фильмы исполнены могучей визуальной силой. Мне нравится "Музыкальный ящик". Хотя когда я писал образ Мишки, то видел перед собой совсем другого исполнителя. Удалось "Зазубренное лезвие" и "Преданные". А вот "Танец-вспышка" получился, пожалуй, несколько усеченным. И только "Щепка" вызывает у меня чувство неудовлетворенности. Когда я взялся за фильм, моя личная жизнь находилась в хаосе, и я был вынужден покинуть съемки. Финал, когда Карли произносит фразу: "Ты должен жить собственной жизнью", – придумали без меня, и я нахожу его ужасным" (Entertainment Weekly, № 235, 1994, p. 29).

"Я могу придумать с ходу множество историй, – утверждает Эстерхаз. – Я ничего не боюсь, но многие в этом городе боятся. Сегодня мы смотрим множество дерьмовых фильмов. Ситуация изменилась бы, если бы сценаристы могли настоять на своем, как, впрочем, и режиссеры".



Дэвид Робинсон

ХРОНИКА КИНЕМАТОГРАФА



1928

"Страсти Жанны Д'Арк"

СОБЫТИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

27 августа. Подписание пятнадцатью странами в Париже Пакта Келлога–Бриана (Парижского договора о воспреещении войны в качестве орудия национальной политики).

30 сентября. Открытие пенициллина Александром Флемингом.

– Первая Пятилетка в СССР и начало коллективизации сельского хозяйства.

– Создание счетчика Гейгера Х. Гейгером и В. Мюллером.

– Морис Равель "Болеро", Курт Вайль, Бертольд Брехт "Трехгрошовая опера".

– Ивлин Во "Закат и падение", Олдос Хаксли "Контрапункт", Михаил Шолохов "Тихий Дон", Вирджиния Вульф "Орландо".

Родился Че Гевара (14 июня).

Скончался Томас Харди (14 января, 87).

КИНО

15 мая. Первое появление на экране Микки-Мауса в фильме У. Диснея "Безумный аэроплан".

5 августа. Статья С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова "Будущее звуковой фильмы. Заявка", где говорилось о "контрапунктическом" сочетании звука с изображением.

ФИЛЬМЫ

Франция

"Андалузский пес" (Луис Бунюэль)

"Раковина и священник" (Жермен Дюлак)

"Новые господа" (Жак Фейдер)

"Страсти Жанны Д'Арк" (Карл Теодор Дрейер)

Германия

"Ящик Пандоры" (Георг Вильгельм Пабст)

"Шпионы" (Фриц Ланг)

"Асфальт" (Джо Май)

Япония

"Перекресток" (Тейноскэ Кинугаса)

США

"Цирк" (Чарльз Чаплин)

"Доки Нью-Йорка" (Джозеф фон Штернберг)

"Толпа" (Кинг Видор)

"Ветер" (Виктор Шестрем)

СССР

"Арсенал" (А. Довженко)
"Человек с киноаппаратом" (Д. Вертов)
"Октябрь" (С. Эйзенштейн)
"Буря над Азией" (В. Пудовкин)

Родились:

Жанна Моро (23 января),
Роже Вадим (26 января),
Жак Риветт (1 марта),
Аньес Варда (20 мая),
Тони Ричардсон (5 июня),
Джеймс Айвори (7 июня),
Стенли Кубрик (26 июля),
Лина Вертмюллер (14 августа).
Скончался Мориц Стиллер (8 ноября, 45).



"Человек с киноаппаратом"

1929

3 октября. Переименование Королевства сербов, хорватов и словенцев в Королевство Югославию.

28 ноября. Вторжение японских войск в Манчжурию.

– Альфред Деблин "Берлин – Александерплац", Э. М. Ремарк "На Западном фронте без перемен", Эрнест Хемингуэй "Прощай, оружие".

Родился Мартин Лютер Кинг (15 января).

Скончался Сергей Дягилев (19 августа, 57).

16 мая. Первое присуждение призов Американской киноакадемии ("Оскар") в "Рузвельт-отеле" в Голливуде.

Чехословакия

"Эротикон" (Густав Махаты)

Франция

"Ножан, воскресное Эльдorado" (Марсель Карне)

"Finis terrae" (Жан Эпштейн)

Швеция

"Сильнейший" (Альф Шеберг)

Великобритания

"Шантаж" (Альфред Хичкок)

"Рыбачьи суда" (Джон Грирсон)

США

"Аплодисменты" (Рубен Мамулян)

"Аллилуйя!" (Кинг Видор)

"Река" (Фрэнк Борзедж)

СССР

"Обломок империи" (Ф. Эрмлер)

"Голубой экспресс" (И. Трауберг)

"Старое и новое" (С. Эйзенштейн)

"Новый Вавилон" (Г. Козинцев, Л. Трауберг)

"Турксиб" (В. Турин)



"Обломок империи"

Родились: Ингрид Тулин (27 января), Элио Петри (29 января), Вера Хитилова (2 февраля), Макс фон Сюдов (10 апреля), Одри Хепберн (4 мая), Витторио Тавиани (20 сентября).

Скончался Пауль Лени (2 сентября, 44).

СОБЫТИЯ
МИРОВОЙ
ИСТОРИИ

КИНО

ФИЛЬМЫ

1930

СОБЫТИЯ
МИРОВОЙ
ИСТОРИИ

КИНО

16 марта. Приказ И. В. Сталина о "ликвидации кулачества" – ок. 10 млн. семей.
16 сентября. Французское правительство принимает решение о строительстве "линии Мажино" на границе с Германией.
 – Ивлин Во "Мерзкая плоть", Дэшил Хэмметт "Мальтийский сокол".
Скончались: Фрицьоф Нансен (13 мая, 68), сэр Артур Конан Дойл (7 июля, 71).

9 февраля. Открытие в Москве киностудии "Мосфильм".
Март. Первый советский фильм с синхронной записью звука "План великих работ" (реж. А. Роом).
8 декабря. Префект полиции Парижа запрещает демонстрацию фильма Луиса Бунюэля "Золотой век" после того, как разъяренная толпа разгромила кинотеатр "Студио 28", где он показывался.
11 декабря. В Берлине нацисты запрещают демонстрацию фильма "На Западном фронте без перемен" (реж. Л. Майлстоун, США).

ФИЛЬМЫ

Франция

"Золотой век" (Луис Бунюэль)
 "Кровь поэта" (Жан Кокто)
 "Под крышами Парижа" (Рене Клер)

Германия

"Голубой ангел" (Джозеф фон Штернберг)

Великобритания

"Коттедж на Дартмуэре" (Энтони Асквит)
 "Убийца!" (Альфред Хичкок)

Италия

"Нерон" (Алессандро Блазетти)

США

"На Западном фронте без перемен"
 (Льюис Майлстоун)
 "Маленький Цезарь" (Мелвин Ле Рой)
 "Марокко" (Джозеф фон Штернберг)

СССР

"Земля" (Александр Довженко)
 "Праздник святого Йоргена" (Яков Протазанов)
 "Привидение, которое не возвращается" (Абрам Роом)
 "Соль Сванетии" (Михаил Калатозов)



"Праздник святого Йоргена"

Родились: Джон Франкенхаймер (19 февраля), Сильвана Мангано (21 апреля), Жан Рошфон (29 апреля), Клинт Иствуд (31 мая), Гарольд Пинтер (10 октября), Питер Холл (22 ноября), Жан-Люк Годар (3 декабря), Максимилиан Шелл (8 декабря), Жан-Луи Трентиньян (11 декабря).
Скончались: Мейбл Норман (24 февраля, 38), Владимир Маяковский (14 апреля, 36).

1931

СОБЫТИЯ
МИРОВОЙ
ИСТОРИИ

14 апреля. Провозглашение Испанской Республики. Отречение от престола короля Альфонсо XIII.
28 мая. Профессор Огюст Пикар (Швейцария) поднимается на воздушном шаре в стратосферу.

– Иозеф Рот "Марш Радецкого", Ноэль Кауард "Кавалькада", Юджин О'Нил "Траур – участь Электры".

Скончались: Анна Павлова (22 января, 49), Томас А. Эдисон (18 октября, 84), Артур Шницлер (21 октября, 69).

13 февраля. Чарльз С. Чаплин отправляется в продолжительное турне по Европе, не переставая думать о том, что ему делать в звуковом кино.

– Александр Корда переезжает в Англию.

– Первый японский звуковой фильм "Жена соседа" (реж. Х. Госе).

Франция

"Сука" (Жан Ренуар)

"Миллион" (Рене Клер)

Германия

"Трехгрошовая опера", "Солидарность" (Георг Вильгельм Пабст)

"М" (Фриц Ланг)

"Девушки в униформе" (Леонтина Саган)

США

"Американская трагедия" (Джозеф фон Штернберг)

"Огни большого города" (Чарльз Чаплин)

"Доктор Джекилл и мистер Хайд"

(Рубен Мамулян)

"Дракула" (Тод Броунинг)

"Франкенштейн" (Джеймс Уэйл)

"Враг общества" (Уильям Уэллман)

"Тарзан, человек-обезьяна" (У. С. Ван Дайк)

СССР

"Одна" (Георгий Козинцев, Леонид Трауберг)

"Путевка в жизнь" (Николай Экк)

"Златые горы" (Сергей Юткевич)



"Дракула"

Родились: Джин Хэкман (30 января), Джеймс Дин (8 февраля), Мишель Де-Виль (13 апреля), Этторе Скола (10 мая), Жак Деми (5 июня), Клод Шаброль (24 июня).

Скончались: Лупу Пик (9 марта, 55), Фридрих Вильгельм Мурнау (11 марта, 42), Лиа Де Путти (27 ноября, 31), Альбер Капеллани (61).

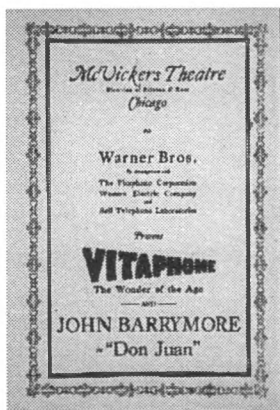
По замыслу Эдисона, движущееся изображение должно было быть естественным приложением к его звукозаписывающему фонографу, и поэтому с самого момента появления кино начались поиски средств синхронизации звука и изображения. Перед первыми экспериментаторами стояло две проблемы: добиться полной синхронности между проектором и звуковоспроизводящим прибором и создать усилители звука, приспособленные для больших кинозалов, а единственным способом добиться этого был в то время рупор. Верное решение будет найдено позже, с изобретением системы записи звука в виде световых импульсов на пленке и электрических процессов записи и усиления звука. В начале 20-х годов, с развитием радио, эти поиски стали более интенсивными.

Однако даже тогда, когда была изобретена технология звукозаписи, кинематограф не спешил начать использовать ее. Это и понятно: переход к звуку

КИНО

ФИЛЬМЫ

ПЕРЕХОД К ЗВУКУ



означал бы полную революцию в кино, а уже существующие методы, оборудование киностудий и кинотеатров оказались бы ненужными. В конце концов студия "Уорнер бразерс" рискнула. 6 августа 1926 года "Уорнер" показала свою первую звуковую программу, записанную по системе "Вайтафон". В нее входили короткометражные музыкальные фильмы и полнометражная лента "Дон-Жуан" с синхронной записью музыкального сопровождения и шумовых эффектов. Сначала звуковая дорожка заменяла собой только дорогостоящий оркестр в кинотеатрах. Первая "говорящая" картина, казалось, появилась совершенно случайно. Это был фильм "Певец джаза", в котором Эл Джонсон произнес несколько фраз. В течение трех следующих лет переход к звуковому кино произошел во всем мире. С приходом звука появились новые жанры, такие как мюзикл, а старые обрели новую жизнь, так как появилась возможность воспроизведения подлинных звуков, характерных для жизни городского дна или прерий Дикого Запада.

Франция подарила кинематографу его первый "авангард". В начале 20-х годов молодой французский кинокритик Луи Деллюк ратовал за кино, которое было бы по-настоящему национальным и чисто кинематографическим, свободным от устаревших традиций литературной экранизации. Деллюк и молодые кинорежиссеры, разделявшие его взгляды и называвшие себя импрессионистами, – Абель Ганс,

АВАНГАРД

Марсель Л'Эрбье, Жан Эпштейн, Жермен Дюлак – реализовали эти теории на практике и создали целый ряд смелых экспериментальных киноработ. Основная заслуга их состоит в том, что своими фильмами и теоретическими работами, выступлениями в защиту кино клубов они решительно утверждали статус кино как искусства.

Так называемый "Второй авангард" возник на основе литературных и художественных экспериментов 20-х годов, таких как кубизм, футуризм, дадаизм и сюрреализм. Дадаизм нашел свое лучшее кинематографическое выражение в анимационных абстракциях Викинга Эггелинга и Ганса Рихтера, немногочисленных лентах Мэна Рея и Фернана Леже, а также в ранних работах Рене Клера, в том числе в его фильме "Антракт". Высшим воплощением сюрреализма на экране по сей день остаются "Андалузский пес" Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали и "Золотой век" Луиса Бунюэля.

1932

СОБЫТИЯ
МИРОВОЙ
ИСТОРИИ

31 января. Японские войска захватывают Шанхай.

9 марта. Пу-И, последний император Китая, становится марионеточным правителем Маньчжурии, оккупированной японцами.

8 июля. Франклин Делано Рузвельт избран Президентом США.

– Дмитрий Шостакович "Катерина Измайлова".

– Эрскин Колдуэлл "Табачная дорога", Олдос Хаксли "Прекрасный новый мир", Бертольд Брехт "Святая Иоанна скотобоен".

КИНО

14 февраля. Александр Корда основывает компанию "Лондон филмз".

15 августа. Открытие первого Венецианского кинофестиваля.

ФИЛЬМЫ

Чехословакия

"Экстаз" (Густав Махаты)

Франция

"Свободу – нам!" (Рене Клер)

"Будю, спасенный из воды" (Жан Ренуар)

"Вампир" (Карл Теодор Дрейер)

Германия

"Голубой свет" (Лени Рифеншталь)

"Куле Вампе" (Златан Дудов)

Япония

"Родиться-то я родился, но..." (Ясудзиро Одзу)

Испания

"Земля без хлеба" (Луис Бунюэль)

Великобритания

"Индустриальная Британия" (Роберт Дж. Флаэрти)

США

"Белокурая Венера", "Шанхайский экспресс" (Джозеф фон Штернберг)

"Я – беглый каторжник" (Мервин Ле Рой)

"Лицо со шрамом" (Хоуард Хоукс)

СССР

"Встречный" (Фридрих Эрмлер, Сергей Юткевич)

"Иван" (Александр Довженко)

Родились: Карло Саура (4 января), Ричард Лестер (19 января), Франсуа Трюффо (6 февраля), Александр Ключе (14 февраля), Милош Форман (18 февраля), Элизабет Тейлор (27 февраля), Нагиса Осима (31 марта), Андрей Тарковский (4 апреля), Луи Малль (30 октября).

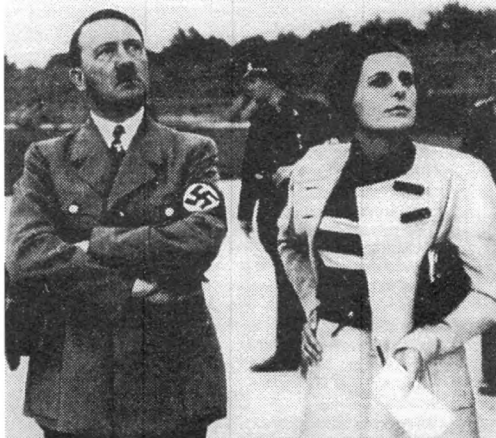
Великие диктаторы были также великими ценителями кино. В своих собственных просмотровых залах Сталин и Гитлер усердно знакомились как с последними голливудскими новинками, так и с достижениями кино своих стран. Муссолини лично создал кинокомплекс "Чинечитта" и "Сентро Спериментале" (знаменитую киношколу в Риме), а также покровительствовал Венецианскому кинофестивалю. Возможно, их восхищало и вдохновляло стремление кинорежиссеров переделать мир согласно своим собственным представлениям. Они видели в кино мощное средство манипулирования общественным сознанием и использовали кино для самовосхваления, переписывания истории и подтасовки фактов.

У диктаторов были и свои музы. Самый лучший вкус оказался у Гитлера, и Лени Рифеншталь вознаградила его, прославляя нацизм в фильме "Триумф воли". Любимцами Сталина были его земляки – грузины режиссер Михаил Чиаурели и актер Михаил Геловани, сыгравший "Отца народов" в двадцати картинах. Апофеозом их творчества стали фильмы "Клятва" (1945) и "Падение Берлина" (1949).

Муссолини сотрудничал с плодовитым драматургом, режиссером театра и кино Джовачино Форцано, чьим вкладом в фашистское кино явились ленты "Чорнорубашечник" и "Майское поле", проводившие параллели между Дуче и Наполеоном. (Точно так же Гитлер и Сталин видели себя в таких одиноких, богоподобных героях, как Фридрих Великий и Суворов.) Муссолини нашел еще одного восторженного, хотя и неожиданного, пропагандиста в лице продюсера Гарри Кона из "Коламбиа пикчерз", который выпустил фильм "Говорит Муссолини".

Гитлер и Муссолини умерли насильственной смертью в апреле 1945 года. Сталин пережил их

КИНЕМАТОГРАФ ПРИ ДИКТАТОРСКИХ РЕЖИМАХ



почти на десятилетие. Его смерть в 1953 году вызвала к жизни последнее грандиозное зрелище эпохи диктатуры. Четыре режиссера – М. Чиаурели, Г. Александров, С. Герасимов и И. Копалин совместно создали цветной документальный фильм "Великое прощание", призванный показать, что весь мир замер потрясенный вестью о кончине "величайшего человека на земле".

1933

30 января. Адольф Гитлер становится Канцлером Германии.

25 февраля. Япония выходит из Лиги наций после того, как эта организация осудила японскую интервенцию в Маньчжурии.

15 марта. Гитлер провозглашает Третий Рейх.

– Гертруда Стайн "Автобиография Элис Б. Токлас", Федерико Гарсия Лорка "Кровавая свадьба".

Скончался Джон Голсуорси (31 января, 66).

13 марта. Йозеф Геббельс становится министром пропаганды Германии и берет кино под свой контроль.

29 марта. Фильм Фрица Ланга "Завещание доктора Мабузе" запрещен немецкой цензурой. Ланг эмигрирует, а его жена, сценаристка Теа фон Харбоу, остается в нацистской Германии.

30 июня. В Голливуде создается Гильдия киноактеров.

Франция

"Ночь на Лысой горе" (Александр Алексеев, Клер Паркер)

"Ноль за поведение" (Жан Виго)

Великобритания

"Частная жизнь Генриха VIII" (Александр Корда)

США

"Леди на день" (Фрэнк Капра)

"Кинг-Конг" (Мериан Купер, Эрнест Шедсак)

"Королева Христина" (Рубен Мамулян)

СССР

"Великий утешитель" (Лев Кулешов)

"Окраина" (Борис Барнет)

Родились: Жан-Мари Штрауб (8 января), Эльдар Шенгелая (16 января), Коста Гаврас (12 февраля), Ким Новак (13 февраля), Жан-Клод Бриали (31 марта), Жан-Поль Бельмондо (9 апреля), Джан Мария Волонте (9 апреля), Роман Поланский (18 августа).

Скончался Роско "Фэтти" Арбакль (19 июня, 52).



"Частная жизнь Генриха VIII"

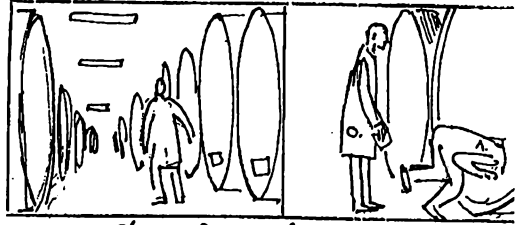


"Кинг-Конг"

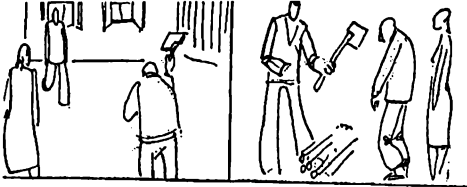
Продолжение в следующем номере

Дорогая редакция!

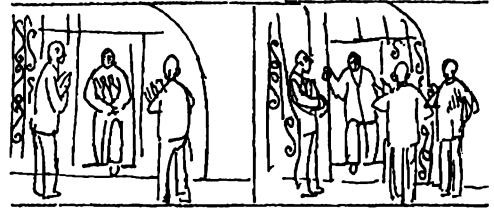
Будучи весьма польщен тем, что вы приписали мне все рисунки, взятые из раскладовок к картине "Охота на бабочек", поясняю: я рисую, как могу, а мои приятели Вахтанг Рурца, Дмитрий Эристави, Нугзар Тарчелашвили и дочь моя — Нана Цоселани — рисуют, например, так:



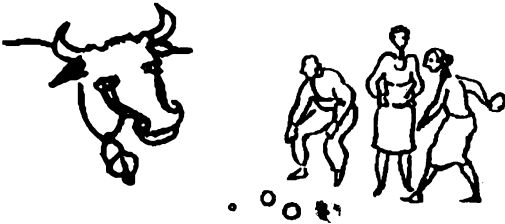
Дима Эристави "Листочек"



Вахтанг Рурца
"насторале"



Дима Эристави "Броз"



Нана Цоселани
← Нугзар Тарчелашвили

А я все ж таки,
(но этого нет в раскладовках) →



Все это я пишу, чтоб внести ясность в ставший запутанным вопрос, кто делает что.

И наверное — на будущее, чтоб не путали потом.

Вац Омар →

СОДЕРЖАНИЕ

- 7 Снимается кино
Светлана Кармалита, Алексей Герман "Хрусталеv, машину!"
- 46 Непоставленное кино
Булат Окуджава, Ольга Арцимович "Частная жизнь
Александра Сергеича, или Пушкин в Одессе"
- 82 Классика зарубежного кино
Питер Гринуэй "Контракт рисовальщика"
- 118 Лауреаты конкурса "Зеркало"
Борис Добродеев "Проклятый"
- 125 Алексей Тимм "Дни радости, или След предыдущей жизни"
- 133 Мемуары
В. Фрид "58 1/2" (продолжение)
- 147 Секреты мастерства
Александр Митта "Стереотипы драматургии"
- 167 Проза кинодраматургов
Иракий Квирикадзе "Постоянная тема в фильмах Вуди Аллена"
- 180 Из жизни звезд
Гарена Краснова "Самый богатый сценарист Голливуда"
- 184 К 100-летию кинематографа
Д.Робинсон "Хроника кинематографа" (продолжение)
- 191 Письмо в номер
Отар Иоселиани
- 2 Интервью
Алексей Герман: "Все начинается после..."
- 43 Интервью с Булатом Окуджавой
- 110 Интервью с Питером Гринуэем

Главный редактор Н.Рюрикова

Ответственный секретарь М.Сергиенко. Выпускающий редактор Ю.Гирба.
Компьютерная верстка О.Дорофеевой.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 20.07.95. Подписано к печати 08.08.95. Формат 70x100/16. Усл.печ.л.
14,5. Усл.кр.отт. 14,5. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура "прагматика".
Тираж 12000 экз. Заказ № 3514

Издание осуществлено совместно с Издательско-полиграфическим
центром Аэрофлота "ПАНАС-АЭРО"
Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Трудового Красного Знамени ПО
"Детская книга" Роскомпечати. Адрес 127018, Москва, Суцевский вал, 49

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12
Телефоны: 299-11-78, 299-47-74, 209-60-23



**Авиакомпания "Аэрофлот –
Российские международные авиалинии" –
лидер гражданской авиации России.**



Аэрофлот – это:

- надежная техника и высокопрофессиональный персонал в небе и на земле;
- уникальный опыт нескольких десятилетий работы на западном рынке;
- регулярные полеты в 160 городов 103 стран мира, в том числе СНГ и Балтии;
- организация международных чартерных рейсов для пассажирских и грузовых перевозок;
- разветвленная сеть агентов и деловых партнеров.

Аэрофлоту доверяют во всем мире!

Телефоны авиакомпании в Москве:
155-50-45 – международная справочная
155-66-41, 155-66-48 – коммерческая служба
155-59-48, 155-51-34 – пресс центр

ч и т а й т е
в н а ш е м
ж у р н а л е
с ц е н а р и й
А л а н а
Б е н н е т т а
к и т
1 9 9 5
г о д а

« Безумие
Короля
Георгия »

